Бледное пламя. 1-й вариант. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://nabokovvladimir.ru/ Приятного чтения!

Бледное пламя. 1-й вариант. Владимир Владимирович Набоков

От переводчика

Считаю необходимым кое в чем повиниться перед читателем и кое о чем его предупредить. Прежде всего, поэма переведена рифмованными строками вопреки взглядам самого В.В. Набокова, – он требовал точного подстрочника. Перевод, разумеется, потерял в точности, зато читать его веселее. Но, как известно, сказавши «а», нужно говорить «б» – пришлось менять и заглавие. Традиционный «Бледный огонь» никак не умещался в размер, не говоря уже о рифме. С заглавием вообще дело обстоит сложно. «Pale Fire» заимствован из трагедии Шекспира «Тимон Афинский»:

…the moon' an arrant thief,
And her pale fire she snatches from the sun;

В русском переводе (П. Мелковой, Полное собрание сочинений, т.7, с.499) это выглядит так:

Луна – нахалка и воровка тоже:
Свой бледный свет крадет она у солнца.

Стало быть, «бледный свет». Однако, по некоторым обстоятельствам, которые внимательный читатель сам обнаружит в тексте, нужно, чтобы не только светило, но и горело. Можно было бы попробовать «бледный огнь», но при этом сразу возникает совершенно ненужная ассоциативная цепочка: «бледный огнь – огнь блед – конь блед» (Иоанн Богослов? Савинков?). Я остановился на «бледном пламени», тем более, что «пламя» – это по Далю «огонь, отделяющийся от горящего тела», что отвечает, по-моему, одной из подспудных тем романа – теме отражений, отсветов, отблесков.

Теперь предостережение. Важно быть внимательным и не слишком серьезным. Вообще говоря, этот роман стоит прочитать дважды, чтобы хотя отчасти понять, что в нем на самом деле происходит. Не понять даже, а составить версию – прежде всего, касательно авторства комментария (вариантов по меньшей мере три) и существования в реальности (во внутренней реальности романа) как Земблы, так и Кинбота. Потому что загадки начинаются прямо с эпиграфа – к чему он? Кто его выставил? Может быть, если читатель сумеет тщательно проследить игру сквозных образов романа: тени, оттенки (само имя автора поэмы, Шейд, означает по-английски «оттенок», «тень» – shade); стекло, зеркало, отражение; красное и зеленое; эльфы; Тимон Афинский;.. – может быть, тогда ему покажется, что он все понял.

В помощь читателю, не любящему оставаться в дураках, я добавил к роману «Краткий словарь непонятных слов и иностранных выражений», – очень советую заглядывать в него почаще и в особенности прочитать, что там сказано о Тимоне из Афин.

Сергей Ильин

18 декабря 1987 г., Медведково, Москва.

Предисловие

Это напоминает мне, как забавно он описывал мистеру Лангтону несчастное состояние одного молодого джентльмена из хорошей семьи: «Сэр, когда я в последний раз слышал о нем, он носился по городу, упражняясь в стрельбе по котам». А затем мысли его вполне натуральным образом отвлеклись, и вспомнив о своем любимом коте, он сказал: «Впрочем, Ходжа не пристрелят, нет-нет, Ходжа никогда не пристрелят.»

Джеймс Босуэлл
«Жизнь Сэмюеля Джонсона»

«Бледное пламя», поэма в героических куплетах объемом в девятьсот девяносто девять строк, разделенная на четыре «песни», написана Джоном Фрэнсисом Шейдом (р. 5 июля 1898 г., ум. 21 июля 1959 г.) в последние двадцать дней его жизни у себя дома в Нью-Вае, Аппалачие, США. Рукопись (это по-преимуществу беловик), по которой набожно воспроизводится предлагаемый текст, состоит из восьмидесяти справочных карточек среднего размера, на которых верхнюю, розовую, полоску Шейд отводил под заголовок (номер песни, дата), а в четырнадцать голубых вписывал тонким пером, почерком мелким, опрятным и удивительно внятным, текст поэмы,

пропуская полоску для обозначения двойного пробела и начиная всякий раз новую песнь на свежей карточке.

Короткая (в 166 строк) Песнь первая со всеми ее симпатичными птичками и оптическими чудесами занимает тринадцать карточек. Песнь вторая, ваша любимица, и эта внушительная демонстрация силы, Песнь третья, – одинаковы по длине (334 строки) и занимают по двадцати семи карточек каждая. Песнь четвертая возвращается к Первой в рассуждении длины и занимает опять-таки тринадцать карточек, из коих последние четыре, исписанные в день его смерти, содержат вместо беловика выправленный черновик.

Человек привычки, Джон Шейд обыкновенно записывал дневную квоту законченных строк в полночь, но даже если он потом переделывал их, что, подозреваю, он временами делал, карточка или карточки помечались не датой окончательной отделки, но той, что стояла на выправленном черновике. То есть я хочу сказать, что он сохранял дату действительного создания, а не второго-третьего обдумывания. Тут перед моим нынешним домом расположен гремучий увеселительный парк.

Мы обладаем, стало быть, полным календарем его работы. Песнь первая была начата в ранние часы 2 июля и завершена 4 июля. К следующей Песни он приступил в день своего рождения и закончил ее 11 июля. Еще неделя ушла на Песнь третью. Песнь четвертая начата 19 июля и, как уже отмечалось, последняя треть ее текста (строки 949–999) представлена выправленным черновиком. На вид он довольно неряшлив, изобилует опустошительными подтирками, разрушительными вставками и не следует полоскам на карточках столь же пристрастно, как беловик. Но в сущности, он восхитительно точен, нужно только нырнуть в него и принудить себя открыть глаза в его прозрачных глубинах, под сумбурной поверхностью. В нем нет ни одного гадательного прочтения. Этим вполне доказывается, что обвинения, брошенные в газетном интервью (24 июля 1959 года) одним из наших записных шейдоведов, – позволившим себе утверждать, не видев рукописи поэмы, будто она «состоит из разрозненных набросков, ни один из которых не дает законченного текста», – представляют собой злобные измышления тех, кто не столько оплакивает состояние, в котором был прерван смертью труд великого поэта, сколько норовит бросить тень на состоятельность, а по возможности и на честность ее редактора и комментатора.

Другое заявление, публично сделанное профессором Харлеем, касается структуры поэмы. Я цитирую из того же интервью: «Никто не может сказать, насколько длинной задумал Джон Шейд свою поэму, не исключено, однако, что оставленное им есть лишь малая часть произведения, смутно увиденного им в стекле». И опять же нелепица! Помимо истинного вопля внутренней очевидности, звенящего в Песни четвертой, существует еще подтверждение, данное Сибил Шейд (в документе, датированном 25 июля 1959 г.), что ее муж «никогда не намеревался выходить за пределы четырех частей». Третья песнь была для него предпоследней, и я своими ушами слышал, как он говорил об этом, когда мы прогуливались на закате, и он, как бы размышляя вслух, обозревал дневные труды и размахивал руками в извинительном самодовольстве, а между тем учтивый спутник его тщетно пытался приноровить ритм своей длинноногой поступи к тряской шаркотне взъерошенного старого поэта. Да что уж там, я утверждаю (пока тени наши еще гуляют без нас), что в поэме осталась недописанной всего одна строка (а именно, 1000-я), которая совпала бы с первой, увенчав симметрию всей структуры с двумя ее тождественными срединными частями, крепкими и поместительными, образующими вкупе с флангами покороче два крыла в пятьсот стихов каждое, – и гори оно бледным огнем! Зная комбинаторный склад мышления Шейда и его тонкое чувство гармонического равновесия, я и вообразить не могу, чтобы он захотел исказить грани своего кристалла вмешательством в его предсказуемый рост. И коли этого всего недостаточно, – а этого достаточно, да! – так я имел драматический случай услышать, как голос моего несчастного друга вечером 21 июля объявил окончание или почти окончание его трудов. (Смотри мое примечание к строке 991).

Эту стопу из восьмидесяти карточек удерживает круглая резинка, которую я ныне благоговейно возвращаю на место, в последний раз пересмотрев ее драгоценное содержимое. Другое, куда более тощее, собрание из двенадцати карточек, скрепленных зажимом и помещенных в тот же желтый конверт, что и основная колода, содержит некоторые добавочные куплеты, следующие своей стезей, короткой, порою слякотной, в хаосе первоначальных наметок. Как правило, Шейд уничтожал наброски, едва перестав в них нуждаться: мне хорошо памятно, как бриллиантовым утром я с крыльца увидел его, сжигавшим целую кучу их в бледном пламени мусорной печи,

перед которой он стоял, опустив голову, похожий на профессионального плакальщика среди гонимых ветром черных бабочек этого аутодафе на задворках. Но эти двенадцать карточек он сохранил — благодаря блеску непригодившихся удач между отбросами использованных редакций. Быть может, он смутно надеялся заменить некоторые места беловика какими-то чудесными изгнанниками этой картотеки или, что более вероятно, тайная привязанность к той или этой виньетке, отвергнутой из соображений архитектоники или же потому, что она не пришлась по душе миссис С., побудила его отставить решение до поры, когда мраморная окончательность безупречного типоскрипта укрепит оное либо придаст самому обаятельному варианту вид несуразный и скверный. А может быть, дозвольте уж мне прибавить со всей прямотой, он собирался просить моего совета после того, как прочтет мне поэму, что, как мне известно, он намеревался сделать.

В моих комментариях к поэме читатель найдет эти отверженные прочтения. На местоположения их указывают или хотя бы намекают наметки ближних к ним явно установленных строк. В определенном смысле, многие из них представляют гораздо большую художественную и историческую ценность, чем некоторые из лучших мест окончательного текста. Теперь мне следует объяснить, как случилось, что именно я стал редактором «Бледного пламени».

Сразу после кончины моего милого друга я убедил его оглушенную горем вдову предупредить и расстроить коммерческие страсти и университетские козни, коим предстояло вскружиться над рукописью ее мужа (помещенной мной в безопасное место еще до того, как тело его достигло могилы), и подписать соглашение, суть которого сводилась к тому, что он передал рукопись мне, что мне надлежит без промедления опубликовать ее с моим комментарием у выбранного мной издателя, что все доходы за вычетом издательских комиссионных достанутся ей, и что в день выхода книги рукопись следует передать на вечное хранение в Библиотеку Конгресса. Сомневаюсь, чтобы нашелся хулитель, который счел бы этот договор нечестным. И однако его называли (прежний поверенный Шейда) «фантастически злонамеренным», тогда как другой господин (бывший его литературный агент), язвительно ухмыляясь, осведомился, не выведена ли дрожащая подпись миссис Шейд «красными чернилами несколько непривычного сорта». Подобные сердца и умы вряд ли могут понять, что привязанность человека к шедевру способна проникнуть все его существо, особенно если именно испод холста зачаровывает созерцателя и единственного виновника появления шедевра на свет — того, чье личное прошлое сплелось в нем с судьбой невинного автора.

Как упомянуто в последнем, кажется, из моих примечаний к поэме, смерть Шейда, словно глубинная бомба, взбаламутила такие тайны и заставила всплыть такое количество дохлой рыбы, что мне пришлось покинуть Нью-Вай вскоре после моей последней встречи с арестованным убийцей. Написание комментария пришлось отложить до срока, когда я смогу отыскать новое обличье в иной, более спокойной обстановке, однако, практические вопросы, касавшиеся поэмы, следовало уладить сразу. Я вылетел в Нью-Йорк, отдал сфотографировать рукопись, встретился с одним из издателей Шейда и было уже заключил договор, когда совершенно внезапно из середины огромного заката (мы сидели в клетке из стекла и ореха, пятьюдесятью этажами выше шествия скоробеев) мой собеседник заметил: «Вы будете счастливы узнать, что профессор Такой-сякой (один из членов „общества Шейда“) согласился консультировать нас при издании этой вещи.» Нуте-с, «счастлив» — это нечто до крайности субъективное. Одна из наших самых глупых земблянских пословиц гласит: «Потерялась перчатка — и счастлива». Поспешно замкнул я засов на моем портфеле и бежал к другому издателю.

Вообразите мягкого, неловкого великана, представьте историческое лицо, финансовые познания которого ограничены отвлеченными миллиардами национального долга, представьте принца-изгнанника, не ведающего о Голконде, таящейся у него в запонках! Я этим хочу сказать, — о, гиперболически, — что я самый непрактический человек на свете. Между таким человеком и старой лисой из издательского бизнеса складываются вначале отношения трогательно беспечные и дружеские, полные приятельских шуток и разнообразных проявлений привязанности. Я не имею причин думать, что может когда-нибудь случиться нечто, способное помешать этим первоначальным отношениям с добрым старым Фрэнком, моим теперешним издателем, остаться такими навеки.

Известив о благополучном возвращении гранок, которые мне высылали прямо сюда, Фрэнк попросил помянуть в моем Предисловии, — и я с охотой делаю это, — что только я один несу ответственность за какие бы то ни было ошибки в моих

примечаниях. Что ж, попробуем опередить профессионала. Профессионал-считчик тщательно сверил печатный текст поэмы с фотокопией рукописи и обнаружил несколько пустяшных опечаток, мной не замеченных, – вот и вся помощь, полученная мною со стороны. Нужно ли говорить, как я надеялся, что Сибил Шейд доставит мне обильные биографические сведения, – к несчастью, она оставила Нью-Вай еще прежде меня и проживает теперь у родных в Квебеке. Мы могли бы, конечно, переписываться и весьма плодотворно, однако ей не удалось сбить теневых шейдоведов со следа. Они устремились в Канаду стадами и набросились на бедняжку, едва я утратил влияние на нее и на ее переменчивые настроения. Вместо того, чтобы ответить на месячной давности письмо, отправленное мною из моей берлоги в Кедрах и содержащее список наиболее неотложных вопросов – о настоящем имени «Джима Коутса», к примеру, и проч., она вдруг прислала мне телеграмму с просьбой принять проф. Х. (!) и проф. Ц. (!!) в качестве соредакторов мужниной поэмы. Как глубоко это поразило и ранило меня! Натурально, на этом сотрудничество с обманутой вдовой моего друга и прекратилось.

А он воистину был моим близким другом! Если верить календарю, я знал его лишь несколько месяцев, но бывают ведь дружбы, которые создают собственную внутреннюю длительность, свои эоны прозрачного времени, минуя круженье жестокой музыки. Мне никогда не забыть, как ликовал я, узнав, – об этом упоминается в примечании, которое читатель еще найдет, – что дом в предместьи (снятый для меня у судьи Гольдсворта, на год отбывшего в Англию для ученых занятий), дом, в который я въехал 5 февраля 1959 года, стоит по соседству с домом прославленного американского поэта, стихи которого я пытался перевести на земблянский еще за два десятка лет до этого! Как обнаружилось вскоре, помимо славного соседства гольдсвортову шато похвастаться было нечем. Отопление являло собою фарс, его исполнительность зависела от системы задушин в полах, сквозь которые долетали до комнат тепловатые вздохи дрожащей и стонущей в подземельи печи, невнятные, словно последний всхлип умирающего. Я пытался, закупорив отверстие наверху, оживить хоть ту задушину, что в гостиной, но климат последней оказался непоправимо умучен тем обстоятельством, что между ней и арктическими областями снаружи не было ничего, даже похожего на прихожую, – оттого ли, что дом был выстроен в самом разгаре лета простодушным поселенцем, и вообразить не умеющим, какую зиму припас для него Нью-Вай, или же оттого, что обходительность прежних времен требовала, чтобы случайный гость мог сквозь открытую дверь убедиться прямо с порога, что никаких бесчинств в гостиной не производится.

В Зембле февраль и март (последние два из четырех, как их у нас называют «зазнобливых месяцев») также выпадают изрядно суровыми, но там даже крестьянская изба изображает нам плотное тело сплошного тепла, – а не сплетение убийственных сквозняков. Разумеется, как и любого приезжего, меня уверяли, что я попал в худшую из зим за многие годы, – и это на широте Палермо. В одно из первых моих тутошних утр, приготовляясь отъехать в колледж на мощном красном авто, которое я только что приобрел, я заметил, что миссис и мистер Шейд – ни с той, ни с другим я знаком пока еще не был (они полагали, как после выяснилось, что я предпочитаю, чтобы меня оставили в покое), – испытывают затруднения со своим стареньким «паккардом», страдальчески изнывавшим на осклизлой подъездной дорожке, силясь высвободить измученное заднее колесо из адских сводчатых льдов. Джон Шейд неловко возился с ведерком, из которого он взмахами сеятеля разбрасывал бурые персти песку по лазурной глазури. Он был в ботах, воротник вигоневой куртки поднят, густые седые волосы казались под солнцем заиндевелыми. Я знал, что несколько прошлых месяцев он проболел, и решив предложить соседям подвезти их до кампуса в моей мощной машине, вылез из нее и поспешил к ним. Тропинка огибала небольшой холм, на котором стоял отделенный ею от подъездного пути соседей арендованный мною замок, и почти уже одолев ее, я вдруг оступился и с размаху сел на удивительно твердый снег. На шейдов «седан» мое падение подействовало как химический реагент, он тотчас стронулся и, едва не переехав меня, проскочил дорожку, Джон напряженно кривился за рулем, и горячо говорила что-то сидевшая пообок Сибил. Не уверен, что кто-то из них заметил меня.

Несколько дней спустя, однако ж, а именно в понедельник 16 февраля, за ленчем в преподавательском клубе, меня представили старому поэту. «Наконец-то вручил верительные грамоты», – так, с некоторой иронией отмечает мой дневничок. Меня пригласили присоединиться к нему и к четырем-пяти иным профессорским именитостям за его привычным столом, стоявшим под увеличенной фотографией Вордсмитского колледжа, каким он был – облупленным и полуживым – в замечательно смурый день лета 1903 года. Его лаконическое предложение «отведать свинины» меня позабавило. Я – неукоснительный вегетарьянец и предпочитаю сам готовить себе еду. Проглотить

что-либо, побывавшее в лапах человеческой твари, сообщил я румяным сотрапезникам, столь же для меня отвратительно, сколь съесть любую другую тварь, включая сюда и, — понизив голос, — мякотную, с хвостиком на голове студентку, которая обслужила нас и обслюнила карандаш. К тому же, я уже управился с принесенным мною в портфеле фруктом, сказал я, и потому удовольствуюсь бутылкой доброго университетского эля. Свобода и простота моего обращения всем внушили непринужденное чувство. Меня осыпали обычными вопросами касательно приемлемости или неприемлемости для человека моих убеждений гоголь-моголя и молочных смесей. Шейд сказал, что у него все наоборот: ему требуется сделать определенное усилие, чтобы отведать овощей. Подступиться к салату для него то же, что вступить в море прохладным днем, и ему всегда приходиться собираться с силами, чтобы двинуться на штурм яблока. В то время я еще не привык к довольно утомительному подшучиванию и перекорам, распространенным среди американских интеллектуалов узкородственной университетской группы, и потому не стал говорить Джону Шейду перед этими ухмыляющимися пожилыми самцами о том, как восхищают меня его творения, — дабы серьезный разговор о литературе не выродился в обычный обмен остротами. Вместо того я спросил его об одном из новоприобретенных мною студентов, посещавшем также и его курс, — переменчивом, тонком, я бы сказал, изысканном юноше, — но, решительно встряхнув жесткими кудрями, старый поэт ответил, что давно уж перестал запоминать имена и лица студентов, и что единственная особа в его поэтическом семинаре, которую он в силах зримо себе представить, — это передвигающаяся на костылях заочница. «Да будет вам, Джон, — произнес профессор Харлей, — не хотите же вы сказать, что и вправду не имеете ни ментального, ни висцерального портрета той сногсшибательной блондинки в черном леотарде, что повадилась в ваш 202-й литературный?» Шейд, залучась всеми морщинами, ласково похлопал по запястью Харлея, дабы его остановить. Другой мучитель осведомился, правду ли говорят, будто я установил у себя в подполье два стола для пинг-понга? Я спросил, это что, преступление? Нет, сказал он, но зачем же два? «Ах, вот значит в чем преступленье?» — парировал я, и все рассмеялись.

Несмотря на «хромое» сердце (смотри строку 736), незначительную колченогость и странно уклончивую манеру передвигаться, Шейд питал необычайную страсть к пешим прогулкам, впрочем, снег ему досаждал, и зимой он предпочитал, чтобы после занятий жена заезжала за ним на машине. Несколькими днями позже, выйдя из Плющевого, иначе Главного холла (ныне, увы, Шейд-холл), я увидал его поджидающим снаружи, когда приедет за ним миссис Шейд. С минуту я простоял рядом с ним на ступеньках подпираемого колоннами портика, подтягивая палец за пальцем перчатку, глядя вдаль, как бы в ожидании частей, имеющих прибыть для парада: «Проникновенное исполнение», — заметил поэт. Он справился с ручными часами. Снежинка пала на них. «Кристалл к кристаллу», — сказал Шейд. Я предложил отвезти его домой в моем мощном «кремлере». «Жены запамятливы, мистер Шейд.» Он задрал голову, чтобы взглянуть на библиотечные часы. По холодной глади укрытой снегом травы, смеясь и оскальзываясь, прошли двое парнишек в цветных, в сверкающих зимних одеждах. Шейд опять посмотрел на часы и, пожав плечами, принял мое предложение.

Не будет ли он возражать, осведомился я, если мы выберем путь подлиннее, с остановкой в Общественном центре, где я намереваюсь купить печенье под шоколадной глазурью и немного икры? Он сказал, что его это устроит. Изнутри супермаркета, сквозь его зеркальные окна я видел, как наш старичок дунул в винную лавку. Когда я вернулся с покупками, он уже сидел в машине, читая бульварную газетенку, до прикосновенья к которой не снизошел бы, полагаю, ни единый поэт. Симпатичная выпухлость сообщила мне, что где-то на нем тепло укрыта фляжка коньяку. Подъездным путем завернув к его дому, мы увидали тормозящую перед домом Сибил. Я с учтивой поспешностью вышел. Она сказала: «Поскольку мой муж не любитель знакомить людей, давайте знакомиться сами. Вы доктор Кинбот, не так ли? А я Сибил Шейд.» И она обернулась к мужу, говоря, что он мог бы еще минутку подождать ее у себя в кабинете: она и звала, и гудела, и долезла до самого верха, и проч. Не желая быть свидетелем супружеской сцены, я поворотился, чтобы уйти, но она остановила меня: «Выпейте с нами, — сказала она, — вернее со мной, потому что Джону запрещено даже прикасаться к спиртному». Я объяснил, что не смогу задержаться надолго, ибо вот-вот должен начаться своего рода маленький семинар с двумя очаровательными близнецами и еще с одним, да, еще с одним молодым человеком.

С этого дня я начал все чаще видаться со своим знаменитым поэтом. Одно из моих окон неизменно доставляло мне первостатейное развлечение, особенно, когда я поджидал какого-нибудь запоздалого гостя. С третьего этажа моего жилища

явственно различалось окошко гостиной Шейдов, пока оставались еще обнаженными ветви стоявших меж нами листопадных деревьев, и едва ли не каждый вечер я наблюдал за мерно качавшейся ногой поэта. Отсюда следовало, что он сидел с книгой в покойном кресле, но более ничего никогда высмотреть не удавалось, кроме этой ноги да тени ее, двигавшейся вверх-вниз в таинственном ритме духовного поглощения, в сгущенном свете лампы. Всегда в одно и то же время сафьянная коричневая туфля спадала с толстого шерстяного носка ноги, который продолжал колебаться, слегка, впрочем, замедляя размах. Значит, близилось время постели со всеми его страстями, Значит, через несколько минут носок нашарит и подденет туфлю и пропадет из золотистого поля зрения, рассеченного черной чертой ветки. Иногда по этому полю проносилась, как бы в гневе вон выбегая из дому, Сибил Шейд и возвращалась, словно простив мужу дружбу с эксцентричным соседом, впрочем, загадка ее поведения полностью разрешилась однажды ночью, когда я, набрав их номер и между тем наблюдая за их окном, колдовски заставил ее повторить торопливые и совершенно невинные перемещения, что так озадачивали меня.

Увы, мир моей души вскоре был поколеблен. Густая струя ядовитой зависти излилась на меня, как только ученое предместье сообразило, что Джон Шейд ценит мое общество превыше любого другого. Ваше фырканье, дражайшая миссис Ц., не ускользнуло от нас, когда после отчаянно скучного вечера в Вашем доме я помогал усталому старику-поэту отыскивать галоши. Как-то в поисках журнала с изображенным на обложке Королевским дворцом в Онгаве, который я хотел показать моему другу, мне случилось зайти на кафедру английской литературы и услышать, как молодой преподаватель в зеленой вельветовой куртке, которого я из милосердия назову здесь «Геральд Эмеральд», небрежно ответил на какой-то вопрос секретарши: «По-моему, мистер Шейд уже уехал вместе с Великим Бобром.» Верно, я очень высок, а моя каштановая борода довольно богата оттенками и текстурой, дурацкая кличка относилась, очевидно, ко мне, но не стоила внимания, и я, спокойно взяв свой журнал с усыпанного брошюрами стола, отправился восвояси и лишь мимоходом распустил ловким движением пальцев галстук-бабочку на шее Геральда Эмеральда. Было еще одно утро, когда доктор Натточдаг, декан факультета, к коему я был приписан, официальным тоном попросил меня присесть, затворил дверь и, воссоединясь со своим вращающимся креслом и угрюмо набычась, настоятельно посоветовал мне «быть осторожнее». Осторожнее? В каком смысле? Один молодой человек пожаловался своему наставнику. Господи помилуй, на что? На мою критику в адрес посещаемого им курса лекций по литературе («нелепый обзор нелепого вздора в исполнении нелепой бездарности»). С неподдельным облегчением расхохотавшись, я обнял милого Неточку, обещая ему, что никогда больше не буду таким гадким. Я хочу воспользоваться этой возможностью и послать ему мой привет. Он всегда относился ко мне с таким исключительным уважением, что я порою задумывался, — уж не заподозрил ли он того, что заподозрил Шейд, и о чем определенно знали лишь трое (ректор университета и двое попечителей).

О, этих случаев было немало. В скетче, разыгранном студентами театрального факультета, меня изобразили напыщенным женоненавистником, постоянно цитирующим Хаусмана с немецким акцентом и грызущим сырую морковь, а за неделю до смерти Шейда одна свирепая дама, в клубе которой я отказался выступить насчет «Халли-Валли» (как выразилась она, перепутав жилище Одина с названием финского эпоса), объявила мне посреди бакалейной лавки: «Вы на редкость противный тип. Не понимаю, как вас выносят Джон и Сибил», — и отчаявшись моей учтивой улыбкой, добавила: «К тому же, вы сумасшедший».

Но разрешите мне прервать заполнение этой таблеты нелепиц. Что бы ни думали и ни говорили кругом, дружба Джона вполне наградила меня. Дружба тем более драгоценная, что нежность ее намеренно скрадывалась — в особенности, когда мы были с ним не одни, — этакой грубоватостью, проистекавшей из того, что можно назвать величием сердца. Все обличье его было личиной. Физический облик Джона Шейда так мало имел общего с гармонией, скрытой под ним, что возникало желание отвергнуть его как грубую подделку или продукт переменчивой моды, ибо если поветрие века Романтиков норовило разжижить мужественность поэта, оголяя его привлекательную шею, подрезая профиль и отражая в овальном взоре горное озеро, барды нашего времени, — оттого, может статься, что у них больше шансов состариться, — выглядят сплошь стервятниками или гориллами. В лице моего изысканного соседа отыскалось бы нечто, способное радовать глаз, будь оно только что львиным или же ирокезским, к несчастью, сочетая и то и другое, оно приводило на ум одного из мясистых хоггартовских пьянчуг неопределенной половой принадлежности. Его бесформенное тело, седая копна обильных волос, желтые ногти на толстых пальцах, мешки под тусклыми глазами постигались умом лишь как

подонки, извергнутые из его внутренней сути теми же благотворными силами, что очищали и оттачивали его стихи. Он сам себя перемарывал.

Я очень люблю одну его фотографию. На этом цветном снимке, сделанном одним моим недолговременным другом, виден Шейд, опершийся на крепкую трость, принадлежавшую его тетушке Мод (смотри строку 86). На мне белая ветровка, купленная в местном спортивном магазине, и широкие лиловатые брюки, пошитые в Канне. Левая рука приподнята – не с намерением похлопать Шейда по плечу, как оно кажется, но чтобы снять солнечные очки, которых, однако, она так и не достигла в этой жизни, т. е. в жизни на фотографии, а под правой рукой зажата библиотечная книга – это монография о некоторых видах земблянской ритмической гимнастики, которыми я собирался увлечь моего молодого квартиранта, вот этого, который нас щелкнул. Неделю спустя он обманул мое доверие, мерзко использовав мой отъезд в Вашингтон: воротясь, я обнаружил, что он ублажался рыжеволосой шлюхой из Экстона, оставившей свои вычески и блевотину во всех трех туалетах. Натурально, мы сразу же и расстались, и я через щель в оконном занавесе смотрел на бабника Боба, как он стоит, жалковатый, со своим бобриком, потертой вализой и лыжами, подаренными мной, выброшенный на обочину, ожидающий однокашника, который увезет его навсегда. Я все способен простить, кроме предательства.

Джон Шейд и я, мы никогда не обсуждали никаких моих личных невзгод. Наше тесное дружество обреталось на более высоком, исключительно интеллектуальном уровне, там, где отдыхаешь от чувственных смут, а не делишься ими. Преклонение перед ним было для меня своего рода альпийским целением. При каждом взгляде на него я испытывал грандиозное ощущение чуда, особенно в присутствии прочих людей, людей низшего ряда. Особое очарование придавало этому чуду пониманию мною того, что они не чувствуют, как я, не видят, как я, что они принимают Шейда за должное вместо того, чтобы, так сказать, всеми жилками впитывать романтическое приключение – близость к нему. Вот он, говорил я себе, вот голова, содержащая мозг особенной разновидности – не синтетический студень, закупоренный в черепах окружающих. Он смотрит с террасы (в тот мартовский вечер – с террасы дома проф. Ц.) на дальнее озеро. Я смотрю на него. Я свидетельствую уникальный физиологический феномен: Джон Шейд объясняет и переделывает мир, вбирает его и разбирает его на части, пересопрягая его элементы в самом процессе их накопления, чтобы в некий непредсказуемый день сотворить органичное чудо – стихотворную строчку – совокупление звука и образа. И я испытываю такой же трепет, как в раннем детстве, когда за чайным столом дядюшкина замка следил за фокусником, сию минуту дававшим фантастическое представление, теперь же мирно глотавшим ванильное мороженое. Я таращился на его пудренные щеки, на волшебный цветок в петлице, прошедший в ней через последовательность разнообразных превращений и успокоившийся, наконец, в образе белой гвоздики, и особенно на восхитительные, текучие с виду пальцы, способные по его желанию закрутить чайную ложку и превратить ее в солнечный луч или сделать из блюдца голубку, запустив его ввысь.

Поэма Шейда – это и впрямь внезапный всплеск волшебства: седоволосый мой друг, мой возлюбленный старый фокусник сунул в шляпу колоду справочных карточек – и вытряс оттуда поэму.

К этой поэме нам и следует теперь обратиться. Мое Предисловие было, уверен, не слишком скупым. Иные заметки, построенные как живой комментарий с места событий, определенно удовлетворят и самого ненасытного читателя. И хоть эти заметки следуют – в силу обычая – за поэмой, я посоветовал бы читателю сначала ознакомиться с ними, а уж потом с их помощью изучать поэму, перечитывая их по мере перемещенья по тексту и, может быть, покончив с поэмой, проконсультироваться с ними третично, дабы иметь законченную картину. В случаях вроде этого мне представляется разумным обойтись без хлопотного перелистывания взад-вперед, для чего следует либо разрезать книгу и скрепить вместе соответственные листы произведения, либо, что много проще, купить сразу два экземпляра настоящего труда, которые можно будет затем разложить бок о бок на удобном столе, не похожем на шаткое сооружение, на котором рискованно царит моя пишущая машинка в этом жалком приюте для престарелых моторов с каруселью внутри и снаружи моей головы, во множестве миль от Нью-Вая. Позвольте же мне сказать, что без моих примечаний текст Шейда попросту не имеет никакой человеческой значимости, ибо человеческой значимости такой поэмы, как эта (слишком робкая и сдержанная для автобиографического труда, с выпуском массы бездумно отвергнутых содержательных строк), не на что опереться, кроме человеческой значимости самого автора, его среды, пристрастий и проч., – а все это могут ей дать только мои

примечания. Под таким замечанием мой бесценный поэт, вероятно, не подписался бы, но – к добру или к худу – последнее слово осталось за комментатором.

Чарльз Кинбот

19 октября 1959 года, Кедры, Ютана.

Бледное пламя
Поэма в четырех песнях
Песнь первая
1 Я тень, я свиристель, убитый влет
Подложной синью, взятой в переплет
Окна, клуб пепла, легкий прах,
Порхавший в отраженных небесах{1}.
Так и снутри раздваиваюсь я:
Я лампа, яблоко, – когда разъяв
Завесу ночи, прямо над травой
Развешиваю мебель. И какой
Бывал восторг, когда паденье снега
10 Лужайку спрячет и приблизит к небу,
Кровать и стул поставив, наконец,
Там на снегу, в хрустальнейшей стране!{2}
Вернемся в снегопад: здесь каждый клок
Бесформен, медлен, вял и одинок,
Унылый белый мрак, белесый бледный день,
Нейтральный свет, абстрактных сосен сень.
Ночь обнесет двойной оградой{3} сини
Картину с созерцателем картины.
А утром: чьи пришпоренные ноги
20 Вписали строчку в чистый лист дороги?
Дивится перл мороза. Снова мы
Направо слева ясный шифр зимы
Читаем: точка, стрелка вспять, еще разок:
Вот точка, стрелка вспять… Тетеревиный скок!
Се гордый граус, бородач-любовник,
К нам на зады слетал клевать шиповник.
Не Хольмса ль{4} вспять пустил по следу хват,
Обувший туфли передом назад?
Мне все ласкает взоры – даже грязь.
30 Я наделен престранным свойством глаз –
Фотографическим. Буквально. Стоит мне
Им волю дать иль, вздрогнув, в тишине
Отдать приказ, как все, что видят взоры, –
Убранство комнаты, листва гикори,
Капели стылые стилеты{5} – все ложится,
Подобно оттиску, на дно глазницы,
Там в глубине хранясь и час, и два. Пока
Все это длится, нужно лишь слегка
Прикрыть глаза{6} и заново узришь
40 Листву иль комнату, или трофеи крыш.
Мне в толк не взять, как видеть нашу дверь{7}
Я мог от озера, в колледж идя по Лейк-роуд, а теперь,
Хоть мне ни деревце ни застит, я не вижу,
Как ни тружусь, ни дверь, ни даже крышу.
Должно быть, здесь пространственный извив
Творит загиб иль борозду, сместив
Непрочный вид – каркасный дом с потертой
Лужайкой меж Вордсмитом и Гольдсвортом{8}.
Пекан{9} косматый, мой любимец, здесь расплел
50 Нефритовую гриву, тощий ствол
Как червем съеден, солнце ввечеру
Покроет бронзой чернь коры, и на кору
Тень от листвы падет гирляндой неопрятной.
Он груб и крепок, он устроен знатно.
Две белых бабочки сменяют свой убор
На фиолетовый в тени, где до сих пор
Качелей дочкиных колышется фантом{10}.
Сам дом таков, как был. Мы изменили в нем

Одно крыло. Теперь солярий там и весел
60 Оконный вид в кругу фасонных кресел.
Антенны скрепка{11} высится взамен
Тугого флюгера, где чуть ни каждый день{12}
Наивный пересмешник вел для нас
Программ подслушанных нехитрый пересказ.
С «чиво-чиво» переключался он
На чистое «ти-ви, ти-ви», потом –
Со скрежетом: «ура, ура, уррра!», –
И грациозно скачет, хвост задрав.
Попрыгает и вновь («ти-ви») мгновенно
70 Взлетает на насест – на новую антенну{13}.
Я был дитя, когда отец и мать{14},
Два орнитолога, скончались. Вспоминать
Я столько раз их пробовал, что ныне
Им счет на тысячи веду. В небесном чине,
В достоинствах туманных растворясь,
Они истаяли, но слов случайных связь,
Прочитанных, услышанных, упряма:
«Инфаркт» – всегда отец, а «рак желудка» – мама.
Угрюмый собиратель мертвых гнезд
80 Зовется «претерист»{15}. Ночует нынче гость,
Где я дремал{16}, канадской нянею укрытый,
И слушал шум внизу и возносил молитвы
За дядей, тетей, няню, за Адель,
Ее племянницу (знавала папу{17}), за людей
Из книг, за Бога. Чтоб у них все кончилось удачно.
Меня взрастила тетя Мод{18}. Чудачка,
Художник и поэт, влюбленный в пустяки,
В обыденность, куда вплелись ростки
Гротеска, линии судьбы. Малютки нашей рев
90 Еще ей слышан был. Мы комнату ее{19}
Оставили как есть. Здесь сувениров{20} сброд
Творит в ее манере натюрморт:
В стеклянном пресс-папье{21} под зыбью пузырьков
Залив, на индексе раскрытый том стихов
(Мавр, Мор, Мораль, Мура), гитара-ветеран,
Веселый череп и курьез из местной «Сан»
«„Бордовые Чулки“ на Чепменском Гомере{22}
Вломили „Янки“», 8:7, прикноплен к двери.
Мой Бог скончался юным. Бить поклоны
100 Я униженьем счел, не видя в нем резона.
Свободный жив без Бога{23}. Но в природе
Увязший по уши, я так ли был свободен?
Всем детским небом зная наизусть
Златой смолы медвяный, рыбий вкус!
В тетрадях детских радостным лубком
Живописал я нашу клетку: ком
Кровавый солнца, радуга, муар
Колец вокруг луны и этот редкий дар
Природы – «радужка»{24}, – когда над гранью гор
110 В пустыне неба нам утешит взор
Сквозного облачка опаловый овал, –
Зерцало радуги, построенной средь скал
Долины дальней сыгранным дождем.
В какой изящной клетке мы живем!
И крепость звуков: темная стена
Трильонами сверчков в ночи возведена.
Непроницаема! Всходя на холм, я встал,
Расстрелянный их трелями. Вон там
Оконца, Доктор Саттон{25}. Там Пегас.
120 Что были пять минут{26} за сотни лет до нас?
Так, мелкого песку от силы сорок унций.
Переглазеть звезду. Двум безднам ужаснуться,
Былой и будущей. Над куполом главы
Они сошлись, как два крыла, и вы мертвы.
Дремучий человек, уместно здесь ввернуть,
Счастливее: он видит Млечный Путь

Лишь когда мочится. Как ныне, в прежни дни,
Цепляясь за сучки и стукаясь о пни,
Бродил я на авось. Одышлив, толст и вял,
130 Я сроду мяч не гнал и клюшкой не махал.{27}
Я тень, я свиристель, убитый влет{28}
Поддельной далью, влитой в переплет
Окна. Во мне был мозг, пять чувств
(Одно чудесное), а в прочем был я пуст
И странноват. С ребятами играл
Я лишь во сне, но зависти не знал, –
Вот разве что к прелестным лемнискатам{29},
С небрежной легкостью велосипедным скатом
Рисуемым по мокрому песку.
Нежнейшей боли нить,
140 Игрушка Смерти – дернуть, отпустить –
Ослабла, но сквозит во мне ее накал.
Раз, лет в одиннадцать, я на полу лежал,
Следя за куклой заводной{30}, что огибала
(С жестяной тачкою жестяный малый)
Стул, целя под кровать, вихляясь на бегу.
Вдруг солнце взорвалось в моем мозгу.
И сразу – тьмы роскошное убранство.
Мне чудилось, я разметен в пространстве
И времени, – нога средь вечных льдов{31},
150 Ладонь под галькой жданных берегов,
В Афинах ухо, глаз, где плещет Нил,
В пещерах кровь и мозг среди светил.
Унылые толчки в триасе, зелень
И пятна света в верхнем плейстоцене,
Внизу палеолит, оттуда тянет льдом,
И все, что сбудется, в отростке локтевом.
Так до весны нырял я по утрам
В мгновенное беспамятство. А там –
Все кончилось, и память стала таять,
160 Я старше стал. И научился плавать.
Но словно отрок, чей язык однажды{32}
Неволей утолил несытой девки жажду,
Я был растлен, напуган и заклят.
Хоть доктор Кольт твердил, что расточился яд
Того, что он назвал болезнью возрастной,
Заклятье длится, стыд всегда со мной.
Песнь вторая
Был час{33} в безумной юности моей,
Как заподозрил я, что каждый из людей
Владеет истиной о бытии загробном{34}:
170 Лишь я один в неведеньи. Огромный
Злодейский заговор{35} людей и книг{36}
Скрывает истину, чтоб к ней я не приник.
Был день сомнений в разуме людском:
Как можно жить, не зная впрок о том,
Какая смерть и мрак, и рок какой
Сознанье ждут за гробовой доской?
И наконец, была бессонна ночь,
Когда решился я познать и превозмочь
Запретной бездны смрад, сему занятью
180 Пустую жизнь отдавши без изъятья.
Мне шестьдесят один сегодня{37}. В кущах сада
Сбирает верес свиристель, поет цикада{38}.
В моей ладони ножницы, они
Из солнца и звезды сотворены:
Блестящий синтез. Стоя у окна,
Я подрезаю ногти, осознав
Неуловимую похожесть: перст большой –
Сын бакалейщика; унылый и худой,
Но указующий – Староувер Блю{39}, астроном;
190 В середке – длинный пастор, наш знакомый;
Четвертый, женственный, – зазноба дней былых,
И розовый малец у ног ее притих.

И я снимаю стружку, скорчив рожу,
С того, что Мод звала «ненужной кожей».
Когда на жизнь Мод Шейд молчанье налегло,
Ей было восемьдесят лет, ее чело,
Я помню, дернулось, побагровело,
Приняв удар паралича. В Долину Елей
Мы отвезли ее, там славный был приют.
200 Под застекленным солнцем там и тут
Порхали мухи. Мод косила глазом.
Туман густел. Она теряла разум.
Но все пыталась говорить: ей нужный звук,
Застыв, натужившись, она брала, как вдруг
Из ближних клеток сонмище притвор
Сменяло слово нужное, и взор
Ее мольбой туманился, в стараньях
Смирить распутных демонов сознанья.
Под коим градусом распада{40} застает
210 Нас воскресение? В который день и год?
Кто тронет маятник? Кто ленту пустит вспять?
Не всем везет — иль должно всех спасать?
Вот силлогизм{41}: «Другие смертны, да,
Но я-то не другой, — я буду жить всегда.»
Пространство — толчея в глазах, а время —
В ушах гудение. Мы наравне со всеми
В сем улье заперты. Но если б жизни до
Мы жизнь увидели, какою ерундой,
Нелепой небылью, невыразимым срамом
220 Чудесной заумью она явилась нам!
К чему ж глумленье глупое? Зачем
Насмешки над «потом», незнаемым никем:
Над струнным стоном лир, беседой неспешливой
С Сократом или Прустом под оливой,
Над шестикрылым серафимом, над усладой
Турецкою и над фламандским адом,
Где бродит дикобраз таинственный? Не в том
Беда, что фантастичен сон —
Безумья мало в нем. В ужасных муках снова
230 Мы порождаем душку-домового{42}.
Смешны потуги{43} — рок, что всем един,
Превесть на свой язык! Взамен терцин
Божественных поэзии — заметы
Бессвязные, бессонья вялый лепет!
«Жизнь есть донос, написанный впотьме.»
Без подписи.
Я видел на сосне,
Шагая к дому в день ее конца:
Подобье изумрудного ларца{44}
За ствол цеплялось, рядом стыл в живице
240 Всегдашний муравей.
Тот англичанин в Ницце{45},
Лингвист счастливый, гордый: «je nourris
Les pauvres cigales», — он, стало быть, кормил
Бедняжек-чаек!
Лафонтен, тужи,
Жующий помер, а поющий жив.
Так ногти я стригу и слышу, размышляя,
Твои шаги вверху, все хорошо, родная{46}.
Тобою любовался я, Сибил{47},
Все годы школьные, но полюбил
250 Лишь на экскурсии к Нью-Вайскому Порогу.
Был завтрак на траве, геолог школьный много
Нам сообщил о водопадах. С ревом, с пылом
Под пыльной радугой Романтика входила
В наш пресный парк. В апрельской синеве
Я за тобой раскинулся в траве
И видел спину узкую, наклон
Головки и раскрытую ладонь
В траве, меж звезд трилистника и камнем.

Чуть дрогнула фаланга. Ты дала мне
Оборотясь, глаза мои встречая,
260 Наперсток яркого и жестяного чая.
Все тот твой профиль. Персиковый ворс
В обвод скулы, персидской формы нос
И бровь, и темный шелк взметен
С виска и шеи, и под глазом тон,
Наложенный ресницами, темнеет,
Губ сдержанность, открытость шеи, –
Все сохранила ты. И водопадов хор,
Коль ночь тиха, мы слышим до сих пор.
Дай мне ласкать тебя, о идол мой,
270 Ванесса темная{48} с багровою каймой,
Мой Адмирабль, мое блаженство! Объясни,
Как сталось, что в сиреневой тени
Неловкий, истеричный Джонни Шейд
Впивался в твой висок, глаза и шею?
Мы вместе сорок лет{49}. Четыре тыщи раз
Твоя подушка принимала нас.
Четыре сотни тысяч прожитых
Часов отметил хрип курантов домовых.
И много ли еще календарей
280 Украсят створки кухонных дверей?
Люблю тебя, стоящей на лужке,
Глядящей в крону дерева: «Исчез.
Какой он крохотный. Вернется ль?» (в ожиданьи
Нежнейшим шопотом, нежнейшим, чем лобзанье).
Люблю, когда взглянуть зовешь меня ты
На реактивный шрам над пламенем заката{50}.
Люблю, как напевая, за подпругу
Мешок дорожный{51} с молнией по кругу
Подтянешь, уложив. И в горле ком,
290 Когда встречаешь тень ее кивком,
Глядишь в ладонь на первый погремок
Иль в книжице забытое письмо.
Она{52} могла быть мной, тобой, могла смешеньем быть.
Я выбран был, чтоб с хрустом раздавить
Сердца тебе и мне. Вначале мы шутили:
«Девчушки все толстушки, верно?» или
«Мак-Вэй (наш окулист) в один прием
Поправит эту косину». Потом:
«А ведь растет премиленькой», и острой
300 Тоски не одолев: «Неловкий возраст».
«Ей надо б походить на ипподром»
(В глаза не глядя). «Теннис, бадминтон…
Крахмала меньше, фрукты! Что ж, она
Возможно, не смазлива, но умна».
Все было бестолку. Конечно, высший балл
(История, французский) утешал.
Да, детских игр немилостив закон:
Застенчивый в них редко пощажен.
Но будем честными: когда другие дети
310 Являлись эльфами и феями в балете
На сцене, ей расписанной, она
В уборщицы была низведена –
Старуха-Время с шваброй и помойной
Бадьей. Я, как дурак, рыдал в уборной.
Вновь зиму отскребли. Зубянкой и белянкой{53}
Май населил тенистые полянки.
Сгорело лето. Осень вышла дымом.
А гадкой лебеди не выпало, увы нам,
Древесной уткой{54} стать. И ты твердила снова:
320 «Она невинна, – что же тут дурного?
Мне эти хлопоты о плоти непонятны.
Ей нравится казаться неопрятной.
И целомудрие бывало иногда
Творцом блестящих книг. А красота,
Любовь – не главное». Но старый Пан кивал

Нам с каждого холма. Бес жалости жужжал:
Не будет губ, чтоб с сигареты тон
Ее помады снять, и телефон,
Что, бал предчувствуя, в Сороза-холл поет
330 Песнь непрестанную, ее не позовет,
Покрышками по гравию шурша,
К калитке франт, увитый в белый шарф,
За ней не явится{55} из лаковой ночи,
На танцы он бедняжку не умчит
Видением жасмина и тумана.
Зато в каникулы она живала в Канне.
И возвращалась — в горестях, в слезах
И с новым поводом для слез. В те дни, когда
Весь городок плясал, она влеклась к ступеням
340 Библиотеки колледжа с вязаньем, с чтеньем,
Почти всегда одна, — порой подруга с нею,
Теперь монашенка, иль мальчик из Кореи,
Мой слушатель. В ней связь была странна
Причуд, боязней, воли. Раз, она
Три ночи провела в пустом сарае{56},
Его мерцания и стуки изучая.
Она слова вертела{57} — «тень» и «нет» —
И в «телекс» переделала «скелет».
Ей улыбаться выпадало редко —
350 И то в знак боли. Наши планы едко
Она громила. Сидя в простынях,
Измятых за ночь, с пустотой в очах,
Ножища растопыря, под власами
Копая псориазными ногтями,
Со стоном, тоном, слышимым едва,
Она твердила гнусные слова.
Мое сокровище — так тягостна, хмура,
А все — сокровище. Мы помним вечера
Едва ль не мирные: маджонг или твоих
360 Мехов примерка — и почти красива в них.
Ей улыбалось зеркало в ответ,
Любезной тень была и милосердным свет.
Я делал с ней латынь иль в спальне, что стеной,
Разлучена с моей светящейся норой,
Она читала. Ты — в своей гостиной,
В двойной дали, в троюродной. Ваш чинный
Мне слышен разговор: «Мам, что за штука
Весталии?» «Как-как?»
«Вес талии». Ни звука.
Потом твой сдержанный ответ и снова:
370 «Мам, а предвечный?» — ну, к нему-то ты готова.
Ты добавляешь: «Мандаринку съешь?»
«Нет. Да. А преисподняя?» И в брешь
Твоей пугливости врываюсь я, как зверь
Ответ вульгарный рявкая сквозь дверь.
Не важно, что она читала, — некий всхлип{58}
Поэзии новейшей, — этот тип,
Их лектор, называл его{59} «трудом
Чаруйно-трепетным», — о чем толкует он,
Никто не спрашивал. По комнатам своим
380 Тогда разъятые, теперь мы состоим
Как будто в триптихе или в трехактной драме,
Где явленное раз, живет уже веками.
Но мнится, что томил ее мечтаний дым.
В те дни я кончил книгу{60}. Дженни Дин,
Моя типистка, предложила ей
Свести знакомство с Питом (братом Джейн){61}:
Ее жених ссудил автомобиль,
Чтоб всех свезти в гавайский бар, за двадцать миль.
Он к ним подсел в Нью-Вае, в половине
390 Девятого. Дорога слепла в стыни.
Уж бар они нашли, внезапно Питер Дин,
Себя ударив в лоб, вскричал, что он, кретин,

Забыл о встрече с другом: друг в тюрьму
Посажен будет, если он ему…
Et cetera. Участия полна,
Она кивала, сгинул он, она
Еще с друзьями у фанерных кружев
Помедлила (неон рябил по лужам)
И молвила с улыбкой: «Третий лишний.
400 Поеду я домой». Друзья прошли с ней
К автобусу. Но в довершенье бед
Она пустилась не домой, а в Лоханхед.
Ты справилась с запястьем: «Восемь тридцать.
Включу{62}». (Тут время начало двоиться.)
На донце колбы жизнь пугливо занялась,
Плеснула музыка.
Он на нее взглянул лишь раз,
Второй же взгляд чуть не покончил с Джейн.
Злодейская рука{63} гнет из Флориды в Мэн
Кривые стрелы эолийских войн. Вот-вот,
410 Сказала ты, квартет зануд начнет
(Два автора, два критика) решать
Судьбу поэзии в канале № 5.
Там нимфа в пируэте{64}, свой весенний
Обряд свершив, она клонит колени
Пред деревянным алтарем, где в ряд
Предметы культа туалетного торчат.
Я к гранкам поднялся наверх{65} и слышал,
Как ветер вертит камушки на крыше.
«Зри, пляшет вор слепой, поет хромая голь», —
420 Здесь пошлый тон его эпохи злой
Так явственен. И вот твой зов веселый,
Мой пересмешник, долетел из холла.
Поспел я вовремя, чтоб удоволить жажду
Непрочных почестей и выпить чаю: дважды
Я назван был — за Фростом, как всегда
(Один, но скользкий шаг){66}.
«Но вы не против, да?
Ведь если денег не получит он
К полуночи… Я б рейсом на Экстон…»
Засим — туристский фильм, — нас диктор вел туда,
430 Где в мартовской ночи, в тумане, как звезда
Двойная, зрели фары, близясь{67}
К морской — к зеленой, синей, смуглой ризе, —
Мы здесь гостили в тридцать третьем, ровно
За девять лун до рождества ее. Те волны{68},
Теперь седые сплошь, уже не вспомнят нас, —
Как долго мы бродили в первый раз,
Тот свет безжалостный, ту стайку парусов —
Два красных, белые и синий, как суров
Его был с морем спор, — того мужчину
440 В обвислом блайзере, что сыпал нестерпимо
Горластым чайкам крошки, сизаря,
Меж них бродившего вразвалку. Ты в дверях
Застыла. «Телефон?» О нет, ни звука.
И снова ты к программке тянешь руку.
Еще огни в тумане. Смысла нет
Тереть стекло: лишь отражают свет
Заборы да столбы, столбы на всем пути.
«А может, ей не стоило идти?»
«Да что за невидаль — заглазное свиданье!
450 Ну что, попробуем премьеру „Покаянья“?»
И безмятежные, смотрели мы с тобой
Известный фильм. Прекрасный и пустой
И всем знакомый лик, качаясь, плыл на нас.
Приотворенность уст и влажность глаз,
Перл красоты на щечке — галлицизм
Не очень ясный мне, — все расплывалось в призме
Общинной похоти.
«Я здесь сойду.» «Постойте,

Ведь это ж Лоханхед.» «Мне все равно, откройте».
В стекле качнулись призраки древес.
460 Автобус встал. Захлопнулся. Исчез.
Гроза над джунглями. «Нет, Господи, не надо!»
У нас в гостях Пат Пинк (треп против термояда).
Одиннадцать. «Ну, дальше чепуха», –
Сказала ты. И началась, лиха,
Игра в студийную рулетку. Меркли лица.
Сносило головы рекламным небылицам.
Косило пеньем скрюченные рты.
Какой-то хлюст прицелился{69}, но ты
Была ловчей. Веселый негр{70} трубу
470 Воздел. Щелчок. Ты правила судьбу
И даровала жизнь. «Да выключи!» «Сейчас.»
Мы видели: порвалась жизни связь,
Крупица света съежилась во мраке
И умерла.
С встревоженной собакой,
Согбенный и седой, из хижины прибрежной
Папаша-Время{71}, старый сторож здешний,
Пошел вдоль камышей. Он был уже не нужен.
В молчаньи мы закончили свой ужин.
Дул ветер, дул. Дрожали стекла мелко.
480 «Не телефон?» «Да нет.» Я мыл тарелки,
И век проведшие на кухонном полу
Часы крошили старую скалу.
Двенадцать бьет. Что юным поздний час?
В пяти стволах кедровых заблудясь,
Веселый свет плеснул на пятна снега,
И на ухабах наших встал с разбега
Патрульный «форд». Еще хотя бы дубль!
Одни считали – срезать путь по льду
Она пыталась, где от Экса{72} к Ваю
490 Коньки ретивые по стуже пробегают.
Другие думали, – бедняжка заплуталась,
И верил кое-кто, – сама она сквиталась
С ненужной юностью{73}. Я правду знал. И ты.
Шла оттепель, и падал с высоты
Свирепый ветр. Трещал в тумане лед.
Озябшая весна стояла у ворот
Под влажным светом звезд, в разбухшей глине.
К трескучей жадно стонущей трясине
Из тростников, волнуемых темно,
500 °Слепая тень сошла и канула на дно.
Песнь третья
О, l'if{74} безлиственный! – большое «может статься»,
Твое, Рабле. Большой батат{75}. Иль вкратце:
«Institute (I) of Preparation (P)
For the Hereafter (H)» – IPH{76}. Помню, я шутил:
«Больше Если» If!. Я взят был на семестр
Читать о смерти (ректор Мак-Абер
Писал ко мне: «курс лекций о червях»).
Нью-Вай оставив, кроха, ты и я
Перебрались в Юшейд – в другой, гористый штат.
510 Отрадны горы мне. Над ржавчиной оград
Домишек наших виснул снежный пик,
Столь пристально далек и неприютно дик,
Что оставалось лишь вздыхать, как будто это
Способствовало усвоенью. Iph в те лета
Был призрачен, лилов: как бы на утре дней
Младому Разуму был явлен мавзолей
Его же собственный. Все ж не хватало в нем
Того, что ценит претерист, ведь с каждым днем
Мы умираем вновь, не средь глухих могил
520 Забвенье царствует, но в полнокровьи сил,
И лучшие «вчера» сегодня – пыльный ком
Помятых дат и стершихся имен.
Да, я готов стать мухой и цветком,

Но никогда – забыть. Гори она огнем,
Любая вечность, если только в ней
Печаль и радость бренной жизни сей,
Страдание и страсть, та вспышка золотая,
Где самолет близ Геспера растаял,
Твой жест отчаянья – нет больше сигарет,
530 То, как ты смотришь на собаку, льдистый след
Улитки, льнущий по садовым плитам,
Вот эти добрые чернила, рифма, ритм,
Резинка тонкая, что скрутится, упав,
В знак бесконечности, и карточек стопа, –
В небесной тверди скрытые, не ждут
Прихода нашего.
Напротив, Институт
Считал, что не пристало мудрецам
Ждать многого от Рая. Что, как вам
Никто не скажет «здрасте», ни встречать
540 Вас будет некому, ни в тайны посвящать?
Что если вас швырнут в бездонную юдоль,
И в ней заблудится душа, оставив боль
Свою несказаной, незавершенным дело,
Уже гниеньем тронутое тело –
Неприодетым, утренним, со сна,
Вдову – на ложе жалостном, она
Лежит ничком, расплывшимся пятном
В сознаньи тающем, разъятом, нежилом!
Iph презирал богов (включая Г){77}, при этом
550 От мистицизма был не прочь{78}, давал советы
(Цветные стеклышки, пригодные при всяком
Затменьи бытия): как совладать со страхом,
Став привидением, как выбирать инкуба,
Чтоб поприличнее, взаимного испуга
Как избегать, встречая на пути
Сплошное тело, как его пройти,
Как отыскать в удушьи и в тумане
Янтарный нежный шар, Страну Желаний{79}.
Как не сдуреть в спиральной кутерьме
560 Пространств. Еще был список мер
На случай прихотей метампсихозы:
Как быть, вдруг брякнув прямо под колесы
В обличьи жабы юной и лядащей,
Став медвежонком под сосной горящей
Иль воплотясь в клопа, когда на Божий свет
Вдруг извлекут обжитый им Завет.
Суть времени – преемственность, а значит
Его отсутствие должно переиначить
570 Весь распорядок чувств. Советы мы даем,
Как быть вдовцу. Он потерял двух жен.
Любимых, любящих, – он их встречает, остро
Ревнующих его друг к дружке. Время – рост.
Чему ж расти в Раю? В копне льняных волос
Над памятным прудом, где небо заспалось,
Качая неизменное дитя,
Жена печалится. От той отворотясь,
Другая{80}, так же светлая (с оттенком
Заметным рыжины), поджав коленки,
Сидит на баллюстраде, влажный взор
580 Уставя в синий и пустой простор.
Как быть? Обнять? Кого? Какой игрушкой грусть
Ребенка разогнать? Как важен, карапуз.
Еще ли помнит он ту ночь и бурю в марте,
И лобовой удар, убивший мать с дитятей?{81}
А новая любовь, – подъем ноги так внятен,
Подчеркнутый балетным черным платьем, –
Зачем на ней другой жены кольцо?
Зачем надменно юное лицо?
Нам ведомо из снов, как нелегки
590 Беседы с мертвыми, как к нам они глухи, –

К стыду и страху, к нашей тошноте
И к чувству, что они — не те, не те.
Так школьный друг, убитый в дальних странах,
В дверях нас встретит, не дивясь, и в странном
Смешеньи живости и замогильной стужи
Кивнет нам на подвал, где леденеют лужи{82}.
И кто нам скажет, что мелькнет в уме{83},
Когда нас утром поведут к стене
По манию долдона иль злодея —
600 Политика, гориллы в портупее?
Мысль не оставит вечного круженья:
Державы рифм, Вселенной вычислений,
Мы будем слушать пенье петуха{84},
Разглядывать на стенке пленку мха,
И пока вяжут царственные руки,
Срамить изменников, высмеивать потуги
Тупого рвения, и в эти рыла глядя,
Им наплюем в глаза, хотя бы смеха ради.
И кто спасет{85} изгнанника? В мотеле
610 Умрет старик. В ночи горячей прерий
Кружатся лопасти, цветные огоньки
Его слепят, как будто две руки
Из прошлого, темнея, предлагают
Ему камения. Смерть входит, поспешая.
Он задыхается, кляня на двух наречьях{86}
Туманность, что растет в нем, легкие калеча.
Рывок, разрыв, мы к этому готовы.
Найдем le grand néant, найдем, быть может, новый
Виток, пробивший глаз того же клубня{87}.
620 Быв напоследок в Институте: «Трудно, —
Сказала ты, его окинув взглядом, —
Понять, чем это рознится от Ада.»
Я слышал заявленье Груберштейна,
Что муфельная печь есть смерть для привиденья,
И вой крематоров. Мы критики религий
Старались свесть к нулю. Староувер Блю великий{88}
Читал обзор о годности планет
Для приземленья душ. Особый комитет
Решал судьбу зверей{89}. Пел дискантом китаец
630 О предках, о свершеньи чайных таинств,
О связи их, зашедшей далеко.
Я в клочья раздирал фантазьи По,
Младые сны и этот странный свет, —
Как перламутровый, — над перевалом лет.
Средь слушателей был и старый коммунист,
И юный служка. Iph за первый приз
Тягался с церковью и с линией партийной.
В позднейшие года тут потянуло тиной.
Явился некий медиум. Буддизм
640 Пустил ростки. Постылый афоризм,
Мол, «все дозволено», фра Карамазов блеял
В аудиториях. И рыбью страсть лелея
К возврату в матку, к родовым вертепам,
Фрейдистов школа разбрелась по склепам.
У тех безвкусных бредней я в долгу.
Я понял, чем я пренебречь смогу
При съемке смертных бездн. И потерявши дочь,
Я знал, — уж ничего не будет: в ночь
Не отстучит морзянкой деревянной
650 Дух самозваный детское прозванье,
И не поманит нас с тобой фантом
Из-за гикори в садике ночном.
«Что там за странный треск, ты слышишь? Что за стук?»
«То ставень наверху, не бойся, милый друг.»
«Раз ты не спишь, так лучше уж при свете.
Что ж, в шахматы?» «Давай.» «Несносный ветер!»
«Нет, все ж не ставень. Слышишь? Вот оно.»
«То, верно, ветка прядает в окно.»

«Что там скользит и ухает так глухо?»
660 «То повалилась в грязь зима-старуха.»
«Мой конь в ловушке, чем ему помочь?»
Кто скачет, кто мчится сквозь ветер и ночь?{90}
То автора горе. То мартовский жуткий
И яростный ветер. Отец и малютка.
Потом пошли часы и даже дни
Без памяти о ней, так поспешает жизнь
Мохнатым червячком. На белом пляже,
Меж черных и краснеющих сограждан,
В Италии мы лето провели.
670 Вернулись восвояси и нашли,
Что горсть моих статей («Морской конек
Неукрощенный{91}») «вызвала восторг
Читателей» (купивших триста копий).
Опять пошла учеба, средь предгорий,
Где дальний вьется путь, поплыли в темноте
Огни машин, вернувшихся к мечте
О высшей мудрости. Французам увлеченно
Ты прелагала{92} Марвелла и Донна.
То был год бурь, — пронесся от Флориды
680 До Мэна ураган по имени «Лолита»{93}.
Тлел Марс. Женился шах. Шпионил Росс угрюмый.{94}
Ланг{95} сделал твой портрет. И как-то в ночь я умер.
Клуб города Крашоу мне оплатил рассказ
О том, «В чем смысл поэзии для нас».
Рассказ был скучен, но недолог. Вспять
Пустился я, стараясь избежать
«Ответов на вопросы», тут из зала
Восстал всегдашний старый приставала
Из тех, что, верно, не живут и дня
690 Без склоки с лектором, и трубкой ткнул в меня.
Тогда и наступил — упадок сил
Иль прежний приступ{96} мой. По счастью, в зале был
Какой-то врач. К его ногам я сник.
Казалось, сердце встало. Долгий миг
Прошел, пока оно к конечной цели{97},
Поднявшись, поплелось.
Прошу тебя, теперь
Внимание. Я, право, сам не знаю,
Как понял я, что я уже за гранью,
И все, что я любил, навеки ею стерто.
700 Но неспособна горевать аорта.
В конвульсиях зашло упругое светило.
Кроваво-черное ничто взмесило
Систему тел{98}, спряженных в глуби тел,
Спряженных в глуби тел, спряженных в темноте
Единой темы. И сраженный страхом,
Я видел, как ударила из мрака
Фонтана мощного белесая струя.
То был поток (мгновенно понял я)
Не наших атомов, и смысл всей этой сцены
710 Не нашим смыслом был. Ведь разум неизменно
Распознает подлог природы: пестрой птицей
Становится камыш, личинкой пяденицы
Сучок корявый, голова змеи
Огромной бабочкой, но то, что заменил,
Перцептуально, белый мой фонтан,
Мог распознать лишь обитатель стран,
В которых я блуждал.
Но вот истаял он.
Еще в беспамятстве, уж был я возвращен
В земную жизнь. Мой сбивчивый рассказ
720 Развеселил врача. Он говорил, смеясь,
Что он нашел меня повергнутым в затменье,
В котором медициною «виденья,
Галлюцинации, какие-либо сны
Всерьез и навсегда запрещены.

Возможно, после, но уж не в момент
Коллапса».
Но ведь я же умер! «Нет, –
Он улыбнулся („как ему не лень?!“), –
Тень смерти, мистер Шейд, и даже – полутень{99}.»
Но я не верил и в воображеньи
730 Прокручивал все заново. Со сцены
Опять сходил я, чувствуя озноб
И жар, и лед, и снова этот сноб
Вставал, а я валился, но виной
Тому была не трубка, – миг такой
Настал, чтоб ровный оборвало ход
Хромое сердце, робот, обормот{100}.
Виденье пахло правдой. В нем сияли
Затейливость и непреложность яви.
Виденье было. Времени поток
740 Сместить его отвесности не мог.
Наружным блеском{101} городов и споров,
Как часто, утомлен, переводил я взоры
Вовнутрь и там, родник моей души, –
Сверкал бесценный друг! И в сладостной тиши
Я узнавал покой. И наконец, возник,
Казалось мне, его прямой двойник.
То был журнал: статья о миссис Z.{102},
Чье сердце потеснил на этот свет
Хирург проворный крепкою рукой.
750 В беседе с автором «Страны за Пеленой»
Порхали ангелы, похрапывал орган
(Был список гимнов из Псалтыри дан),
И голос матери, чуть слышный, и узор
Церковных витражей, и под конец – простор
И сад, как бы в тумане, – «а за ним
(Тут я цитирую) неясно различим,
Возвысился, белея и клубя,
Фонтан. И я пришла в себя.»
Вот безымянный остров. Шкипер Шмидт
760 На нем находит неизвестный вид
Животного. Чуть позже шкипер Смит
Привозит шкуру. Всякий заключит:
Сей остров – не фантом. Фонтан наш точно так
Был верной метой на пути во мрак, –
Мощнее кости и прочнее зуба,
Почти вульгарный в истинности грубой.
Статью писал Джим Коутс. Я Джиму позвонил,
Взял адрес{103} и проехал триста миль
На запад. И приехал. И узрел
770 Веснушки на руках и подсиненный мел
На голове, услышал страстный всхлип
Притворной радости. И понял я, что влип.
«Ах, право, ну, кому бы не польстила
С таким поэтом встреча?» Ах, как мило,
Что я приехал. Я все норовил
Задать вопрос. Пустая трата сил.
«Ах, после как-нибудь.» Дневник и все такое
Еще в редакции. И я махнул рукою.
Ел яблочный пирог – еще бы, я в гостях,
780 Уж так положено. Какая глупость! «Ах,
Неужто это вы, неужто я не сплю?
Я так люблю ваш стих{104} из „Синего ревю“, –
Ну тот, что про „Мон Блон“{105}. Племянница моя
Взбиралась на ледник. Другую пьеску я
Не очень поняла. Ну, то есть смысл стиха, –
Поскольку музыка… Я, впрочем, так глуха!»
Да как еще! Я мог бы настоять
Я мог ее заставить рассказать
О том фонтане, что «за пеленой»
790 Мы оба видели. Но (думал я с тоской)
То и беда, что «оба», ведь она

Вопьется в это слово, словно в знак
Родства священного, в мистическую связь,
И души наши, трепетно слиясь,
Как брат с сестрой, замрут на самой грани
Инцеста нежного. «Ну-с, — молвил я, — пора мне.
Уж вечер…»
К Джиму я заехал по пути.
Ее записок он не смог найти,
Зато в стальном шкапу нашлась его статья.
800 «Все точно, даже слог ее оставил я.
Тут, правда, опечатка{106}, — из пустых:
Вулкан, а не фонтан. Величественный штрих.»
Жизнь вечная, построенная впрок
На опечатке! Что ж принять урок
И не пытаться в бездну заглянуть?
И тут открылось мне, что истинная суть
Здесь, в контрапункте, — не в блажном виденьи,
Не в том наобортном совпаденьи,
Не в тексте, но в текстуре, — здесь нависла —
810 Нет не бессмыслица, но паутина смысла{107}.
Да! Будет и того, что жизнь дарит
Язя и вяза связь, как некий вид
Соотнесенных странностей игры,
Узор художества, которым до поры
Мы тешимся, как те, кто здесь играет.
Не важно, кто они. К нам свет не достигает
Их тайного жилья, но всякий день и час,
Безмолвные, снуют они меж нас:
В игре миров{108} иль в пешками до срока
820 Рожденных фавнах и единорогах, —
А кто убил балканского царя?{109}
Кто гасит жизнь одну, другую жжет зазря?
Кто глыбу льда сорвал с обмерзлого крыла,
Чтобы она башку крестьянину снесла?
Кто трубку и ключи мои ворует?
Кто вещи и дела невидимо связует
С делами дальними, с пропавшими вещами?
Все, все они, творящие пред нами
Орнамент, где сплелись возможности и быль.
830 Я в дом влетел в плаще: Я убежден, Сибил{110}…
«Прихлопни дверь. Как съездил?» Хорошо.
И сверх того, я, кажется, нашел,
Да нет, я убежден, что для меня забрезжил
Путь к некой… «Да дружок?» Путь к призрачной надежде.
Песнь четвертая
Теперь силки расставлю{111} красоте,
Из коих не уйти. Теперь явлю протест,
Досель неслыханный. Теперь возьмусь за то,
С чем сладить и не пробовал никто.
И к слову, я понять не в состояньи
840 Как родились два способа писанья{112}
В машине этой чудной: способ А,
Когда трудится только голова, —
Слова бесчинствуют, поэт их судит строго
И в третий раз намыливает ногу;
И способ Б: бумага, кабинет
И чинно водит перышком поэт.
Тут мысль рукою правит, тут конкретен
Абстрактный бой, перо парит и в клети
Летит к луне зачеркнутой, в узду
850 Впрягая отлученную звезду.
Так мысль строку и тянет и манит
На свет через чернильный лабиринт.
Но способ А — агония! Зажат
Стальною каской лоб. Слова построив в ряд
И нацепив мундир, муштрой их мучит Муза,
И как ни напрягайся, сей обузы
Избыть нельзя, а бедный автомат

Все чистит зубы (пятый раз подряд)
Иль на угол спешит, – купить журнал,
860 Который он давно уж прочитал.
Так в чем же дело? В том, что без пера
На три руки положена игра:
Чтоб рифму брать, чтобы держать в уме
Все строки прежние и чтобы в кутерьме
Строку готовую держать перед глазами?
Иль вглубь идет процесс, коль нету рядом с нами
Опоры промахов, пииты пьедестала –
Стола? Ведь сколько раз, бывало,
Устав черкать, я выходил из дома,
870 И скоро слово нужное, влекомо
Ко мне немой командой, засвистав,
Стремглав слетало прямо на рукав.
Мне утро – лучший час{113} и лето – лучший срок.
Однажды сам себя я подстерег
В просонках – так, что половина тела
Еще спала, душа еще летела.
Ее поймал я на лугу, топаз рассвета
Сверкал на листьях клевера, раздетый
Стоял средь луга Шейд в одном полуботинке,
880 Тут понял я, что спит и эта половинка,
И обе прыснули, я сел в своей постели,
Скорлупку утра день проклюнул еле-еле,
И на сырой траве, блистая ей под стать,
Стоял ботинок! Тайную печать
Оттиснул Шейд, таинственный дикарь,
Мираж, морока, эльфов летний царь.
Коль мой биограф будет слишком сух
Или несведущ{114}, чтобы ляпнуть вслух:
«Шейд брился в ванне», – заявляю впрок:
890 «На петлях и винтах шла ванны поперек
Стальная полоса, чтоб прямо пред собой
Он мог поставить зеркало, – ногой
Горячий кран крутя (он пользовался правой),
Сидел он, как король{115}, весь, как Марат, кровавый.»
Чем больше вешу я, тем ненадежней кожа.
Такие есть места! – хоть рот, положим:
Пространство от улыбки до гримасы
Истерзано порезами. Участок
Возьмем иной – удавку для богатых,
900 Подбрюдок{116}, – весь в лохмотьях и заплатах.
Адамов плод колюч. Я расскажу теперь
О горестях, которых вам досель
Никто не сказывал. Пять-шесть-семь-восемь. Чую,
И десяти скребков не хватит, и вслепую
Проткнув перстами сливки и клубнику,
Опять наткнусь на куст щетины дикой.
Меня смущает однорукий хват,
Что по щеке съезжает без преград
В один рекламный мах от уха до ключицы
910 И гладит кожу любящей десницей.
А я из класса пуганых двуруких,
И как эфеб, лелеющий подругу
В балетном па, так левая рука
За правой тянется, надежна и легка.
Теперь скажу… Гораздо лучше мыла
То ощущенье ледяного пыла,
Которым жив поэт, – как точных слов стеченье,
Внезапный образ, холод вдохновенья
Скользнут по коже трепетом тройным, –
920 Так дыбом волоски{117}. Ты помнишь тот мультфильм,
Где ус держал, не дав ему упасть,
«Наш Крем{118}», а косарь резал всласть?
Теперь скажу о зле, как отродясь
Никто не говорил. Мне ненавистны: джаз
Весь в белом идиот, что черного казнит

Быка в багровых брызгах, абстракционист
Бракованный, ряжоный примитив,
Бассейны, в магазинах музыка в разлив,
Фрейд{119}, Маркс, их бред и мрак, идейный пень с кастетом,
930 Убогие умы и дутые поэты.
Пока, скрипя, страной моей щеки
Тащится лезвие, ревут грузовики{120}
И огибают челюсть, и машины
Ползут по склону вверх, и лайнер чинно
Заходит в порт, и в солнечных очках
Турист бредет Бейрутом — там, в полях
Старинной Земблы{121}, между ртом и носом
Идут стерней рабы и сено косят.
«Жизнь человека{122} — комментарий к темной
940 Поэме без конца.» Использовать. Запомни.
Брожу по комнатам. Тут рифму отыщу,
Там натяну штаны. С собой тащу
Рожок для обуви. Он станет ложкой. Съем
Яйцо. Ты отвезешь затем
Меня в библиотеку. А в седьмом
Часу обедаем. И вечно за плечом
Маячит Муза, оборотень странный, —
В машине, в кресле, в нише ресторанной.
И всякий миг{123}, и всякий миг{124} ты снова
950 Со мной, любовь моя, под слогом, выше слова,
Живящий ритм творя. Как в прежние века
Шум женских платьев плыл издалека,
Так мысль твою привык я узнавать
Заранее. Ты — юность. И опять
В твоих устах прозрачны и легки
Тебе мной посвященные стихи.
«Залив в тумане» — первый сборник мой
(Свободный стих), за ним — «Ночной прибой{125}»
И «Кубок Гебы», влажный карнавал
960 На нем закончился, — потом я издавал
Одни «Стихи». (Но эта штука манит
В названье лунный свет. Ну, Вилли! «Бледный пламень»{126}.)
Проходит день под мягкий говорок
Гармонии. Мозг высох. Летунок
Коричневый, глагол, что я приметил,
Но применить не смог, подсохли на цементе.
И может тем и люб мне Эхо робкий сын,
Consonne d'appui, что чувствую за ним
Продуманную в тонкостях, роскошно
970 Рифмованную жизнь.
Я чувствую, мне можно
Постигнуть бытие или хотя бы часть
Мельчайшую, мою, лишь только через связь
С моим искусством, в сладости сближений,
И коль под стать строка моей Вселенной,
То верю, есть размер, которым обуян
И мир светил, — подозреваю: ямб.
Я верую разумно: смерти нам
Бояться нечего, я верю, — где-то там
Она нас ждет, как верую, что снова
980 Я встану завтра в шесть, двадцать второго
Июля месяца, в год пятьдесят девятый,
И верю, день получится приятный.
Будильник сам поставлю и зевну,
И Шейдовы «Стихи» на полку их верну.
Но спать ложиться рано. Светит солнце
У Саттона в последних два оконца.
Ему теперь — за восемьдесят? Старше
Меня он вдвое был в год свадьбы нашей.
А где же ты? В саду? Я вижу тень твою
990 С гикори рядом. Где-то звонко бьют
Подковы{127}. Трень да брень. (Как бы хмельной повеса
В фонарный столб стучит.) И темная ванесса{128}

С каймой багровой в низком солнце тает,
Садится на песок, с чернильно-синим краем
И белым крепом крылья приоткрыв,
И сквозь прилив теней и световой отлив,
Ее не удостаивая взглядом,
Бредет садовник{129} (тут он где-то рядом
Работает) и тачку волочет.
{130}
Указатель
Числа отвечают строкам поэмы и примечаниям к ним.

Прописные буквы Г, К, Ш (смотри их) обозначают трех главных действующих лиц настоящего труда.

А., барон, Освин Аффенпин, последний барон Афф, ничтожный предатель, 286.

Акт, Ирис, прославленная актриса, ум. 1888; страстная и властная женщина, фаворитка Тургиса Третьего (см.), 130.По официальной версии наложила не себя руки, по неофициальной – была задушена в ее гардеробной собратом по сцене, ревнивым молодым готтландцем, который ныне, в свои девяносто, является самым старым и никчемным членом фракции «Теней» (см.).

Альфин, король, прозванный Отсутствующим, 1873–1918, царил с 1900 г.; отец К; добрый, мягкий, рассеянный государь, интересовавшийся преимущественно автомобилями, летальными аппаратами, моторными лодками и недолгое время морскими раковинами; погиб в авиакатастрофе, 71.

Андронников и Ниагарин, чета советских спецов, разыскивающих клады, 130, 681, 741; см. «Сокровища короны».

Арнор Ромулус, светский поэт и земблянский патриот, 1914–1958, цитата из его стихотворения, 81; казнен экстремистами.

Б., барон, невольный тесть барона А. и воображаемый старинный друг семейства Бритвит (см.), 286.

Бера, горный хребет, разделяющий полуостров по всей его длине; описан вместе с некоторыми из его сверкающих вершин, таинственных перевалов и живописных склонов, 149.

Блавик, Васильковая заводь, приятный приморский курорт на Западном побережьи Земблы; казино, лужайка для гольфа, морская пища, прокат лодок, 149.

Бленда, королева, Мать короля, 1878–1936, царила с 1918 г., 71.

Больны, герцоги, их герб, 270; см. «Диза», моя королева.

Боскобель, местонахождение королевской дачи, прекрасный район З. Земблы, сосны и дюны, мягкие ложбины, полные самых любовных воспоминаний автора; ныне (1959) – «нудистская колония», – что бы это ни значило, 149,596.

Боткин В., американский ученый-филолог русского происхождения, 894; king-bot – англ. бут, царский овод, личинка ископаемой мухи, некогда плодившейся на мамонтах, что, как считают, и ускорило их общую филогенетическую кончину, 247; тачать ботики, 71; «боткать» – глухо плюхать и «ботелый» – толстобокий (русск.); «боткин» или «бодкин» – датский стилет.

Брегберг, см. «Бера».

Бритвит, Освин, 1914–1959, дипломат и земблянский патриот, 286. См. также «Одивала» и «Эроз».

Ванесса, «Красная Обожаемая» (simpsimus), так называемая, 270; перелетающая парапет на склоне швейцарских гор, 408; изображенная, 469; карикатура на нее, 949; провожающая Ш в последний путь в сиянии вечернего солнца, 992.

Варианты, вороватые луна и солнце, 39–40; замысел «исконной сцены», 57; побег

земблянского короля (вклад К, 8 строк), 70; «Эдда» (вклад К, 1 строка), 80; труп дездемоны, 90–94; дети, находящие подземный ход (вклад К, 4 строки), 130; несчастный Свифт и… (возможный намек на К), 231; Шейд, Ombre, 275; «виргинии белянки», 315; наш декан, 377; нимфетка, 413; дополнительные строки из Попа (возможный намек на К), 417; град усталых звезд (замечательное предвидение), 596; ночная Америка, 609–614; изменение количества ног, 629; пародия на Попа, 895–900; ничтожный век и «социальные романы», 922.

Г, см. «Градус».

Гарх, крестьянская дочь, 149,433; также розовощекий мальчик дурачок, встреченный на сельской дороге к северу от Трота в 1936 г. и только сию минуту отчетливо вспомнившийся автору.

Глиттернтин, Маунт, величественная вершина в хребте Бера (см.), жаль, что больше уж никогда не придется взойти на нее, 149.

Гол, гул, мул, см. «Муж».

Гордон, см. «Круммгольц».

Градус, Иакоб, 1915–1959, иначе Жак Дегре, де-Грей, д'Аргус, Виноградус, Ленинградус и проч., мелкий груздь для всякого кузова и убийца, 12,17; линчующий не того, кого следовало, 81; его приближение, синхронизированное с работой Ш над поэмой, 120,130; его жребий и прежние злоключения, 171; первая стадия его путешествия – из Онгавы в Копенгаген, 181,209; в Париж и тамошняя встреча с Освином Бритвитом, 286; в Женеву и разговор с малышом Гордоном в имении Джо Лавендера близ Лэ, 408; звонок в Управление из Женевы, 468; его фамилия в одном из вариантов и ожидание в Женеве, 596; в Ниццу и ожидание там, 695; его свидание с Изумрудовым в Ницце и открытие адреса короля, 741; из Парижа в Нью-Йорк, 873; в Нью-Йорке, 9491; его утро в Нью-Йорке, полет в Нью-Вай, поездка в кампус, на Далвич-роуд, 9492; коронный промах, 1000.

Гриндельводы, приятный городок в В. Зембле, 71,149.

Грифф, старый крестьянин-горец и земблянский патриот, 149.

Диза, герцогиня Больна, из Великих Больнов и Стоунов; моя прелестная, бледная и печальная королева, полонившая мои сны и полоненная снами обо мне, р.1928; ее альбом и любимые деревья, 49; замужество, 1949 г., 81; ее письма на бесплотной бумаге с водяным знаком, которого я не смог разобрать, ее образ, терзающий меня во сне, 433.

Зембла, см. «Zembla».

Игорь II, годы правления 1800–1845, мудрый и благодетельный государь, сын королевы Яруги (см.) и отец Тургиса III (см.); в самом укромном углу картинной галереи Дворца, куда допускался лишь правящий монарх, но легко проникал через Будуар П пытливый отрок, едва осененный первым пушком, стояли статуи четырехсот излюбленных мальчиков-катамитов Игоря, все из розоватого мрамора, со стеклянными вставными глазами и разного рода подкрашенными подробностями, – впечатляющая экспозиция реалистического искусства и скверного вкуса, впоследствии подаренная К. азиатскому властелину.

К, см. «Карл II» и «Кинбот».

Каликсгавань, красочный порт на западном побережьи несколькими милями северней Блавика (см.), 171; масса приятных воспоминаний.

Карл II, Карл-Ксаверий-Всеслав, последний король Земблы, прозванный Излюбленным, р.1915, годы правления 1936–1958; его герб, 1; его ученые занятия и его царствование, 12; ужасная участь его предшественников, 62; его приверженцы, 70; родители, 71; спальня, 81; бегство из Дворца, 130; и через горы, 149; воспоминания о браке с Дизой, 275; мимолетное пребывание в Париже, 286; и в Швейцарии, 408; прибытие на виллу «Диза», 433; воспоминание о ночи в горах, 597,662; русская кровь в нем и «сокровища короны» (см. непременно), 681; прибытие в США, 692; письмо к Дизе, украденное, 741; и цитируемое, 768; спор о его портрете, 894; его пребывание в библиотеке, 949; едва не раскрытое

инкогнито, 991; Solus Rex, 1000. См. также «Кинбот».

Кинбот, Чарльз, доктор наук, ближайший друг Ш, его литературный советник, редактор и комментатор; первая встреча и дружба с Ш, Предисловие; его интерес к птицам Аппалачия, 1; благожелательно предлагающий Ш воспользоваться его рассказами, 12; его скромность, 34; отсутствие библиотеки в его «тимоновой пещере», 39; его уверенность в том, что он вдохновил Ш, 41; его дом на Далвич-роуд и окна дома Ш, 47; его несогласие с профессором Х. и его коррективы к утверждениям оного, 61,71; его тревоги и бессонница, 62; план, начертанный им для Ш, 71; его чувство юмора, 80,91; его уверенность в том, что термин «радужка» выдуман Ш, 109; он посещает подвал Ш, 143; его уверенность в том, что читатель получит удовольствие от заметок, 149; отрочество и воспоминания о Восточном экспрессе, 162; его просьба к читателю справиться в более позднем примечании, 169; его спокойное предупреждение, обращенное к Г, 171; его замечания о критиках и другие остроумные высказывания, заслужившие одобрение Ш, 172; о его участии в торжествах, происходивших на стороне, о том, как его не пустили на празднование дня рождения Ш и о его лукавой проделке на следующее утро, 181; он выслушивает рассказ о «полтергейсте» Гэзель, 230; несчастный кто? 231; его бесплодные усилия заставить Ш отвлечься от рассуждений касательно натуральной истории и рассказать, как подвигается работа, 238; его воспоминания о набережных Ниццы и Ментоны, 240; его предельная предупредительность в отношении супруги Ш, 247; ограниченность его познаний по части лепидоптеры и траурный сумрак его натуры, отмеченный, словно у темной «ванессы», веселыми вспышками, 270; обнаружив, что миссис Ш намерена увести Ш в Кедры, он решает также отправиться туда, 287; его отношение к лебедям, 319; его сходство с Гэзель, 334, 347; его прогулка с Ш к травянистому участку, на котором стоял когда-то амбар с привидениями, 345; неприятие им легкомысленного отношения Ш к знаменитым современникам, 375; его презрение к профессору Х. (в Указателе отсутствует), 377; его перетруженная память, 384; его встреча с Джейн Прово, он рассматривает чудесные снимки, сделанные на берегу озера, 385; критика на строки 403–474, 403; его тайна, угаданная или не угаданная Ш, он рассказывает Ш о Дизе и реакция Ш, 433–434; его дискуссия с Ш о предрассудках, 469; его дискуссия с самим собой о самоубийстве, 492; он удивляется, осознав, что французское наименование одного печального дерева совпадает с земблянским наименованием другого, 501; неодобрение им некоторых легкомысленных мест Песни третьей, 502; его взгляды на грех и веру, 549; его добросовестность как редактора и духовные терзания, 550; его замечания об одной студентке, а также о числе и характере застолий, разделенных им с Шейдами, 577; его восторг и изумление при зловеще-пророческой встрече слогов в двух соседствующих словах, 596; его афоризм о палаче и жертве, 597; его бревенчатая изба в Кедрах и маленький удильщик, парнишка с медовым загаром, обнаженный, если не считать драных саржевых брюк с одной подвернутой штаниной, часто угощавшийся нугой и орехами, пока не начались уроки или не испортилась погода, 609; его появление у Х-в, 629; его резкая критика на заглавия из «Бури» и проч., таких как «бледное пламя» и проч., 671; его чувство юмора, 680; его воспоминания о прибытии в сельское именье Сильвии О'Доннелл, 692; он одобряет изящное замечание и сомневается касательно авторства оного, 726; его ненависть к людям, которые делают авансы, а после обманывают благородное и наивное сердце, разнося грязные сплетни о своей жертве и донимая ее жестокими розыгрышами, 741; невозможность для него – вследствие некоторого психологического барьера или боязни второго Г – доехать до города, который отстоит от него всего только на шестьдесят-семьдесят миль, и в котором наверняка имеется хорошая библиотека, 747; его письмо от 2 апреля 1959 года к даме, которая оставила оное незапертым среди прочих ее драгоценностей на вилле близ Ниццы, а сама на все лето уехала в Рим, 786; чудная служба поутру, а ввечеру – прогулка с поэтом, наконец-то разговорившимся о своей работе, 784; его соображения о лексических и лингвистических диковинах, 803; у владельца мотеля он заимствует сборник писем Ф.К. Лейна, 810; он проникает в ванную комнату, где его друг сидит в ванне и бреется, 887; он участвует в дискуссии относительно его сходства с королем, происходящей в преподавательской гостиной, окончательный разрыв с Э. (в Указателе отсутствует), 894; вместе с Ш он трясется от хохота над лакомыми кусочками из университетской антологии проф. Ц. (в Указателе отсутствует), 929; его печальный жест усталости и нежного укора, 937; живые воспоминания о молодом лекторе Онгавского университета, 957; его последняя встреча с Ш в зеленой беседке поэта и проч., 991; его воспоминания о встрече с ученым садовником, 998; его безуспешная попытка спасти жизнь Ш и успешное спасение РШ, 1000; он готовится издать ее без помощи двух «экспертов», Предисловие.

Кладовая, «potaynik» (см.).

Кобальтана, некогда модный горный курорт вблизи развалин старинных казарм, ныне – холодное и пустынное место, труднодоступное и ничем не примечательное, но еще памятное в семьях профессиональных военных и в лесных крепостцах; в тексте отсутствует.

Конмаль, герцог Эроза, 1855–1955. Дядя К., старший сводный брат королевы Бленды (см.); возвышенный истолкователь, 12; его версия «Тимона Афинского», 39, 130; его жизнь и труды, 962.

Кронберг, скалистая вершина в снеговой шапке и с комфортабельным отелем, хребет Бера, 70,130,149.

Круммгольц, Гордон, р. 1944, музыкальный кудесник и затейливый баловник, сын знаменитой Эльвины Круммгольц, сестры Джозефа Лавендера, 408.

Кэмпбелл, Уолтер, р. 1890 в Глазго; домашний учитель К в 1922–1931 гг., приятный джентльмен с живым и хитрым на выдумки умом, меткий стрелок и чемпион конькобежного спорта, ныне проживает в Иране, 130.

Лавендер, Джозеф С., см. О'Доннелл, Сильвия.

Лейн, Фрэнклин Найт, см. Lane.

Макаронизм, или Марровский, рудиментарный спунеризм, происходящий от фамилии русского дипломата начала 19 века, графа Комаровского, известного при иностранных дворах тем, что он вечно путался, произнося собственную фамилию – Макаровский, Макаронский, Скоморовский и проч.

Мандевиль, барон Мирадор, кузен Радомира Мандевиля (см.), экспериментатор, психопат и предатель, 171.

Мандевиль, барон Радомир, р. 1925, светский человек и земблянский патриот; в 1936 г. тронный паж К., 130; в 1958 г. переодетый, 149.

Марсель, нервический, неприятный и не всегда правдоподобный центральный персонаж, всеми забалованный, в Прустовых «A la Recherche du Temps Perdu», 181,692.

Муж, см. «Пол».

Мультраберг, см. «Бера».

Ниагарин и Андронников, чета советских «спецов», все еще разыскивающих клады, 130, 681,741; см. «Сокровища короны».

Нитра и Индра, два островка близ Блавика, 149.

Нодо, единокровный брат Одона, р.1916, сын Леопольда О'Доннелла и земблянской исполнительницы мальчиковых ролей, шулер и ничтожный предатель, 171.

Одивалла, приятный город в В. Зембле севернее Онгавы, одно время тут служил городничим достойный Зуле («Тура») Бритвит, двоюродный дед Освина Бритвита (см., см., – как говорил Али-Баба), 149,286.

Одон, псевдоним Дональда О'Доннелла, р.1915, всемирно известного актера и земблянского патриота; узнает от К. о подземном ходе, но вынужден идти в театр, 130; привозит К. из театра к подножию горы Мандевиля, 149; встречает К. невдалеке от приморской пещеры и бежит вместе с ним в моторной лодке, там же; ставит фильму в Париже, 171; останавливается у Лавендера в Лэ, 408; не должен жениться на распущенной толстогубой фильмовой актрисе, 692; см. также О'Доннелл, Сильвия.

О'Доннелл Сильвия, рожденная О'Коннелл, р.1895?1890? много странствующая и многозамужняя мать Одона (см.),149, 692; после брака и развода в 1915 г. с ректором университета Леопольдом О'Доннеллом, отцом Одона, вышла за Петра Гусева, первого герцога Ральского, и украшала Землю вплоть до 1925 г., в котором вышла за восточного принца, встреченного в Шамони; после массы иных

замужеств и более, и менее блестящих, как раз разводилась со Львом Лавендером, двоюродным братом Джозефа, и с той поры в Указателе уже не появлялась.

Окна, Предисловие, 47,62,181.

Олег, герцог Ральский, 1916–1931, сын полковника Гусева, герцога Ральского (р.1884, все еще полон сил); любимый товарищ забав К., погиб при крушении тобоггана, 130.

Онгава, прекрасная столица Земблы, 12, 71, 130, 149, 171, 181, 275, 577, 894, 1000.

Отар, граф, человек гетеросексуальный и светский, земблянский патриот, р.1915; его лысинка, чета его девочек-любовниц, Флер и Фифальда (впоследствии графиня Отар), высокородные дочери графини де Файлер, интересные световые эффекты, 71.

Паберг, см. «Бера, хребет».

Переводы, стихотворные, с английского на земблянский: замечания о Конмалевых версиях Шекспира, Мильтона, Киплинга и проч., 962; с английского на французский из Донна и Марвелла, 677; с немецкого на английский и на земблянский, «Der Erlkönig», 662; с земблянского на английский: «Timon Afinsken», т. е. «из Афин», 39; «Старшая Эдда», 80; «Мирагаль» Арнора, 81.

Покрышкин, см. «Flatman».

Пол, см. «Словесный гольф».

Полюб, приятный город, уездный и епископальный, севернее Онгавы, 149,275.

Религия, соприкосновение с Богом, 47; Папа, 85; свобода разума, 101; проблемы греха и веры, 549; см. «Самоубийство».

Риппльсона пещеры, карстовые пещеры у моря близ Блавика, названные по имени знаменитого стекольного мастера, сумевшего передать переливы крапин, кружков и прочих кольцеобразных отображений, присущих морской зеленовато-синей воде, в изумительных дворцовых витражах, 130,149.

Самоубийство, взгляды К. на него, 492.

Свиристель, птичка рода Bombycilla, 1–4,131,1000; Bombycilla shadei, 71; интересная ассоциация, слишком поздно возникшая.

Словесный гольф, предрасположенность к нему Ш, 819; см. «Гол».

Сокровища короны, 130,681; см. «Кладовая».

Стейнманн, Джулиус, р.1928, теннисный чемпион и земблянский патриот, 171.

Стихотворения Шейда мелкие: «Священное дерево», 49; «Качели», 61; «Горный вид», 92; «Природа электричества», 345; строка из «Апрельского дождика», 469; строка из «Монблана», 782; начальное четверостишие «Искусства», 957.

Сударг Бокаи, гениальный мастер зеркал, святой покровитель Бокаи в горах Земблы, 81; сроки жизни неизвестны.

Тайник, укромное место; см. «Сокровища короны».

Тени, цареубийственная организация, поручившая Градусу (см.) произвести покушение на самоизгнанного короля; ужасное имя ее руководителя не может быть названо даже в Указателе к скромному ученому труду; его дед по матери, весьма известный и совершенно бесстрашный мастер-строитель, был нанят Тургисом Спесивым (около 1885) для производства кое-какого ремонта в жилых покоях последнего и вскоре за тем скончался, при загадочных обстоятельствах отравившись на королевской кухне вместе с тремя подмастерьями, чьи имена — Ян, Йони и Ангелинг — уцелели в былине, которую еще можно услышать в некоторых из наших диких долин.

Тинтаррон, драгоценное темно-синее стекло, выделываемое в Бокаи, — средневековом

селении в горах Земблы, 149; см. также «Сударг».

Тургис Третий, прозванный Спесивым, дед К., ум.1900 семидесяти пяти лет, после долгого и скучного правления; в нелепой ермолке и с одинокой медалью на егерьском сюртуке, любил кататься по парку на велосипеде; толстый и лысый, с носом, похожим на сочную сливу, в военных усах, стоящих дыбом от старомодной страсти, в шелковом зеленом халате и с факелом в воздетой руке он в течение недолгого времени в середине восьмидесятых годов каждую ночь встречал укрытую капюшоном любовницу Ирис Акт (см.) на половине пути из Дворца в театр, в подземном ходе, впоследствии вновь открытом его внуком, 130.

Уран Последний, император Земблы, годы правления 1798–1799; невероятно блестящий, роскошный и жестокий монарх, под чьим свистящим бичом Зембла выгибалась, словно верхушка радуги; был однажды ночью убит группой объединившихся фаворитов его сестры, 681.

Фалькберг, розовый конус, 71; под капором снега, 149.

Флер, графиня де Файлер, элегантная камеристка, 71,81,433.

Ходынский, русский авантюрист, ум.1800; известен также под кличкой Ходына, 681; обосновался в Зембле в 1789–1800 гг.; автор известной пастиши и любовник принцессы (затем королевы) Яруги (см.), матери Игоря II, бабушки Тургиса (см.).

Шалксбор, барон Харфар, известный как «Творожная кожа», р.1921, светский человек и земблянский патриот, 433.

Шейд, Гэзель, дочь Ш, 1934–1957; заслуживает уважения как человек, отдавший предпочтение красоте смерти перед уродством жизни; домовой, 230; «Сарай с привидениями», 345.

Шейд, Джон Фрэнсис, поэт и ученый, 1898–1959; его работа над «Бледным пламенем» и дружба с К, Предисловие; его внешность, манеры, привычки и проч., там же; его первая встреча со смертью, воображаемая К, и зачин поэмы, покамест К играет в шахматы в студенческом клубе, 1; его закатные блуждания с К, 12; его смутное провидение Г, 17; его дом, явленный К в образе освещенных окон, 47; он приступает к поэме, завершает Песнь вторую и около половины третьей и три визита к нему К, приуроченные к этим срокам, там же; его родители Сэмюэль Шейд и Каролина Лукина, 71; влияние К, заметное в варианте, 80; Мод Шейд, сестра отца Ш, 86; Ш показывает К свое заводное memento mori, 143; К об обморочных припадках Ш, 162; Ш начинает Песнь вторую, 167; Ш о критиках, о Шекспире, об образовании и о прочем, 172; К видит, как в день его и Ш рождения к Ш съезжаются гости, и как Ш пишет Песнь вторую, 181; его деликатность или расчетливость, 231; его преувеличенный интерес к местной фауне и флоре, 238, 270; сложности супружества К в сравнении с простотой оного Ш, 275; К привлекает внимание Ш к пастельному мазку, прочертившему закатное небо, 286; его страх, что Ш может уехать, не закончив их общего сочинения, 287; его тщетное ожидание Ш 15 июля, 334; его прогулка с Ш по полям старого Гентцнера и его реконструкция походов дочери Ш в Сарай с привидениями, 345; книга Ш о Попе, 384; его неприязнь к Питеру Прово, 385; его работа над строками 406–416 в одно время с швейцарскими похождениями Г, 408; снова его расчетливость или предусмотрительность, 417; возможность того, что двадцать шесть лет назад он мельком видел виллу «Диза» и крошку герцогиню Больна с ее английской гувернанткой, 433; его явный интерес к сведениям о Дизе и обещание К открыть конечную истину, там же; взгляды Ш на предрассудки, 469; взгляды К на самоубийство, 492; взгляды К и Ш на грех и веру, 549; неразборчивое гостеприимство Ш и его наслаждение вегетарианскими блюдами в моем доме, 577; слухи о его увлечении студенткой, там же; отрицание им слабоумия станционного смотрителя, 629; его сердечный приступ, совпавший по времени с эффектным появлением К в США, 692; упоминание о Ш в письме К к Дизе, 768; его последняя прогулка с Ш и его радость при известии, что Ш работает над «горной» темой — трагическое недоразумение, 784; его игры в гольф с Ш, 819; его готовность навести для Ш справки, 887; Ш защищает Земблянского короля, 894; его и К веселье по поводу вздоров в учебнике, скомпилированном проф. Ц, психиатром и литературным экспертом (!), 929; он начинает последнюю стопку карточек, 949; он объявляет К о завершении своего труда, 991; он погибает от пули, назначенной другому, 1000.

Шейд, Сибил, жена Ш, там и сям.

Эмбла, старинный городок с деревянной церквушкой в окружении мшистых болот на самом печальном, одиноком и северном краю мглистого полуострова, 149,433.

Эмблема, что означает по-земблянски «цветущая»; дивная заводь, иссиня-черные скалы в странных прожилках и роскошные заросли вереска на отлогих склонах, самая южная часть З.Земблы, 433.

Эроз, приятный городок в В. Зембле, столица Конмалева герцогства, одно время там служил городничим достойный Ферц («Ферзь») Бритвит, двоюродный дед Освина Бритвита (см.), 149,286.

Яруга, королева, годы правления 1799–1800, сестра Урана (см.); утонула вместе со своим русским любовником в проруби во время традиционных новогодних гуляний, 681.

Flatman, Thomas, 1637–1688, английский поэт, ученый филолог и миниатьюрист, не известный, равно как и русский его однофамилец, старому прохиндею, 894.

Lane, Franklin Knight, американский юрист и государственный деятель, 1864–1921, автор замечательного отрывка, 810.

Potaynik, тайник (см.).

Zembla, страна далеко на севере.

Москва – 1988

Комментарии
1
Строки 1–4 Я тень, я свиристель, убитый влет и т. д.

Образ, содержащийся в этих начальных строках, относится, очевидно, к птице, на полном лету разбившейся о внешнюю плоскость оконного стекла, где отраженное небо с его чуть более темным тоном и чуть более медлительными облаками представляет иллюзию продления пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве – физически непривлекательного, но во всех прочих отношениях прекрасно развитого парнишку – переживающим свое первое эсхатологическое потрясение, когда он неверящей рукой поднимает с травы тугое овальное тельце и глядит на сургучно-красные прожилки, украшающие серо-бурые крылья, и на изящное рулевое перо с вершинкой желтой и яркой, словно свежая краска. Когда в последний год жизни Шейда мне выпало счастье соседствовать с ним в идиллических всхолмиях Нью-Вая (смотри Предисловие), я часто видел именно этих птиц, целой оравой пирующих среди меловато-сизых ягод можжевеловки, выросшей об угол с его домом (смотри также строки 181–182).

Мои сведения о садовом Aves ограничивались представителями северной Европы, однако молодой нью-вайский садовник, в котором я принимал участие (смотри примечание к строке 998), помог мне отождествить немалое число силуэтов и комических арий маленьких, с виду совсем тропических чужестранцев и, натурально, макушка каждого дерева пролагала пунктиром путь к труду по орнитологии на моем столе, к которому я кидался с лужайки в номенклатурной ажитации. Как тяжело я трудился, приделывая имя «зорянка» к самозванцу из предместий, к вульгарной пичуге в помятом тускло-красном кафтане, с отвратным пылом поглощавшей длинных, печальных, послушных червей!

Кстати, любопытно отметить, что хохлистая птичка, называемая по-земблянски sampel («шелковый хвостик») и очень похожая на свиристель и очерком, и окрасом, явилась моделью для одной из трех геральдических тварей (двумя другими были, соответственно, олень северный, цвета натурального, и водяной лазурный, волосистый тож) в гербе земблянского короля Карла Излюбленного (р.1915), о славных горестях которого я так часто беседовал с моим другом.

Поэма началась в точке мертвого равновесия года, в первые послеполуночные минуты 1 июля, я в это время играл в шахматы с юным иранцем, завербованным в наши летние классы, и я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы одолевающее аннотатора искушение – связать с этой датой некоторое роковое событие – отбытие из Земблы

будущего цареубийцы, человека именем Градус. На самом деле, Градус вылетел из Онгавы на Копенгаген 5 июля.

2
Строка 12 в хрустальнейшей стране

Возможно, аллюзия на Землю, мою милую родину. За этим в разрозненном, наполовину стертом черновике следуют строки, в точности прочтения которых я не вполне уверен:

Ах, не забыть бы рассказать о том,
Что мне поведал друг о короле одном.
Увы, он рассказал бы гораздо больше, когда бы домашняя антикарлистка не цензурировала всякую сообщаемую ей строку! Множество раз я шутливо корил его: «Ну, пообещайте же мне, что используете весь этот великолепный материал, гадкий вы, сивый поэт!». И мы хихикали с ним, как мальчишки. Ну а затем, после вдохновительной вечерней прогулки ему приходилось возвращаться, и угрюмая ночь разводила мосты между его неприступной твердыней и моим скромным жилищем.

Правление этого короля (1936–1958) сохранится в памяти хотя бы немногих проницательных историков как правление мирное и элегантное. Благодаря гибкой системе обдуманных альянсов, ни разу за этот срок Марс не запятнал своего послужного списка. Народный Дом (парламент), предоставленный себе самому, работал, пока в него не прокрались коррупция, измена и экстремизм, в совершенной гармонии с Королевским Советом. Гармония воистину была девизом правления. Изящные искусства и отвлеченные науки процветали. Техникология, прикладная физика, индустриальная химия и прочее в этом роде претерпевали расцвет. Упорно подрастал в Онгаве небольшой небоскреб из ультрамаринового стекла. Казалось, улучшается даже климат. Налогообложение обратилось в произведение искусства. Бедные слегка богатели, а богатые потихоньку беднели (в согласии с тем, что, может быть, станет когда-то известным в качестве «закона Кинбота»). Уход за здоровьем распространился до крайних пределов государства: все реже и реже во время его турне по стране, – каждую осень, когда обвисали под грузом коралловых гроздьев рябины, и рябило вдоль луж мусковитом, – доброжелательного и речистого короля прерывали коклюшные «выхлопы» в толпе школяров. Стал популярен парашютизм. Словом, удовлетворены были все, даже политические смутьяны – эти с удовлетворением смутьянничали на деньги, которые платил им удовлетворенный Shaber (гигантский земблянский сосед). Но не будем вдаваться в этот скучный предмет.

Вернемся к королю: возьмем хотя бы вопрос личной культуры. Часто ли короли углубляются в какие-либо специальные исследования? Конхиологов между ними можно счесть по пальцам одной увечной руки. Последний же король Земблы – частью под влиянием дяди его, Конмаля, великого переводчика Шекспира (смотри примечания к строкам 39–40 и 962) – обнаружил, и это при частых мигренях, страстную склонность к изучению литературы. В сорок лет, незадолго до падения его трона, он приобрел такую ученость, что решился внять сиплой предсмертной просьбе маститого дяди: «Учи, Карлик!». Конечно, монарху не подобало в ученой мантилье являться в университете и с лекторского налоя преподносить цветущей юности «Finnigan's Wake» в качестве кошмарного продолжения «несвязных трансакций» Ангуса Мак-Диармида и «линго-гранде» Саути («Дорогое шлюхозадое» и т. п.) или обсуждать собранные в 1798 году Ходынским земблянские варианты «Kongs-skugg-sio» («Зерцало короля») – анонимного шедевра двенадцатого столетия. Поэтому лекции он читал под присвоенным именем, в густом гриме, в парике и с накладной бородой. Все буро-бородые, яблоко-ликие, лазурно-глазастые зембляне выглядывают на одно лицо, и я, не бривший вот уже год, весьма схож с моим преображенным монархом (смотри также примечание к строке 894).

В эту пору учительства Карл-Ксаверий взял за обычай, как сделал бы и всякий иной из его ученых сограждан, ночевать в pied-a-terre, снятой им на Кориолановой Канаве, – очаровательная была гарсоньерка: с центральным отоплением и совмещенными ванной и кухонькой. С ностальгическим наслаждением вспоминаешь ее блекло-серый ковер и жемчужно-серые стены (одну из которых украшала одинокая копия «Chandelier, pot et casserole émaillée» Пикассо), полочку с замшевыми поэтами и девическую кушетку под пледом из поддельной гималайской панды. Сколь далеки представлялись от этой ясной простоты Дворец и омерзительная Палата Совета с ее неразрешимыми затруднениями и запуганными советниками!

3
Строка 17: Ночь обнесет двойной оградой;

строка 29: грязь

По необычайному совпадению, врожденному, быть может, контрапунктическому художеству Шейда, поэт наш, кажется, называет здесь человека, с которым ему привелось на одно роковое мгновение свидеться три недели спустя, но о существовании которого он в это время (2 июля) знать не мог. Сам Иакоб Градус называл себя розно – Джеком Дегре или Жаком де Грие, а то еще Джеймсом де Грей, – он появляется также в полицейских досье как Равус (от латинского ravus – темно-серый), Равенстоун («стон вороны», англ.) и д'Аргус. Питая нездоровую страсть к ражей и рыжей России советской поры, он уверял, что истинные корни его фамилии должно искать в русском слове «виноград», из коего добавленьем латинского суффикса ферментировался «Виноградус». Отец его, Мартын Градус, был протестанским пастырем в Риге, но, не считая его, да еще дяди по матери (Романа Целовальникова – полицейского пристава и по совместительству члена партии социал-революционеров), весь клан, похоже, занимался виноторговлей. Мартын Градус помер в 1920 году, а его вдова переехала в Страсбург, где также вскоре скончалась. Еще один Градус, купец из Эльзаса, который, как это ни странно, вовсе не приходился кровником нашему убивцу, но многие годы состоял в близком партнерстве с его родней, усыновил мальчишку и вырастил его со своими детьми. Одно время юный Градус вроде бы изучал фармакологию в Цюрихе, другое – странствовал по мглистым виноградникам разъездным дегустатором вин. Затем мы находим его погруженным в различные подрывные делишки, – он печатает сварливые брошюрки, служит связным в невнятных синдикалистских группках, организует стачки на стекольных заводах и прочее в этом же роде. Где-то в сороковых он приезжает в Землю торговать коньяком. Женится здесь на дочке хозяина забегаловки. Связи его с партией экстремистов восходят еще ко времени первых ее корявых корчей, и когда рявкнула революция, скромный организаторский дар Градуса снискал ему кое-какое признание в учреждениях разного рода. Его отъезд в Западную Европу с пакостной целью в душе и с заряженным пистолетом в кармане произошел в тот самый день, когда безобидный поэт в безобидной стране начал Песнь вторую «Бледного пламени». Мысленно мы будем неотлучно сопровождать Градуса в его пути из далекой туманной Земли в зеленое Аппалачие на всем протяженьи поэмы, – идущим тропой ее тропов, проскакивающим на рифме верхом, удирающим за угол в переносе, дышащим в цезуре, машисто, будто с ветки на ветку спадающим со строки на строку, затаившимся между словами (смотри примечание к строке 596) и снова выскакивающим на горизонте новой Песни, – упорно близясь ямбической поступью, пересекая улицы, взъезжая с чемоданом в руке по эскалатору пятистопника, соступая с него, заворачивая в новый ход мысли, входя в вестибюль отеля, гася лампу, покамест Шейд вычеркивает слово, и засыпая, едва поэт отложит на ночь перо.

4
Строка 27: Не Хольмса ль…

Горбоносый, долговязый, довольно симпатичный частный сыщик, главный герой многочисленных рассказов Конэна Дойла. Я сейчас не имею возможности выяснить, на который из них ссылается Шейд, но подозреваю, что поэт попросту выдумал «Дело о попятных следах».

5
Строки 34–35: Капели стылые стилеты

Как настойчиво возвращается поэт к образам зимы в зачине поэмы, начатой им благоуханной летней ночью! Понять механику ассоциации несложно (стекло ведет к кристаллу, кристалл – ко льду), но скрытый за нею суфлер остается неразличимым. Скромность не позволяет мне предположить, что зимний день, в который впервые встретились поэт и его будущий комментатор, как бы предъявляет здесь права на действительное время года. В прелестной строке, открывающей настоящее примечание, читателю следует приглядеться к первому слову. Мой словарь определяет его так: «Капель (капельница, капелла) – череда капель, спадающих со стрехи, – стрехопадение». Помнится, впервые я встретил его в стихотворении Томаса Гарди. Прозрачный мороз увековечил прозрачное пенье капеллы. Стоит

отметить также промельк темы «плаща и кинжала» в «стылых стилетах» и тень цареубийцы в рифме.

6
Строки 39–40: Прикрыть глаза и т. д.

В черновиках эти строки представлены вариантом:

39…….. и словно вор, сюда
40 Луна тащит листву и солнце – брызги льда.
Нельзя не вспомнить то место из «Тимона Афинского» (акт IV, сцена 3), где мизантроп беседует с троицей грабителей. Не имея библиотеки в этой заброшенной бревенчатой хижине, где я живу, словно Тимон в пещере, я принужден цитирования ради перевести это место прозой по земблянской поэтической версии, которая, надеюсь, довольно близка к исходному тексту или хотя бы верно передает его дух:

Солнце – вор: оно приманивает море
И грабит его. Месяц – вор
Свой серебристый свет она стянула у солнца,
Море – вор: оно переплавляет месяц.
Достойную оценку выполненных Конмалем переводов шекспировых творений смотри в примечании к строке 962.

7
Строка 41: мог я видеть

К концу мая я мог видеть очертания некоторых моих образов в той форме, которую способен был придать им его гений, к середине июня я ощутил, наконец, уверенность, что он воссоздаст в поэме ослепительную Землю, сжигающую мой мозг. Я околдовал ею поэта, я опоил его моими видениями, с буйной щедростью пропойцы я обрушил на него все, что сам не в силах был превесть на язык поэзии. Право, нелегко будет сыскать в истории литературы схожий случай, – когда двое людей, розных происхождением, воспитанием, ассоциативным складом, интонацией духа и тональностью ума, из коих один – космополит-ученый, а другой – поэт-домосед, вступают в тайный союз подобного рода. Наконец я уверился, что он переполнен моей Земблой, что рифмы распирают его и готовы прыснуть по первому мановенью ресницы. При всякой возможности я понукал его отбросить привычку лености и взяться за перо. Мой карманный дневничок пестрит такими, к примеру, заметками: «Присоветовал героический размер», «вновь рассказывал о побеге», «предложил воспользоваться покойной комнатой в моем доме», «говорили о том, чтобы записать для него мой голос» и вот, датированное 3 июля: «поэма начата!».

И хоть я слишком ясно, увы, сознаю, что результат в его конечном, прозрачном и призрачном фазисе нельзя рассматривать как прямое эхо моих рассказов (из которых, между прочим, в комментарии – и преимущественно к Песни первой – приводится лишь несколько отрывков), вряд ли можно усомниться и в том, что закатная роскошь этих бесед, словно каталитический агент повлияла на самый процесс сдержанной творческой фрагментации, позволившей Шейду в три недели создать поэму в 1000 строк. Сверх того, и в красках поэмы присутствует симптоматическое семейственное сходство с моими повестями. Перечитывая, не без приятности, мои комментарии и его строки, я не раз поймал себя на том, что перенимаю у этого пламенного светила – у моего поэта – как бы опалесцирующее свечение, подражая слогу его критических опытов. Впрочем, пускай и вдова его, и коллеги забудут о заботах и насладятся плодами всех тех советов, что давали они моему благодушному другу. О да, окончательный текст поэмы целиком принадлежит ему.

Если мы отбросим, а я думаю, что нам следует сделать это, три мимолетных ссылки на царствующих особ (605, 822 и 894) вместе с «Земблой» Попа, встречаемой в строке 937, мы будем вправе заключить, что из окончательного текста «Бледного пламени» безжалостно и преднамеренно вынуты любые следы привнесенного мной материала, но мы заметим и то, что несмотря на надзор над поэтом, учиненный домашней цензурой и Бог его знает кем еще, он дал королю-изгнаннику прибежище под сводами сохраненных им вариантов, ибо наметки не менее, чем тринадцати стихов, превосходнейших певучих стихов (приведенных мной в примечаниях к строкам 70, 80 и 130, – все в Песни первой, над которой он, по-видимому, работал,

пользуясь большей, чем в дальнейшем, свободой творчества), несут особенный отпечаток моей темы, — малый, но неложный ореол, звездный блик моих рассказов о Зембле и несчастном ее государе.

8
Строки 47–48: каркасный дом с потертой лужайкой меж Вордсмитом и Гольдсвортом

Первое имя относится, конечно, к Вордсмитскому университету. Второе же обозначает дом на Далвич-роуд, снятый мною у Хьюго Уоренна Гольдсмита, авторитета в области римского права и знаменитого судьи. Я не имел удовольствия встретиться с моим домохозяином, но почерк его мне пришлось освоить не хуже, чем почерк Шейда. Внушая нам мысль о срединном расположении между двумя этими местами, поэт наш заботится не о пространственной точности, но об остроумном обмене слогов, заставляющем вспомнить двух мастеров героического куплета, между которыми он поселил свою музу. В действительности «каркасный дом с потертой лужайкой» на пять миль отстоял от Вордсмитского университета и лишь на полсотни ярдов или около того от моих восточных окон.

В Предисловии к этому труду я имел уже случай сообщить нечто об удобствах моего жилища. Очаровательная и очаровательно неточная дама (смотри примечание к строке 692), которая раздобыла его для меня, заглазно, имела вне всяких сомнений лучшие из побуждений, не забудем к тому же, что вся округа почитала этот дом за его «старосветские изящество и просторность». На деле то был старый, убогий, черно-белый, до половины высоты обшитый досками домина, у нас такие зовутся wodnaggen, — с резными фронтонами, стрельчатыми продувными окошками и так называемым «полупочтенным» балконом, венчающим уродливую веранду. Судья Гольдсворт обладал женой и четырьмя дочерьми. Семейные фотографии встретили меня в передней и проводили по всему дому из комнаты в комнату, и хоть я уверен, что Альфина (9), Бетти (10), Виргини (11) и Гинвер (12) скоро уже превратятся из егозливых школьниц в элегантных девиц и заботливых матерей, должен признаться, что эти их кукольные личики раздражили меня до такой крайности, что я, в конце концов, одну за одной поснимал их со стенок и захоронил в клозете, под шеренгой их же повешенных до зимы одежек в целлофановых саванах. В кабинете я нашел большой портрет родителей, на котором они обменялись полами: м-с Г. смахивала на Маленкова, а м-р Г. — на старую ведьму с шевелюрой Медузы, — я заменил и его: репродукцией моего любимца, раннего Пикассо, — земной мальчик, ведущий коня, как грозовую тучу. Я, впрочем, не стал утруждать себя возней с семейными книгами, также рассеянными по всему дому, — четыре комплекта разновозрастных «Детских энциклопедий» и солидный переросток, лезущий с полки на полку вдоль лестничных маршей, чтобы прорваться аппендиксом на чердаке. Судя по книжкам из будуара миссис Гольдсворт, ее умственные запросы достигли полного, так сказать, созревания, проделав путь от Аборта до Ясперса. Глава этого азбучного семейства также держал библиотеку, однако она состояла по преимуществу из правоведческих трудов и множества пухлых гроссбухов, с буквицами по корешкам. Все, что мог отыскать здесь профан для поучения и потехи, вместилось в сафьянный альбом, куда судья любовно вклеивал жизнеописания и портреты тех, кого он посадил за решетку или на электрический стул: незабываемые лица слабоумных громил, последние затяжки и последние ухмылки, вполне обыкновенные с виду руки душителя, домодельная вдовушка, тесно посаженные немилосердные зенки убийцы-маниака (чем-то похожего, допускаю, на покойника Жака д'Аргуса), бойкий отцеубийца годочков семи («А ну-ка, сынок, расскажи-ка ты нам») и грустный, грузный старик-педераст, взорвавший зарвавшегося шантажиста. Отчасти подивило меня то, что именно мой ученый владетель, а не его «миссус», правил домашним хозяйством. Не только оставил он для меня подробнейшую опись домашней утвари, обступившей нового поселенца подобно толпе недружелюбных туземцев, он потратил еще великие труды, выписав на листочки рекомендации, пояснения, предписания и дополнительные реестры. Все, к чему я касался в первый свой день, предъявляло мне образцы гольдсвортианы. Я отворял лекарственный шкафчик во второй ванной комнате и оттуда выпархивала депеша, указующая, что кармашек для использованных бритвенных лезвий слишком забит, чтобы пользоваться им и впредь. Я распахивал ледник, и он сурово уведомлял меня, что в него не положено класть «каких бы то ни было национальных кушаний, обладающих трудно устранимым запахом». Я вытягивал средний ящик стола в кабинете — и находил там catalogue raisonné его скудного содержимого, каковое включало комплект пепельниц, дамасский нож для бумаг (описанный как «старинный кинжал, привезенный с Востока отцом миссис Гольдсворт») и старый, но неистраченный карманный дневник, с надеждой дозревающий здесь времен, когда проделает полный круг и вернется к нему

согласный на все календарь. Среди множества подробнейших извещений, прикрепленных к особой доске в кладовке, – поучений по слесарно-водопроводному делу, диссертаций об электричестве и трактатов о кактусах, – я нашел диету для черной кошки, доставшейся мне в виде приложения к дому:

Пон, Ср, Пятн: Печенка

Вт, Четв, Субб: Рыба

Воскр: Рубленное мясо

(Все, что она от меня получила, – это молоко и сардинки. Приятная была зверушка, но скоро ее маята стала действовать мне на нервы, и я сдал ее в аренду миссис Финлей, поломойке.) Но самое, быть может, уморительное уведомление касалось обхождения с оконными шторами, которые мне надлежало задергивать и раздирать различными способами в различное время суток, дабы не дать солнцу добраться до мебели. Для нескольких окон описывалось расположенье светила, подневное и посезонное, и если бы я и впрямь все это проделывал, быть бы мне заняту не меньше участника регаты. Имелась, правда, оговорка со щедрым предположением, что, может быть, я – чем орудовать шторами – предпочту таскать и перетаскивать из солнечных пределов наиболее драгоценные предметы (как то: два вышитых кресла и тяжеленную «королевскую консоль»), но совершать это следовало осторожно, дабы не поцарапать стенные багетки. Я не могу, к сожалению, воссоздать точной схемы перестановок, но припоминаю, что мне надлежало производить длинную рокировку перед сном и короткую сразу же после. Милый мой Шейд ревел от смеха, когда я пригласил его на ознакомительную прогулку и позволил самому отыскать несколько захоронок. Слава Богу, его здоровое веселье разрядило атмосферу damnum infectum, в которой я вынужден был обретаться. Он, со своей стороны, попотчевал меня многими анекдотами касательно суховатого юмора судьи и повадок, присущих ему в заседательной зале, в большинстве то были, конечно, фольклорные преувеличения, кое-что – явные выдумки, впрочем, все вполне безобидные. Шейд не стал смаковать смехотворных историй, – добрый старый мой друг не был до них охоч, – о страшных тенях, которые отбрасывала на преступный мир мантия судьи Гольдсворта, о том, как иной злодей, сидя в темнице, буквально издыхает от raghdirst (жажды мести), всех этих глумливых пошлостей, разносимых бездушными, скабрезными людьми, для которых попросту не существует романтики, дальних стран, опушенных котиком алых небес, сумрачных дюн сказочного королевства. Но будет об этом. Я не желаю мять и корежить недвусмысленный apparatus criticus, придавая ему кошмарное сходство с романом.

Ныне для меня невозможным было бы описание жилища Шейда на языке зодчества – да, собственно, на любом другом, кроме языка щелок, просветов, удач, окаймленных оконной рамой. Как упоминалось уже (смотри Предисловие), явилось лето и привело за собой оптические затруднения: притязательница-листва не всегда разделяла со мною взгляды, она затмила зеленый монокль непроницаемой пеленой, превратясь из ограды в преграду. Тем временем (3 июля, согласно моему дневнику), я вызнал – от Сибил, не от Джона, – что друг мой начал большую поэму. Пару дней не видев его, я ухватился за случай и занес ему кое-какую третьеразрядную почту – из придорожного почтового ящика, стоявшего рядом с гольдсвортовым (которым я напрочь пренебрег, оставив его забиваться брошюрками, местной рекламой, торговыми каталогами и прочим сором этого сорта), – и наткнулся на Сибил, до поры скрытую кустами от моего соколиного ока. В соломенной шляпке и в садовых перчатках она сидела на корточках перед грядкой цветов, что-то там подрезая или выдергивая, и ее тесные коричневые брюки напомнили мне «мандолиновые лосины» (как я шутливо прозвал их), какие нашивала когда-то моя жена. Она сказала, что не стоит забивать ему голову этой рекламной дребеденью, и добавила к сведению, что он «начал настоящую большую поэму». Кровь бросилась мне в лицо, я что-то промямлил о том, что он пока ничего мне из нее не показывал, она же распрямилась, отбросила со лба черные с проседью пряди, с удивлением на меня поглядела и сказала: «Что значит ничего не показывал? Он ничего незаконченного никогда никому не показывает. Никогда, никогда. Он с вами даже разговаривать о ней не станет, пока не кончит совсем». Вот в это я поверить не мог, но вскоре уяснил из бесед с моим ставшим вдруг странно сдержанным другом, что благоверная изрядно вымуштровала его. Когда я пробовал расшевелить его добродушными колкостями вроде того, что «людям, живущим в стеклянных домах, не стоит писать поэм», он только зевал, встряхивал головой и отвечал, что «иностранцам лучше держаться подальше от старых пословиц». Тем не менее, стремление вызнать, что делает он со всем живым, чарующим, трепетным и мерцающим материалом, который я

перед ним развернул, жгучая жажда видеть его за работой (пусть даже плоды этой работы запретны для меня), оказались слишком мучительны и неутолимы и толкнули меня к разнузданному шпионству, которого никакие стыдливые соображения сдержать уже не могли.

Хорошо известно, как на протяжении многих веков облегчали окна жизнь первым лицам литературы. Впрочем, теперешний соглядатай ни разу не смог сравниться в удачливости подслушивания ни с «Героем нашего времени», ни с вездесущим — «Утраченного». Все же порой выпадали и мне мгновения счастливой охоты. Когда мое стрельчатое окно перестало служить мне из-за буйного разрастания ильма, я отыскал на краю веранды обвитый плющом уголок, откуда отлично был виден фронтон поэтова дома. Пожелай я увидеть южную его сторону, мне довольно было пройти на зады моего гаража и по-над изгибом бегущей с холма дороги смотреть, притаясь за стволом тюльпанного дерева, на несколько самоцветно-ярких окон, ибо он никогда штор не задергивал (она — это да). Когда же меня влекла противная сторона, все, что требовалось проделать, — это взойти по холму к верхнему саду, где мой телохранитель, черный верес, следил за звездами и знаменьями, и за заплатами бледного света под одиноким фонарным столбом, там, внизу, на дороге. Первый порыв весны как бы выкурил призраков, и я одолел весьма своеобразные и очень личные страхи, о которых сказано в ином месте (смотри примечание к строке 62), и не без удовольствия проходил в темноте травянистым и каменистым отрогом моих владений, заканчивающимся в рощице псевдоакаций, чуть выше северной стороны дома поэта.

Однажды, три десятилетия тому, в нежном, в ужасном моем отрочестве, мне довелось увидать человека в минуту его соприкосновения с Богом. В перерыве между репетициями гимнов я забрел в так называемый Розовый Дворик, что помещается позади Герцоговой Капеллы в моей родной Онгаве. Пока я томился там, поочередно прикладывая голые икры к гладкой прохладе колонны, я слышал далекие сладкие голоса, мешавшиеся с приглушенным весельем мальчишек, которое помешала мне разделить случайная неурядица, ревнивая ссора с одним пареньком. Звук торопливых шагов заставил меня оторвать унылый взор от нарезной мозаики дворика — от реалистических розовых лепестков, вырезанных из родштейна, и крупных, почти осязаемых терний из зеленоватого мрамора. Сюда, в эти розы и тернии, вступила черная тень: высокий, бледный, длинноносый и темноволосый молодой послушник, раз или два уже виденный мною окрест, размашистым шагом вышел из ризницы и, не заметив меня, стал посреди двора. Виноватое омерзение кривило его тонкие губы. Он был в очках. Сжатые кулаки, казалось, стискивали тюремные прутья. Но благодать, которую в состоянии восприять человек, безмерна. Внезапно весь его облик исполнился восторга и благоговения. Я никогда до того не видывал подобного всплеска блаженства, но я различал нечто от этого блеска, от этой духовной силы и дивного видения теперь, в чужой стране, отраженным на суровом, невзрачном лице Джона Шейда. Как же я радовался, когда бдения, коим я предавался во всю весну, уготовили мне возможность увидеть его колдовские труды посреди волшебного сна летней ночи! Я досконально узнал, где и когда смогу я сыскать лучшую точку для наблюдений за очерками его вдохновения. Издалека находил его мой бинокль, фокусируясь на разных его рабочих местах: ночью, в синеватом сиянии верхнего кабинета, где зеркало любезно отражало мне согбенные плечи и карандаш, которым он копал в ухе (порою обозревая кончик и даже пробуя его на язык), поутру, — затаившимся в рябом полумраке кабинета на втором этаже, где яркий графинчик с вином тихо плыл от картотечного ящика к конторке и с конторки на книжную полку, чтобы укрыться там при нужде за Дантовым бюстом, жарким днем — среди роз схожей с беседкой веранды, сквозь гирлянды которой я различал клочок клеенки, локоть на ней и по-херувимски пухлый кулак, подпиравший и морщивший висок. Случайности перспективы и освещения, назойливость листвы или архитектурных деталей обычно не позволяли мне явственно видеть его лицо и, может статься, природа устроила так, чтобы укрыть таинство зачатия от возможного хищника, но временами, когда поэт вышагивал взад-вперед по своей лужайке или усаживался походя на скамейку окрай нее, или медлил под своим любимцем гикори, я различал выражение страстного интереса, с которым он следил за образами, облекавшимися в его сознании в слова, и я знал, — что бы ни говорил мой агностический друг в отрицание этого, — в такие минуты Господь Наш был с ним.

В иные ночи, когда задолго до обычного времени, в какое отходили ко сну обитатели дома, он оставался темным с трех сторон, обозримых из трех моих наблюдательных пунктов, и сама эта тьма говорила мне, что они дома. Их машина стояла у гаража, но я не верил, чтобы они ушли пешком, потому как тогда был бы оставлен свет над крыльцом. Последующие размышления и дедуктивные выкладки

убедили меня, что ночь великой нужды, в которую я решился проверить в чем дело, пришлась на 11 июля – на дату завершения Шейдом Песни второй. Стояла душная, темная, бурная ночь. Через кусты я крался к тылам их дома. Вначале мне показалось, что эта, четвертая, сторона также темна, – значит можно поворотить назад, испытав на время странное облегчение, – но тут я приметил блеклый квадратик света под окном маленькой тыльной гостиной, в которой я никогда не бывал. Окно было распахнуто. Торшер с как бы пергаментным абажуром освещал пол комнаты, и в ней я увидел Сибил и Джона, – ее сидящей бочком, спиной ко мне на краешке кушетки, а его – на подушке рядом с кушеткой, с которой он сгребал в колоду раскиданные после пасьянса карты. Сибил то зябко подрагивала, то сморкалась, у Джона было мокрое в пятнах лицо. Еще не зная тогда, какого рода писчей бумагой пользуется мой друг, я невольно подивился, с чего бы это исход карточной забавы вызвал такие слезы. Пытаясь получше все рассмотреть, я навалился коленями на гадкую оградку из податливых пластмассовых ящиков и своротил гулкую крышку с мусорного бачка. Это, конечно, можно было ошибкой принять за работу ветра, но Сибил ненавидела ветер. Она сразу вспрыгнула со своего насеста и опустила скрипучую штору.

Назад, в мой безрадостный домицилий я плелся с тяжелой душой и озадаченным разумом. Тяжесть где была, там и осталась, задачка же разрешилась несколько дней спустя, – было это, скорее всего, в день св. Светиня, ибо я нахожу под этой датой в моем дневничке предвосхищающее: «promnad vespert mid J.S.», перечеркнутое с надсадой, надломившей грифель посередине строки. Ждав-прождав, когда же дружок мой выйдет ко мне на лужок, покамест багрец заката не покрылся сумрачным пеплом, я дошел до их передних дверей, поколебался, оценил мрак и безмолвие и пошел кругом дома. На сей раз и проблеска не исходило из тыльной гостиной, но в прозаическом, ярком кухонном свете я различил белеющий край стола и Сибил, сидящую за ним с выражением такого блаженства, что можно было подумать, будто она сию минуту сочинила новый рецепт. Дверь стояла приоткрытой, и я, толкнув ее, начал было какую-то веселую и грациозную фразу, да понял вдруг, что Шейд, сидящий на другом конце стола, читает нечто, и понял, что это – часть его поэмы. Непечатное проклятье сорвалось с его губ, он шлепнул о стол колодой справочных карточек, бывшей в руке его. Оба с испугом на меня воззрились. Позже он объяснил эту вспышку тем, что принял – по вине читальных очков – долгожданного друга за наглеца-торговца, но должен сказать, что я был шокирован, крайне шокирован, что и позволило мне уже тогда прочесть отвратительный смысл всего, что за этим последовало. «Что же, садитесь, – сказала Сибил, – и выпейте кофе» (великодушие победительницы). Я принял предложение, желая знать, продолжится ли чтение в моем присутствии. Чтение продолжено не было. «Я полагал, – произнес я, обращаясь к другу, – что вы выйдете прогуляться со мной.» Он извинился тем, что ему как-то не по себе, и продолжал вычищать чашечку трубки с такою свирепостью, словно это сердце мое выковыривал он оттуда.

Я не только открыл тогда, что Шейд неуклонно зачитывал Сибил накопившиеся части поэмы, теперь меня вдруг озарило, что с тою же неуклонностью она заставляла его приглушать, а то и вовсе вымарывать в беловике все, связанное с величественной темой Земблы, о которой я продолжал толковать ему, веруя в простоте, – поскольку мало что знал о его разрастающемся творении, – что она-то и станет основой, самой яркой из нитей этого полотна.

Выше на том же холме стоял, да думаю стоит и поныне старый дощатый дом доктора Саттона, а на самой верхушке, – откуда и вечность ее не свернет, – ультрамодерная вилла профессора Ц., с террасы которой различалось на юге самое крупное и печальное из троицы соединенных озер, называемых Омега, Озеро и Зеро (индейские имена, искалеченные первыми поселенцами, склонными к показной этимологии и пошлым каламбурам). К северу от холма Далвич-роуд впадала в шоссе, ведущее к университету Вордсмита, которому я уделю здесь лишь несколько слов, – отчасти потому, что читатель и сам может получить какие угодно буклеты с его описаниями, стоит только снестись по почте с информационным бюро университета, главным же образом потому, что укоротив эту справку о Вордсмите сравнительно с замечаниями о домах Гольдсворта и Шейда, я хочу подчеркнуть то обстоятельство, что колледж отстоит от них значительно дальше, чем сами они один от другого. Здесь – и вероятно впервые – тупая боль расстояния смягчается усилием стиля, а топографическая идея находит словесное выявление в следовании создающих перспективу предложений.

Почти четыре мили проюлив в общевосточном направлении сквозь прелестно увлажненные и промытые жилые кварталы с разновысокими лужками, опадающими по обе

стороны от него, шоссе ветвится, и один побег уклоняется влево, к Нью-Ваю с его заждавшимся летным полем, другой же тянется к кампусу. Здесь — огромные обители безумия, безупречно спланированные общежития, бедламы джунглевой музыки, грандиозный дворец Ректората, — крипичные стены, арки, четырехугольники бархатной зелени в халцедоновом блеске; вон Спенсер-хауз и кувшинки в его пруду; а там Капелла, Новый Лекториум, Библиотека и тюремного вида строение, вместившее наши классы и кабинеты (и ныне зовущееся Шейд-холлом); и знаменитая аллея деревьев, все упомянуты Шекспиром; звенит, звенит что-то вдали, клубится; вон и бирюзовый купол Обсерватории виднеет и блеклые пряди и перья тучек, и обсталые тополями римские ярусы футбольного поля, пусто здесь летом, разве юноша с мечтательны взором гоняет на длинной струне по звенящему кругу моторную модель самолета.

Господи Иисусе, сделай же что-нибудь.

9
Строка 49: пекан

Гикори. Поэт наш разделял с английскими мастерами благородное уменье: пересадить дерево в стихи целиком, сохранив живящие соки и прохладительную сень. Многие годы назад Диза, королева нашего короля, более всех деревьев любившая джакаранду и адиантум, выписала себе в альбом из сборника «Кубок Гебы», принадлежащего перу Джона Шейда, четверостишие, которое я не могу здесь не привести (из письма, полученного мною 6 апреля 1959 года с юга Франции):

Священное дерево
Лист гинкго опадает, золотой,
На кисть муската
Старинной бабочкой, неправою рукой
Распятой.
Когда в Нью-Вае строили новую Епископальную церковь (смотри примечание к строке 549), бульдозеры пощадили череду этих священных дерев, высаженных в кампусе в конце так называемой Шекспировой аллеи гениальным ландшафтным архитектором (Репбургом). Не знаю, существенно это или нет, но во второй строке наличествует игра в кошки-мышки, а «дерево» по-земблянски — «grados».

10
Строка 57: Качелей дочкиных колышется фантом

В черновике Шейд легонько перечеркнул следующие за этим строки:

Длинна у лампы шея, свет лучист,
Ключи во всех дверях. Строитель-прогрессист
И психоаналитик договор
Скрепили в наши дни: да ни один запор
Не осквернит дверей отцовской спальни
И материнской тож, чтоб, ныне беспечальный,
Грядущих знахарей грядущий пациент,
Назад оборотясь, отыскивал в момент
«Исконной» именуемую сцену.

11
Строка 61: Антенны скрепка

Автор во всех прочих отношениях пустого и несколько глуповатого некролога, упоминаемого мною в заметках к строкам 71–72, цитирует найденное в рукописи стихотворение (полученное от Сибил Шейд), о котором говорится, что оно было «создано поэтом, по всей видимости, в конце июня, а значит менее чем за месяц до кончины поэта, и значит является последним из мелких произведений, написанных нашим поэтом».

Вот это стихотворение:

Качели
Закатный блеск, края огромных скрепок
Телеантенн воспламенивший слепо

  На крыше;
И ручки тень дверной, лежащей, удлинясь
Бейсбольной битою, в вечерний час
  На двери;
И кардинал, что вечером сидит,
Твердя свое «чу-дит, чу-дит, чу-дит»,
  На древе;
И брошенных качелей жалкий вид
Под деревом; вот что меня томит
  Невыносимо.
Я оставляю за читателем моего поэта право судить, возможно ли, чтобы он написал эту миниатюру всего за несколько дней до того, как повторить ее темы в настоящей части своей поэмы. Я подозреваю, что мы имеем здесь раннюю попытку (год не выставлен, но можно датировать ее временем, близким к кончине дочери), которую Шейд откопал среди старых бумаг, отыскивая что-либо, пригодное для «Бледного пламени» (поэмы, неведомой нашему некрологисту).

12
Строка 62: чуть не каждый день

Чуть не каждый день, а вернее каждую ночь весны 1959 года я мучился страхом за свою жизнь. Уединение – игралище Сатаны. Я не смогу описать глубин своего одиночества и отчаяния. Разумеется, жил за проулком мой знаменитый сосед, и какое-то время я сдавал комнату беспутному юноше (который обыкновенно являлся домой далеко за полночь). И все-таки, хочу подчеркнуть, что в одиночестве, в холодной и черствой его сердцевине, ничего нет хорошего для перемещенной души. Всякому ведомо, сколь падки земляне на цареубийство: две королевы, три короля и четырнадцать претендентов умерли насильственной смертью – удушенные, заколотые, отравленные и утопленные, – и все за одно только столетие (1700–1800). Замок Гольдсворт в те роковые мгновения сумерек, что так похожи на потемки сознания, становился особенно уединен. Вкрадчивые шорохи, шарканье прошлогодней листвы, ленивые дуновения, пес, навестивший помойку, – все отзывалось во мне копошеньем кровожадных проныр. Я сновал от окошка к окошку в пропитанном потом шелковом ночном колпаке, с распахнутой грудью, похожей на подтаявший пруд, и только по временам, вооружась судейским дробовиком, дерзал претерпеть терзанья террасы. Полагаю, тогда именно, в обманные вешние ночи, когда отзвуки новой жизни в кронах деревьев томительно имитировали скрежет старухи-смерти в моем мозгу, полагаю, тогда-то, в те ужасные ночи и пристрастился я припадать к окнам соседского дома в надежде снискать хотя бы проблески утешения (смотри примечания к строкам 47–48). Чего бы ни дал я в ту пору, чтобы с поэтом снова случился сердечный припадок (смотри строку 692 и примечание к ней), и меня позвали бы к ним в дом, сияющий в полночи каждым окошком, и был бы мощный и теплый прилив сострадания, кофе, звон телефона, рецепты земблянского травника (творящие чудеса!!), и воскрешенный Шейд рыдал бы у меня на руках («Ну, полно же, Джон, полно…»). Но теми мартовскими ночами в доме у них было темно, как в гробу. И когда телесное утомление и могильный озноб, наконец, загоняли меня наверх, в одинокую двойную постель, я лежал, бессонный и бездыханный, словно бы лишь теперь сознательно проживая опасные ночи на родине, когда в любую минуту шайка взвинченных революционеров могла ворваться и пинками погнать меня к облитой луною стене. Звуки торопливых авто и стенания грузовиков представлялись мне странной смесью дружеских утешений жизни с пугающей тенью смерти: не эта ли тень отворяет мою дверь? Не по мою ли явились душу призрачные душители? Сразу ли пристрелят они меня – или контрабандой вывезут одурманенного ученого обратно в Землю (Rodnaya Zembla!), дабы предстал он, ослепленный блеском графина, перед шеренгою судей, радостно ерзающих в их инквизиторских креслах?

Порой мне казалось, что только покончив с собой могу я надеяться провести неумолимо близящихся губителей, бывших скорее во мне, в барабанных перепонках, в пульсе, в черепе, чем на том упорном шоссе, что петлило надо мной и вокруг моего сердца, пока я задремывал лишь за тем, чтобы мой сон был разбит возвращением пьяного, несусветного, незабвенного Боба на прежнее ложе Виргини или Гинвер. Как упомянуто вкратце в Предисловии, я его вышвырнул в конце-то концов, после чего несколько ночей ни вино, ни музыка, ни молитва не могли укротить моих страхов. С другой стороны, светлые вешние дни проходили вполне сносно, всем нравились мои лекции, и я положил за правило неуклонно присутствовать на всех доступных мне общественных отправлениях. Но за веселыми вечерами вновь – что-то кралось, кренилось, опасливо крякало, лезло ползком, медлило и опять принималось

кряхтеть.

У гольдсвортова шато много было входных дверей, и как бы дотошно ни проверял я их и наружные ставни внизу, наутро неизменно отыскивалось что-то незапертое, незащелкнутое, подослабшее, приотворенное, вид имеющее сомнительный и лукавый. Как-то ночью черная кошка, которую я за несколько минут до того видел перетекающей в подпол, где я оборудовал ей туалетные удобства в располагающей обстановке, вдруг появилась на пороге музыкальной гостиной в самом разгаре моей бессонницы и вагнеровой граммофонии, выгибая хребет и щеголяя шелковым белым галстухом, который определенно не мог сам навязаться ей на шею. Я позвонил по 11111 и несколько минут погодя уже обсуждал кандидатуры возможных налетчиков с полицейским, весьма оценившим мой шерри, но кем бы тот взломщик ни был, он не оставил следов. Жестокому человеку так легко принудить жертву его прихотливых выходок уверовать, что у нее мания преследования, или что к ней и впрямь подбирается убивец, или что она страдает галлюцинациями. Галлюцинациями! Что ж, мне известно, что среди некоторых молодых преподавателей, которых авансы были мною отвергнуты, имелся по малости один озлобленный штукарь, я знал об этом с тех самых пор, как воротившись домой после очень приятной и успешной встречи со студенчеством и профессурой (где я, воодушевясь, сбросил пиджак и показал нескольким увлеченным ученикам кое-какие затейливые захваты, что в ходу у земблянских борцов), обнаружил в пиджачном кармане грубую анонимную записку: «You have hal…..s real bad, chum», что, очевидно, означало «hallucinations», хотя недоброжелательный критик мог бы вывести из нехватки точек, что маленький м-р Анон, обучая английскому первокурсников, сам с орфографией не в ладу.

Рад сообщить, что вскорости после Пасхи страхи мои улетучились, чтобы никогда не вернуться. В спальню Альфини или Бетти въехал иной постоялец, Валтасар, прозванный мной «Владыкой суглинков», который с постоянством стихии засыпал в девять вечера, а в шесть утра уже окучивал гелиотропы (Heliotropium turgenevi). Это цветок, чей аромат с неподвластной времени силой воскрешает в памяти скамейку в саду, вечер и бревенчатый крашенный дом далеко отсюда, на севере.

13
Строка 70: на новую антенну

В черновике (датированном 3 июля) за этим следует несколько ненумерованных строк, которые могли предназначаться для каких-то позднейших частей поэмы. Они не то чтобы вовсе стерты, но сопровождаются на полях вопросительным знаком и обведены волнистой линией, заезжающей на некоторые из букв:

Есть случаи, что нам воображенье
Теснят неясной странностью сближенья:
Подобья бесподобные, пароль
Без отзыва. Так северный король,
Чей из тюрьмы продерзостный побег
Лишь тем и удался, что сорок человек
Хранивших верность слуг, приняв его обличье,
У злой погони отняли добычу…
Он ни за что не достиг бы западного побережья, когда бы среди его тайных приверженцев, людей романтических, героических и рисковых, не распространилось бы причудливое обыкновение изображать беглого короля. Чтобы походить на него, они обрядились в красные свитера и красные кепки и возникали то здесь, то там, совсем заморочив революционную полицию. Кое-кто из проказников был изрядно моложе короля, но это не имело значения, ибо портреты его, висевшие по хижинам горцев и подслеповатым сельским лавчонкам, торговавшим червями, имбирными пряниками и лезвиями «жилетка», со времени коронации не состарились. Очаровательный шаржевый штрих внесло известное происшествие, когда с террасы отеля «Кронблик», подъемник которого доставлял туристов на глетчер Крон, видели веселого скомороха, воспаряющего подобно багровой бабочке, и едущего следом в замедленной, как бывает во сне, погоне околпаченного, но впрочем потерявшего шапку полицейского двумя сиденьями ниже. Приятно добавить, что не доехав до места высадки, поддельный король ухитрился удрать, соскользнув по одному из пилонов, что подпирают тягловый трос (смотри также примечания к строкам 149 и 171).

14

Профессор Харлей с похвальной быстротой опубликовал «Слово признательности» изданным произведениям Джона Шейда всего через месяц после кончины поэта. Оно явилось на свет в худосочном литературном журнальчике, название которого выветрилось у меня из памяти, мне показали его в Чикаго, где я на пару дней прервал автомобильную поездку из Нью-Вая в Кедры, в эти суровые осенние горы.

Комментарий, в коем должно царить мирной учености, не лучшее место для нападок на нелепые недочеты этого мелкого синодика. Я поминаю его лишь потому, что именно в нем наскреб я скудные сведения о родителях поэта. Его отец, Сэмюель Шейд, умерший пятидесяти лет в 1902 году, в молодые года изучал медицину и был вице-президентом экстонской фирмы хирургических инструментов. Главной его страстью, впрочем, было то, что наш велеречивый некрологист именует «изучением пернатого племени», добавляя, что «в его честь названа птица: Bombycilla Shadei» (это, разумеется, shadei, т. е. «теневидная»). Мать поэта, рожденная Каролина Лукин, помогала мужу в его трудах, именно она нарисовала прелестные изображения для его «Птиц Мексики», эту книгу я, помнится, видел в доме моего друга. Чего некрологист не знал, так это того, что фамилия Лукин происходит от «Лука», как равно и Лаксон, и Локок, и Лукашевич. Вот один из множества случаев, когда бесформенное на вид, но живое и характерное родовое прозванье нарастает, приобретая порой небывалые очертания, вокруг заурядного кристаллика крестного имени. Лукины – фамилия старая, из Эссекса. Бытуют также фамилии, связанные с занятиями: к примеру, Писарев, Свитский (тот, кто расписывает свитки), Лимонов (тот, кто иллюминует прописи), Боткин (тот, кто делает ботики – модную обутку), да тысячи других. Учитель мой, родом шотландец, всякую старую развалюху называл «харлей-хауз». Но довольно об этом.

Кое-какие иные сведения касательно срединных лет на диво бедной событьями жизни Джона Шейда и его университетской деятельности любопытствующий читатель сможет сам отыскать в профессоровой статье. В целом, скучное было бы сочинение, не оживляй его, коли дозволено так выразиться, некоторые особливые ухищрения. Так, в нем содержится только одно упоминание о шедевре моего друга (лежащем, пока я это пишу, опрятными стопками у меня на столе, под солнцем, подобно слиткам сказочного металла), и я привожу его с болезненным удовольствием: «Незадолго до безвременной кончины поэта он, по-видимому, работал над автобиографической поэмой». Обстоятельства самой кончины полностью извращены профессором, имевшим несчастье довериться господам из поденной прессы, которые, – вероятно, из политических видов – исказили и побуждения и намерения преступника, не дожидаясь суда над ним, который, увы, в этом мире так и не состоялся (смотри в свое время мои заключительные заметки). Но конечно, самая поразительная особенность этого поминальничка состоит в том, что в нем нет ни слова о славной дружбе, озарившей последние месяцы жизни Джона.

Друг мой не мог вызвать в памяти образ отца. Сходным образом и король, коему также не минуло и трех, когда почил его отец, король Альфин, не умел припомнить его лица, хоть, как то ни странно, отлично помнил шоколадный монопланчик, который он пухлым дитятей держит на самой последней (Рождество 1918 года) фотографии грустного авиатора в жокейских бриджах, на коленах которого он раскинулся неохотно и неуютно.

Альфин Отсутствующий (1873–1918, годы царствования: 1900–1918, впрочем, 1900–1919 в большинстве биографических словарей – недоразумение, порожденное случайным стечением дат при переходе от старого стиля к новому) прозвищем своим был обязан Амфитеатрикусу, беззлобному сочинителю стихотворений на злобу дня (по его же милости мою столицу прозвали «Ураноградом»!), печатавшемуся в либеральных газетах. Рассеянность короля Альфина не знала границ. Лингвист он был никакой, знал лишь несколько фраз, французских и датских, но всякий раз, что случалось ему произносить речь перед подданными – перед кучкой, скажем, ошалелых земблянских мужиков в какой-нибудь дальней долине, куда он с треском приземлялся, – что-то неуправляемое щелкало у него в мозгу, и он прибегал к этим фразам, сдабривая их для пущей понятности толикой латыни. В большей части анекдоты насчет посещавших его приступов простомыслия слишком глупы и неприличны, чтобы пачкать ими эти страницы, однако ж один из них, и по-моему совсем не смешной, вызвал у Шейда такие раскаты хохота (и воротился ко мне через преподавательскую с такими непристойными добавлениями), что я склонен привести его здесь в качестве образчика (и коррективы). Однажды летом, перед Первой Мировой, когда в нашу маленькую и сдержанную страну прибыл с весьма необычным и

лестным визитом император одной великой иностранной державы (я сознаю, как небогат их выбор), отец мой отправился с ним и с молодым земблянским толмачом (вопрос пола которого я оставляю открытым) в увеселительную загородную поездку на только что полученном, сделанном на заказ автомобиле. Как и всегда, король Альфин путешествовал без всякой свиты, — это, а также шибкость его езды зримо беспокоили гостя. На обратном пути, милях в двадцати от Онгавы король Альфин решил остановиться для мелкой починки. Пока он копался в моторе, император с интерпретатором удалились под сень придорожной сосны, и только когда король Альфин уже воротился в Онгаву, он постепенно усвоил из беспрестанных и совершенно отчаянных расспросов, обращенных к нему, что кое-кого потерял дорогою («Какой император?» — так и осталось единственным его памятным mot). Вообще говоря, всякий раз, что я вносил свою лепту (или то, что представлялось мне лептой), я настаивал, чтобы поэт мой делал записи, а не тратился в пустых разговорах, но что поделаешь, поэты — тоже люди.

Рассеянность короля Альфина странным образом сочеталась с пристрастием к механическим игрушкам, наипаче же — к летальным аппаратам. В 1912 году он уловчился взлететь на зонтообразном «гидроплане» Фабра и едва не потонул в море между Нитрой и Индрой. Он разбил два «Фармана», три земблянских машины и любимую им «Demoiselle» Сантос-Дюмона. В 1916 году его неизменный «воздушный адъютант» полковник Петр Гусев (впоследствии — пионер парашютизма, оставшийся и в свои семьдесят лет одним из первейших прыгунов всех времен) соорудил для него полностью оригинальный моноплан «Бленда-1», она-то и стала птицей его рока. Ясным, не очень холодным декабрьским утром, которое выбрали ангелы, чтоб уловить в свои сети его смиренную душу, король Альфин попытался в одиночном полете выполнить сложную вертикальную петлю, показанную ему в Гатчине князем Андреем Качуриным, прославленным русским акробатом и героем Первой Мировой. Что-то у него незаладилось, и малютка «Бленда» вошла в неуправляемое пике. Летевшие сзади и выше него на биплане Кодрона полковник Гусев (к этому времени уже герцог Ральский) и королева сделали несколько снимков того, что поначалу казалось благородным и чистым маневром, но вскоре обратилось в нечто иное. В последний миг король Альфин сумел выровнить машину и снова возобладать над земной тягой, но сразу за тем влетел прямиком в леса огромной гостиницы, которую строили посреди прибрежной вересковой пустоши как бы нарочно для того, чтобы она преградила путь королю. Королева Бленда приказала снести незавершенное и сильно попорченное строение, заменив его безвкусным гранитным монументом, увенчанным невероятного образа бронзовым аэропланом. Глянцевитые оттиски увеличенных снимков, запечатлевших всю катастрофу, были в один прекрасный день найдены восьмилетним Карлом-Ксаверием в ящике книжного шкапа. На некоторых из этих жутких картинок виднелись плечи и кожаный шлем странно безмятежного авиатора, а на предпоследнем фото, как раз перед белым расплывчатым облаком обломков, явственно различалась рука, воздетая в знак уверенности и торжества. Долго потом мальчику снились дурные сны, но мать его так и не узнала о том, что он видел эту адскую хронику.

Ее он помнил — более-менее: наездница, высокая, широкая, плотная, краснолицая. Королевская кузина уверила ее, что отданный на попечение милейшего мистера Кэмпбелла, обучавшего нескольких смирных принцесс распяливать бабочек и находить удовольствие в чтении «Погребального плача по лорду Рональду», сын ее будет благополучен и счастлив. М-р Кэмпбелл, полагая жизнь свою на переносные, так сказать, алтари разнообразных хоббий — от изучения книжных клещей до медвежьей охоты — и будучи в состоянии за одну прогулку целиком отбарабанить «Макбета» и притом наизусть, совсем не думал о нравственности своих подопечных, предпочитая красоток отрокам и не желая вникать в тонкости земблянского уклада. После десятилетней службы он оставил страну ради некоего экзотического двора — в 1932 году, когда наш принц, уже семнадцатилетний, начал делить досуг между Университетом и своим полком. То была лучшая пора его жизни. Он все не мог решить, что же сильнее влечет его душу: изучение поэзии, особливо английской, плац-парады или бал-маскарады, где он танцевал с юными девами и девоподобными юношами. Мать скончалась внезапно, 21 июля 1932 года, от загадочного заболевания крови, поразившего также и матушку и бабушку ее. За день до того ей стало много лучше, и Карл-Ксаверий отправился на всенощный бал в так называемые Герцоговы Палаты, что в Гриндельводах: для пустяковой, вполне поверхностной гетеросексуальной интрижки, несколько даже освежающей после кое-каких предшествующих затей. Часов около четырех утра, когда солнце опламенило вершины дерев и розовый конус Маунт-Фалька, король остановил свой мощный автомобиль у одного из проходов Дворца. Так нежен был воздух и поэтичен свет, что он и бывшие с ним трое друзей решили пройти по липовым рощам остаток пути до Павлиньего

павильона, где размещались его гости. Он и Отар, его платонический наперсник, были во фраках, но без цилиндров, унесенных ветром большой дороги. Странное чувство овладело четверкой друзей, стоявших под молодыми вязами посреди сухого ландшафта — эскарпы и контрэскарпы, усиленные тенями и контртенями. С Отаром, приятным и образованным аделингом с громадным носом и редкими волосами, была чета его любовниц — восемнадцатилетняя Фифальда (на которой он после женился) и семнадцатилетняя Флер (с которой мы еще встретимся в двух других примечаниях) — дочери графини де Файлер, любимой камеристки королевы. Невольно замираешь перед этой картиной, как бывает, когда, достигнув господствующих высот времени и оглянувшись назад, видишь, что через миг жизнь твоя полностью переменится. Итак, там был Отар, озадаченно взиравший на далекие окна королевских покоев, две девы пообок, тонконогие, в переливчатых палантинах, с розовыми кошачьими носиками, сонно-зеленоглазые, в серьгах, горевших заемным солнечным блеском и потухавших. Вокруг слонялись какие-то люди, так бывало всегда, в любые часы у этих ворот, мимо которых бежала на встречу с Восточным трактом дорога. Крестьянка с выпечеными ею пирожками — несомненная мать часового, еще не пришедшего, чтобы сменить в безотрадной привратной клетушке небритое, юное и мрачное nattdett (дитя ночи), сидела на камне контрфорса и, по-женски забыв обо всем на свете, следила за тонкими восковыми свечами, порхавшими, как светляки, от окна к окну; двое работников, придержав велосипеды, стояли и тоже глазели на странные огоньки; и пьянчуга в моржовых усищах шатался вокруг, хлопаясь о липовые стволы. В эти минуты, когда замедляется время, случается нахвататься разных пустяков. Король заметил, что красноватая глина забрызгала рамы велосипедов, и что передние их колеса повернуты в одну сторону, параллельно. Вдруг на уступчивой тропке, юлящей в кустах сирени, — кратчайший путь от королевских покоев, — завиделась бегущая графиня, ноги ее путались в подрубе стеганой мантии, и в этот же миг с другого бока Дворца вышли все семеро членов Совета, одетых с парадной пышностью и несущих, словно кексы с изюмом, дубликаты различных регалий, церемонно заспешили по каменным лестницам, — но графиня опередила их на целый алин и успела выпалить новость. Пьяница затянул было скабрезную песенку «Карлун-потаскун», но сверзился в ров под равелином. Трудно с ясностью описать в коротких примечаниях к поэме разнообразные подступы к укрепленному замку, поэтому я, сознавая сложность задачи, подготовил для Джона Шейда — в июне, когда рассказывал ему о событиях, бегло описанных в некоторых из моих примечаний (смотри, например, комментарий к строке 130), — довольно изрядный план залов, террас и увеселительных плацев Дворца в Онгаве. Если его только не уничтожили и не украли, изящное это изображение, выполненное цветною тушью на большом (тридцать на двадцать дюймов) картоне, верно, еще пребывает там, где я в последний раз видел его в середине июля, — на верху большого черного сундука, что стоит наискось от старого обжимного катка в нише коридорчика, ведущего к так называемой фруктовой кладовке. Если его там нет, следует поискать в кабинете Джона на втором этаже. Я писал о нем к миссис Шейд, но она больше не отвечает на мои письма. В случае, если картон еще существует, я хочу попросить ее, — не повышая голоса, очень почтительно, так почтительно, как нижайший из подданных короля мог бы молить о неотложнейшей реституции (план-то все-таки мой и ясно подписан черным шахматным королем после слова «Кинбот»), — выслать его, хорошо упакованным, с пометкой «не сгибать» и с объявленной ценностью моему издателю для воспроизведения в последующих изданиях настоящего труда. Какой бы ни обладал я энергией, она совершенно иссякла в последнее время, а мучительные мигрени делают ныне невозможными усилия памяти и утруждение глаз, потребные для начертания второго такого же плана. Черный сундук стоит на другом, побольше, буром или же буроватом, и по-моему, в темном углу рядом с ними было еще чучело то ли лисы, то ли шакала.

15
Строка 80: претерист

Против этого на полях черновика записаны две строки, из которых расшифровке поддается только первая. Она читается так:

День должно вечером хвалить

Я совершенно уверен, что мой друг пытался использовать здесь несколько строк, которые я процитировал ему и миссис Шейд в одну из моих беспечных минут, — а именно, очаровательное четверостишие из староземблянского варианта «Старшей Эдды» в анонимном английском переводе (Кирби?):

Ведь мудрый хвалит день ко сну,
Лед — перейдя, зарыв — жену,
Невесту — вздрючив до венца,
И лишь заездив — жеребца.

16
Строка 81: где я дремал

Наш принц любил Флер любовью брата, но без каких-либо тонкостей кровосмесительства или вторичных гомосексуальных отягощений. У нее было бледное личико с выступающими скулами, ясные глаза и кудрявые темные волосы. Ходили слухи, что потратив месяцы на пустые блуждания с фарфоровой чашкой и туфелькой Сандрильоны, великосветский поэт и ваятель Арнор нашел в ней, что искал, и использовал груди ее и ступни для своей «Лилит, зовущей Адама вернуться», впрочем, я вовсе не знаток в этих деликатных делах. Отар, бывший ее любовником, говорил, что когда вы шли за нею, и она знала, что вы за нею идете, в покачивании и в игре ее стройных бедер была напряженная артистичность, нечто такое, чему арабских девушек обучали в особой школе особые парижские сводни, которых затем удушали. Хрупкие эти щиколки, говорил он, которые так близко сводила ее грациозная и волнообразная поступь, — это те самые «осторожные сокровища» из стихотворения Арнора, воспевающего мирагаль (деву миража), за которую «король мечтаний дал бы в песчаных пустынях времен триста верблюдов и три родника».

On ságaren werém tremkín tri stána
Verbálala wod gév ut trí phantána
(Я пометил ударения.)

Весь этот душещипательный лепет (по всем вероятиям, руководимый ее мамашей) на принца впечатления не произвел, он, следует повторить, относился к ней как к единокровной сестре, благоуханной и светской, с подкрашенным ротиком и с maussade, расплывчатой, галльской манерой выражения того немногого, что ей желательно было выразить. Ее безмятежная грубость в отношениях с нервной и словообильной графиней казалась ему забавной. Он любил танцевать с ней — и только с ней. Ничто, ничто совершенно не вздрагивало в нем, когда она гладила его руку или беззвучно касалась чуть приоткрытыми губами его щеки, уже покрытой нагаром погубившего бал рассвета. Она, казалось, не огорчалась, когда он оставлял ее ради более мужественных утех, снова встречая его в потемках машины, в полусвете кабаре покорной и двусмысленной улыбкой привычно целуемой дальней кузины.

Сорок дней — от смерти королевы Бленды до его коронации — были, возможно, худшим сроком его жизни. Матери он не любил, и безнадежность и безнадежное раскаяние, которые он теперь испытывал, выродились в болезненный физический страх перед ее призраком. Графиня, которая, кажется, была постоянно при нем, шелестела где-то поблизости, склонила его к посещению сеансов столоверчения, проводимых опытным американским медиумом, вызывавшим дух королевы, орудуя той же планшеткой, с помощью которой она толковала при жизни с Тормодусом Торфеусом и А.Р. Уоллесом, и ныне дух резво писал по-английски: «Charles take take cherish love flower flower flower» («Карл прими прими лелей любовь цветок цветок цветок»). Старик-психиатр, так основательно подпорченный графиниными подачками, что и снаружи начал уже походить на подгнившую грушу, твердил ему, что его пороки подсознательно убивали мать и будут «убивать ее в нем» и дальше, когда он не отречется от содомии. Придворная интрига — это незримый мизгирь, что опутывает вас все мерзее с каждым вашим отчаянным рывком. Принц наш был молод, неопытен и полубезумен от недосыпания. Он уж почти и не боролся. Графиня спустила состояние на подкупы его kamergrum'a [постельничего], телохранителя и даже немалой части министра двора. Она спала теперь в малой передней по соседству с его холостяцкой спальней — прекрасным, просторным, округлым апартаментом в верху высокой и мощной Юго-Западной Башни. Здесь был приют его отца, все еще соединенный занятным лотком в стене с круглым бассейном нижней залы, и принц начинал свой день, как бывало начинал его и отец, — сдвигая стенную панель за своей походной кроватью и перекатываясь в шахту, а оттуда со свистом влетая прямиком в яркую воду. Для нужд иных, чем сон, Карл-Ксаверий установил посреди персидским ковром укрытого пола так называемую патифолию, то есть огромную овальную роскошно расшитую подушку лебяжьего пуха размером в тройную кровать. В этом-то просторном гнезде, в срединной впадинке и дремала ныне Флер под покрывалом из натурального меха гигантской панды, только что в спешке привезенном с Тибета горсткой

доброжелательных азиатов по случаю его восшествия на престол. Передняя, в которой засела графиня, имела собственную внутреннюю лестницу и ванную комнату, но соединялась также раздвижной дверью с Западной Галереей. Не знаю, какие советы и наставления давала Флер ее мать, но совратительницей бедняжка оказалась никудышной. Словно тихий помешанный она упорствовала в попытках настроить виолу дамур или, приняв скорбную позу, сравнивала две древних флейты, звучавших обе уныло и слабо. Тем временем он, обрядившись в турка, валялся в просторном отцовском кресле, свесив с подлокотника ноги, листая том «Historia Zemblica», делая выписки и иногда выуживая из нижних карманов кресла то старинные водительские очки, то перстень с черным опалом, то катышек серебристой шоколадной обертки, а то и звезду иностранного ордена.

Грело вечернее солнце. На второй день их уморительного сожительства она оказалась одетой в одну только верхнюю часть какой-то пижамки — без пуговиц и рукавов. Вид четырех ее голых членов и трех «мышек» (земблянская анатомия) его раздражал, и он, расхаживающий по комнате и обдумывающий тронную речь, не глядя, швырял в ее сторону шорты или купальный халат. Иногда, возвратясь в уютное старое кресло, он заставал там ее, горестно созерцающей изображение bogtur'a [древнего воина] в труде по истории. Он выметал ее вон из кресла, и она, потянувшись, перебиралась на приоконный диван, под пыльный солнечный луч, впрочем, спустя какое-то время она снова льнула к нему и приходилось одной рукой отпихивать ее торкливую головку, пока другая писала, или по одному отдирать розовые коготки от рукава или подпояски.

Ее ночное присутствие не убивало бессонницы, но по крайности держало на расстоянии крутое привидение королевы Бленды. В изнеможении и сонливости он утешался пустыми фантазиями, — не встать ли, к примеру, и не вылить ли из графина немного холодной воды на голое плечико Флер, чтобы погасить на нем слабый отблеск лунных лучей? У себя в логове зычно храпела графиня. Дальше, за преддверием его бдения (и тут он начинал засыпать) в темной, промозглой галерее, усеяв крашенный мраморный пол, в три и в четыре ряда лежали, приникнув к запертой двери, кто посапывая, кто скуля, его новые пажи, целые груды даровых мальчишек из Трота, Тосканы, Альбаноланда.

Пробуждаясь, он находил ее с гребешком в горсти перед его, а вернее, деда его псише, — триптихом бездонного света, воистину волшебным зеркалом с алмазной подписью мастера, Сударга из Бокаи. Она поворачивалась перед ним: загадочный механизм отражения собирал в глуби зеркал бесконечное множество голых тел, девичьи гирлянды, грациозные грустные гроздья, умалявшиеся в прозрачной дали или распадавшиеся на одиночных ундин, из которых иные, шептала она, непременно походят на ее прародительниц, когда те были молоды, — на маленьких деревенских garlien, расчесывавших волосы на мелководьи, куда только достигали глаза, а за ними — мечтательная русалочка из старинной сказки, а за ней — пустота.

На третью ночь с внутренних лестниц донесся гулкий топ и лязг оружия, за ними вломились Первый советник, три ходока из народа и новый начальник стражи. Забавно, но именно посланцев народа сильнее всего озлобила мысль, что их королевой станет правнучка уличного скрипача. Тем и закончился непорочный роман Карла-Ксаверия с Флер — хорошенькой, но все-таки не отвратной (как некоторые из кошек оказываются менее прочих невыносимы для добродушного пса, которому велено было сносить мучительные миазмы чужеродного вида). Обе дамы с их белыми чемоданами и устарелыми музыкальными инструментами побрели во флигель на задворках Дворца. Сладкий укол облегчения, — и затем дверь передней с веселым треском съехала вбок и вся орава «putti» ввалилась вовнутрь.

Ему еще предстояло тринадцать лет спустя пройти через гораздо горшие испытания с Дизой, герцогиней Больна, с которой он обвенчался в 1949 году, — это описано в примечаниях к строкам 275 и 433–434, которые тот, кто решил изучить Шейдову поэму, прочитает в должное время, спешить не стоит. Одно за другим миновали холодные лета. Бедная Флер, оставалась вблизи, пусть и с трудом различимая. Диза обласкала ее после гибели старой графини в переполненном вестибюле «Выставки стеклянных зверей» 1950 года, часть которой почти уничтожил пожар, причем Градус помогал пожарной команде расчистить на площади место, чтобы вздернуть не состоящих в профсоюзе поджигателей или, правильнее, людей, ошибочно таковыми сочтенных (двух озадаченных датских туристов). Молодая королева наша, верно, питала нежное сочувствие к бледной своей фрейлине, которую король по временам замечал расписывающей программку концерта в косых лучах оживального окна или слышал тихо наигрывающей в Будуаре Б. Прелестная спальня его холостяцкой поры

вновь возникает в в самом начале ненужной и нудной Земблянской революции.

17
Строка 85: знавала папу

Пия X, Джузеппе Мельхиорре Сарто, 1835–1914; Папа с 1903 по 1914 гг.

18
Строки 86–90: тетя Мод

Мод Шейд, 1886–1950, сестра Сэмюеля Шейда. Ко времени ее кончины Гэзель (родившаяся в 1934 г.) была не такой уж «малюткой», как заставляет думать строка 89. Живопись ее я нахожу неприятной, но интересной. Тетя Мод была отнюдь не старой девой, а экстравагантный и сардонический склад ее ума должен был порою шокировать жантильных нью-вайских дам.

19
Строки 90–94: Мы комнату ее и проч.

В черновике вместо окончательного текста:

……. Мы комнату ее
Не тронули. Здесь нам безделиц лепет
Стиль Мод воссоздает: листвяный склепик
(Пустая куколка и трупик дездемоны)
И том стихов, на списке растворенный
Речь идет о том, что определяется моим словарем как «крупная шпористая бабочка серо-коричневого окраса, гусеница которой кормится на гикори». Подозреваю, что Шейд изменил это место, чтобы избегнуть сшибки имени бабочки с «мавром» в следующей строке.

20
Строка 91: сувениры

Среди прочих сувениров имелся альбом для набросков, куда тетя Мод вклеивала в период с 1937 по 1949 год вырезки из печатных изданий, по содержанию непреднамеренно нелепые и гротесковые. Джон Шейд разрешил мне переписать для памяти первую и последнюю; случайно, они перекликаются и довольно занятно, по-моему. Обе извлечены из одного и того же журнала для семейного чтения — из «Life» («Живость»), — снискавшего заслуженную славу своей застенчивостью во всем, что касается до таинств мужского пола, так что можно вообразить, как напугались или же сладко затрепетали эти самые семьи. Первая происходит из номера от 10 мая 1937 г., с.67, и рекламирует брючную застежку под названием «Коготь» (название, кстати сказать, довольно цапастое и болезнетворное). На ней изображен источающий мужскую силу молодчик, окруженный восторженными подружками, подпись гласит: «Вы изумитесь, насколько легче Вам станет управляться с Вашей ширинкой». Вторая вырезка взята из номера от 28 марта 1949 г., она рекламирует кальсоны «Фиговый лист» фирмы «Ханнес» и изображает современную Еву, которая блаженно таращится из-за растущего в кадке древа познания на вожделеющего молодого Адама в довольно обыкновенном, но чистом исподнем, причем передок хваленых кальсон оттенен старательно и густо; подписано: «Фиговый лист ничем не заменишь».

Мне кажется, должен существовать особый подрывной отряд лжекупидонов — безволосых пухленьких чертенят, которых Сатана посылает пакостить в самых священных и неприкосновенных местах.

21
Строка 92: пресс-папье

Как странно томил поэта образ этих старомодных кошмаров. Я вырезал недавно из газеты, их перепечатавшей, старые его стихи, в которых сувенирная лавочка также хранит пейзаж, любезный туристу:

Горный вид
Между горой и глазом бес
Разлуки растянул для нас
Легчайший бирюзовый газ
Из тонкой сущности небес.
Бриз тронул сосны, в общий плеск
Оваций я вступлю сейчас.
Но знаем мы, как краток миг
Горы и сил не станет ей,
Чтоб ждать, – пусть вид ее проник
В меня, как в это пресс-папье.

22
Строка 98: на Чепменском Гомере

Здесь упомянуто заглавие известного сонета Китса (его часто цитируют в Америке), которое вследствие рассеянности наборщика забавным образом переместилось из какой-то иной статьи в спортивный отчет. Касательно других выразительных опечаток смотри примечание к строке 801.

23
Строка 101: Свободный жив без Бога

Довольно задуматься о бесчисленном множестве мыслителей и поэтов, коих свобода разума скорее скреплялась Верой, чем сковывалась ею на протяжении всей творческой деятельности человечества, как поневоле усомнишься в мудрости этого поверхностного афоризма (смотри также примечание к строке 549).

24
Строка 109: радужка

Разноцветное облачко, по-земблянски muderperlwelk. Термин «радужка», как я понимаю, выдуман самим Шейдом. По-над ним в беловике (карточка 9, 4 июля) карандашом написано: «павлинья мушка». Павлинья мушка – это основная часть определенной разновидности искусственной наживки, называемой также «мурмышкой». Сообщено владельцем этого автопритона, заядлым рыболовом. (Смотри также «странный свет, как перламутровый» в строках 633–634).

25
Строка 119: доктор Саттон

Здесь перед нами рекомбинация слогов, взятых из разных имен, одно из которых начинается с «Сат», а другое кончается на «тон». Двое выдающихся врачей, давно отошедших от практики, обитали в наших холмах. Оба были старинными друзьями Шейдов, у одного имелась дочь, президентша клуба Сибил (это и есть тот доктор Саттон, которого я вывожу в своих заметках к строкам 181 и 1000). Он упоминается также в строке 986.

26
Строки 120–121: Что были пять минут и т. д.

На левом поле параллельно обрезу написано: «В средние века час равнялся 480 унциям тонкого песку или 22560 атомам».

Я не в состоянии проверить ни этого утверждения, ни подсчетов, произведенных поэтом применительно к пяти минутам, т. е. к тремстам секундам, – я просто не понимаю, как можно разделить 480 на 300 или наоборот, но, возможно, это оттого, что я слишком устал. В день, когда Джон Шейд записал эти строки (4 июля) Громила-Градус готовился выехать из Земблы и начать свое упорное и путаное путешествие по двум полушариям.

27

Строка 130: Я сроду мяч не гнал и клюшкой на махал

Честно говоря, мне тоже не доводилось блистать ни в футболе, ни в крикете, – я довольно сносный наездник, сильный, хотя и не традиционный лыжник, хороший конькобежец, изобретательный борец и заядлый скалолаз. В черновике за строкой 130 следуют четыре стиха, от которых Шейд отказался ради продолжения, попавшего в беловик (строка 131 и последующие). Вот этот неудавшийся приступ:

Как в беготне по замку дети
Вдруг дверь в стенном шкапу заметят,
И разметав игрушек сор,
[четыре слова густо зачеркнуты] тайный коридор –
Сравнение виснет в воздухе. Можно предположить, что Шейд намеревался поведать здесь о некоторой таинственной истине, открывшейся ему в обморочном отрочестве. Я не могу передать, как мне жаль, что он отверг эти строки. Я сожалею об этом не только по причине их внутренней красоты, а она значительна, но также и оттого, что содержащийся в них образ навеян кое-чем, слышанным Шейдом от меня. Я уже упоминал в этих заметках о приключениях Карла-Ксаверия, последнего короля Земблы, и об остром интересе моего друга, возбужденном многими моими рассказами об этом короле. Карточка, сохранившая вариант, датирована 4 июля, это ясное эхо наших закатных прогулок по душистым лугам Нью-Вая и Далвича. «Расскажите еще что-нибудь», – говорил он, выбивая трубку о буковый ствол, и пока медлило красочное облачко, и миссис Шейд смирно сидела, услаждаясь теледраммой, в освещенном доме далеко на холме, я с удовольствием исполнял просьбу моего друга.

Бесхитростными словами я описывал ему положение, в котором очутился король в первые месяцы возмущения. Он испытывал странное чувство, что ему выпало быть единственной черной фигурой в позиции, которую шахматный композитор мог бы назвать «король в западне», в позиции типа solus rex. Роялисты или по меньшей мере умерды (умеренные демократы) еще сумели бы уберечь страну от превращения в пошлую современную тиранию, когда бы им было по силам тягаться с грязным золотом и отрядами роботов, коими со своих командных высот питало Земблянскую революцию мощное полицейское государство, расположенное лишь в нескольких милях (морских) от Земблы. При всей безнадежности его положения отречься король отказался. Надменного и замкнутого узника заточили в его же собственном розового камня Дворце, из угловой башни которого различались в полевой бинокль гибкие юноши, нырявшие в бассейн сказочного спортивного клуба, и английский посол в старомодной фланели, игравший с тренером-баском в теннис на земляном корте, далеком как Рай. Сколь безмятежным казался рисунок гор на западном своде неба!

Где-то в дымчатом городе каждый день происходили омерзительные взрывы насилия, шли аресты и казни, но жизнь громадного города катилась все так же гладко: заполнялись кафе, шли в Королевском театре прелестные пьесы, и в сущности, сильнейшим сгущением мрака был как раз королевский дворец. Революционные komizary с каменными образинами и квадратными плечьми крепили суровую дисциплину в частях, несших охрану снутри и снаружи Дворца. Пуританская осмотрительность опечатала винные погреба и удалила из южного крыла всю женскую прислугу. Фрейлины, натурально, оставили Дворец еще задолго раньше, когда король удалил королеву на виллу во Французской Ривьере. Благодарение небесам, избавившим ее от ужасных дней в оскверненном Дворце!

Каждая дверь охранялась. Обеденная зала вместила трех сторожей, еще четверо валандались в библиотеке, в темных альковах которой, казалось, ютились все тени измены. В спальне любого из немногих оставленных слуг имелся свой вооруженный паразит, пивший запретный ром со старым ливрейным лакеем или резвившийся с юным пажом. А в огромной Гербовой Зале наверняка можно было найти постыдных шутов, норовящих втиснуться в стальные доспехи ее полых рыцарей. И как же смердело козлом и кожей в просторных покоях, некогда благоухавших сиренью и гвоздикой!

Вся эта дурная орава состояла из двух основных групп: из безграмотных, зверообразных, но в сущности совершенно безвредных рекрутов, навербованных в Фуле, и молчаливых, очень корректных экстремистов со знаменитых Стекольных заводов, – на которых и возгорелась впервые революционная искра. Теперь можно (поскольку он пребывает в безопасности в Париже) рассказать и о том, что в этой компании находился по крайности один героический роялист, так виртуозно менявший внешность, что его ни о чем не подозревавшие однополчане казались с ним рядом посредственными подражателями. На самом деле Одон был одним из величайших земблянских актеров и в отпускные его вечера срывал аплодисменты в Королевском

театре. Через него король поддерживал связь с многочисленными приверженцами – с молодыми людьми благородных фамилий, с университетскими атлетами, с игроками, с Паладинами Черной Розы, с членами фехтовальных клубов и с прочими светскими и рискованными людьми. Поговаривали, будто пленник вскоре предстанет перед чрезвычайным судом, но говорили также и то, что его пристрелят во время мнимого переезда к новому месту заточения. И хотя его побег обсуждался каждодневно, планы заговорщиков обладали ценностью более эстетической, нежели практической. Мощная моторная лодка стояла наготове в береговой пещере близ Блавика [Васильковой Бухты] в западной Зембле, за высокой горной грядой, отделявшей город от моря, воображаемые отражения зыбкой прозрачной воды на каменных сводах, на лодке, причиняли танталовы муки, но ни единому из посвященных в заговор не удавалось придумать, как королю бежать из замка и, не подвергаясь опасности, миновать его укрепления.

В один августовский день в начале третьего месяца «роскошного заточения» в Юго-Западной Башне его обвинили в том, что он, пользуясь карманным зеркальцем и участливыми солнечными лучами, подавал световые сигналы из своего выспреннего окна. Просторы, из него открывавшиеся, не только склоняли, как было объявлено, к подобному вероломству, но и порождали у их созерцателя воздушное ощущение превосходства над приниженной стражей. Вследствие того походную кровать короля стащили под вечер в мрачный чулан, расположенный в той же части Дворца, но на первом его этаже. Множество лет тому тут помещалась гардеробная Тургиса Третьего. После кончины Тургиса (в 1900-м) его разукрашенную опочивальню переделали в подобие часовни, а смежная комнатка, лишась высокого составного зеркала и зеленым шелком обтянутого дивана, вскоре выродилась в то, чем она оставалась вот уже половину столетия, – в старую нору с запертым шкапом в одном углу и дряхлой швейной машинкой в другом. Попасть сюда можно было из выстланной мрамором галереи, идущей вдоль северной стороны Дворца и круто сворачивающей по достижении западной, чтобы образовать вестибюль в юго-западном его углу. Единственное окно, южное, выходило во внутренний двор. Когда-то оно уводило в страну грез с жар-птицей и ослепленным охотником, но недавно футбольный мяч сокрушил баснословную лесную сцену, и теперь новое, простое стекло защищала снаружи решетка. На западной стене висела над беленой дверцей шкапа большая фотография в рамке из черного бархата. Легкие и летучие, но повторенные тысячи раз касания того же самого солнца, что обвинялось в передаче известий из башни, понемногу покрыли патиной изображение романтичного профиля и голых просторных плеч позабытой актрисы Ирис Акт, несколько лет – до ее внезапной смерти в 1888 году – бывшей, как сказывали, любовницей Тургиса. Фривольного вида дверь в противной, восточной стене, схожая бирюзовой раскраской с единственной другой дверью комнаты (выходящей в галерею), но накрепко запертая, вела когда-то в спальню старого развратника, округлая хрустальная ручка ее ныне утратилась, по бокам висела на восточной стене чета ссыльных гравюр, принадлежащих к периоду упадка комнаты. Были они того сорта, что не подразумевает рассматривания, но что существует просто как общая идея картины, отвечая скромным орнаментальным нуждам какого-нибудь коридора или ожидательной комнаты: одна – убогий и горестный Fête Flammande под Тенирса, другая же попала сюда из детской, которой сонные обитатели всегда полагали, будто передний ее план изображает пенные валы, а не размытые очертания меланхоличной овечки, теперь вдруг на ней проглянувшие.

Король вздохнул и начал раздеваться. Его походная койка и ночной столик стояли в северо-восточном углу, лицом к окну. На востоке – бирюзовая дверь, на севере – дверь в галерею, на западе – дверь шкапа, на юге – окно. Черный блайзер и белые брюки унес бывший камердинер его камердинера. Облачившись в пижаму, король присел на край кровати. Человек вернулся с парой сафьяновых туфель, насунул их на вялые господские ступни и вышел, унося снятые бальные туфли. Блуждающий взор короля остановился на приоткрытом окне. За окном виднелась часть тускло освещенного дворика, на каменной скамье под огороженным тополем сидели двое солдат и играли в ландскнехт. Летняя ночь, беззвездная и бездвижная, с далекими содраганиями онемелых молний. Вкруг стоящего на скамье фонаря слепо хлопотала ошалелая бабочка размером с летучую мышь, – покуда понтер не сшиб ее наземь фуражкой. Король зевнул, и подсвеченные игроки, задрожав, распались в призме его слезы. Скучающий взгляд побрел со стены на стену. Дверь в галерею стояла приотворенной, и слышен был часовой, прохаживающийся взад-вперед. Над шкапом Ирис Акт расправила плечи и отвела глаза. Скворчнул сверчок. Постельной лампы всего и хватало на яркий блик золоченого ключика, торчащего в запоре стенного шкапа. От этой-то ключевой искры вспыхнул и покатил в сознании узника чудесный пожар.

Бледное пламя. 1-й вариант. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru Тут нам придется вернуться из августа 1958 года лет на тридцать назад, во вторую половину одного майского дня. В ту пору он был смуглым и сильным мальчиком тринадцати лет с серебряным колечком на указательном пальце загорелой руки. Королева Бленда, его мать, недавно уехала в Вену и в Рим. У него было несколько близких друзей, но ни один не шел в сравнение с Олегом, герцогом Ральским. В те дни подростки высокородных фамилий облачались по праздникам (которых выпадает так много на долгие наши северные весны) в вязанные безрукавки, беленькие носочки при черных на пряжках туфлях и в очень тесные, очень короткие шорты, называемые hotingueny. Хотелось бы мне снабдить читателя вырезными фигурками, нарядами, деталями убранства наподобие тех, что даются в кукольных картонных наборах вооруженным ножницами детишкам. Они оживили бы эти темные вечера, сокрушающие мой рассудок. Оба мальчика были красивыми, длинноногими представителями варяжского отрочества. Олег в его двенадцать лет был первым центрфорвардом Герцогской школы. Обнаженный, сиял он в банном тумане, и мощная мужественность его спорила с присущей ему девичьей грацией. То был истинный маленький фавн. В описываемый день обильный хлывень лоснил весеннюю листву дворцового парка, и как валилась и вскидывалась персидская сирень в мятежном цвету за зеленой в аметистовых кляксах мутью оконных стекол! Оставалось играть под крышей. Олега все не было. Да и придет ли он вообще?

Юный принц задумал отыскать искусной работы игрушечный набор (дар иностранного владыки, недавно павшего жертвой покушения), который скрасил ему и Олегу прошлую Пасху, а после забылся, как часто случается с редкостными, изящными игрушками, дозволяющими скрытым в них пузырькам восторга единым духом выплеснуть их аромат, чтобы затем погрузиться в музейное онмение. В особенности ему теперь захотелось сыскать замысловатый игрушечный цирк, умещавшийся в ящике размером с крокетный. Он страстно желал его, — глаза, мозг, та часть мозга, что отвечает подушке большого пальца, живо помнили коричневых мальчиков-акробатов с усеянными блестками попками, элегантного грустного клоуна в брыжах и особенно трех полированного дерева слонов из величиной со щенка каждый и с такими податливыми сочленениями, что удавалось поставить глянцевую махину на переднюю ногу или прочно усадить на донце барабанчика, белого с красной каемкой. Менее двух недель прошло с последнего посещения Олега, когда мальчикам впервые позволили разделить общее ложе, и зуд их тогдашних шалостей и предвкушение новой такой же ночи мешалось у нашего юного принца со смущением, заставлявшим искать убежища в давних невинных забавах.

Наставник-англичанин, слегший с вывихнутой лодыжкой после пикника в Мандевильском лесу, не знал, куда задевался цирк: он посоветовал порыться в старом чулане в конце Западной Галереи. Туда и направился принц. Не в этом ли пыльном черном бауле? Баул выглядывал угрюмо и замкнуто. Дождь казался здесь более звучным из-за близости говорливой водосточной трубы. Может, в стенном шкапу? Нехотя повернулся позолоченный ключик. Все три полки и пространство под ними забила разная рухлядь: палитра с отбросами бессчетных закатов, чашка, полная фишек, слоновой кости спиночесалка, томик «Тимона Афинского» в 1/32 листа, перевод на земблянский дяди Конмаля, королевина брата, situla [игрушечное ведерко] с морского курорта, голубой бриллиант в шестьдесят пять карат, ненароком утащенный из шкатулки покойного отца и позабытый в этом ведерке среди камушков и ракушек, палочка мела и квадратная доска для какой-то давно забытой игры с рисунком переплетенных фигур. Он уже было намеревался порыться в другом углу шкапа, когда, дернув кусок черного бархата, угол которого необъяснимым образом зажало краешком полки, почувствовал, как что-то подалось, полка шевельнулась, отъехала, и под дальним ее обрезом обнаружилась в задней стене шкапа замочная скважина, и к ней подошел все тот же позолоченный ключик.

Нетерпеливо очистил он другие две полки от их содержимого (все больше старая одежда и обувь), снял их вместе со средней и отпер сдвижную дверь в задней стене шкапа. Слоны были забыты, он стоял на пороге потаенного хода. Глубокая тьма его была непроглядной, но что-то в ее пещерной акустике предрекало, прочищая гулкую глотку, удивительные дела, и принц поспешил в свои покои за парой фонариков и шагомером. Едва он вернулся туда, как появился Олег. В руке он держал тюльпан. Мягкие светлые локоны со времени последнего визита во Дворец остригли и юный принц подумал: Да, я знал, что он станет другим. Но стоило Олегу свести золотистые брови и наклониться, чтобы выслышать весть об открытии, как по шелковистому теплу заалевшего уха, по оживленным кивкам, одобрявшим предложенное исследование, принц понял, что никаких перемен в милом его соложнике не случилось.

И едва лишь уселся мосье Бошан за шахматы у постели мистера Кэмпбелла и протянул на выбор два кулака, юный принц увел Олега к волшебному шкапу. Настороженные, тихие, покрытые зеленой дорожкой ступени escalier dérobé вели в одетый камнем подземный ход. В сущности говоря, «подземным» он становился не сразу, но лишь когда, протиснувшись под юго-западным вестибюлем, соседствующим с чуланом, прошел под чередою террас, под строем берез королевского парка и после под троицей поперечных ему улиц – бульваром Академии, Кориолановой канавой и тупиком Тимона, еще отделявших его от конечной цели. К тому же угловатый его и загадочный курс приноравливался к различным строениям, вдоль которых он следовал, то используя бастион, к стене которого ход приникал, как карандаш к держалке карманного дневничка, то проскакивая погребами огромной усадьбы, в которых обилие темных проходов не позволяло приметить вороватого самозванца. Видимо, вмешательством лет установились между заброшенным ходом и миром снаружи – вследствие случайных потрясений в слоях окружающей кладки или слепых тычков самого Времени – некие тайные сношения, ибо там и сям лужица скверной канавной водицы обозначала присутствие рва, или же душный запах земли и дерна свидетельствовал о близости наклонного гласиса над головой, сообщая о чудодейственных проемах и провалах, столько глубоких и тесных, что даже мысль о них мутила рассудок, а в одном месте, где ход прокрадывался через цоколь огромной герцогской виллы с теплицами, знаменитыми коллекцией пустынной флоры, небольшая россыпь песку на миг изменила звучанье шагов. Олег шел впереди, его точеные ягодицы, обтянутые синей хлопковой тканью, двигались споро, казалось, это не факел, а блистание его возбужденного тела озаряет скачущим светом низкий потолок и тесные стены. За ним свет от электрического фонаря юного принца играл на полу, припудривая сзади голые Олеговы лягвии. Воздух был затхл и прохладен. Все дальше и дальше уводил фантастический подкоп. Вроде бы он начал постепенно подниматься. Шагомер отщелкал 1888 ярдов, когда они, наконец, добрались до окончания прохода. Волшебный ключик от шкапа в стене с уступчивой легкостью скользнул в замочную скважину вставшей у них на пути зеленой двери и завершил бы акт, обещанный столь приятным вниканием, когда бы внезапный взрыв звуков, донесшихся из-за двери, не принудил наших изыскателей остановиться. Два страшных голоса, мужской и женский, то страстно взвиваясь ввысь, то спадая к хриплым полутонам, бранились на гутнийском наречии, на котором изъясняются рыбари Западной Земблы. Омерзительные угрозы исторгали у женщины испуганный визг. Затем вдруг наступило молчание, в конце концов прерванное мужчиной, пробормотавшим короткую фразу небрежного одобрения («Отлично, душка» или «Лучше некуда»), и она показалась еще более жуткой, чем все ее предварявшее.

Не сговариваясь, принц и его друг в нелепом ужасе развернулись и понеслись с отчаянно бьющимся шагомером назад по дороге, которой пришли. «Уф!» – сказал Олег, едва легла на место последняя полка. «У тебя вся спина белая», – сказал принц, когда они поднимались наверх. Бошана и Кэмпбелла они застали доигрывавшими ничейную партию. Время шло к обеду. Мальчиков отправили мыть руки. Трепет недавнего приключения уже сменяло возбуждение иного рода. Они заперли дверь. Бежала вода из забытого крана. Исполнившись мужества, они стенали, как голубки.

Эти подробные воспоминания, структура и крапчатость которых взяли немалое время при описании их в настоящих заметках, единым мигом мелькнули в памяти короля. Кой-какие создания прошлого – и это одно из них – могут тридцать лет пролежать в дремоте, как пролежало это, пока их естественное обиталище претерпевает бедственные перемены. Вскоре после открытия потайного хода принц чуть не умер от воспаления легких. В бреду он то рвался за светлым кружком, шарившим по нескончаемому туннелю, то порывался притиснуть тающий задок своего светлого ангела. На два лета его услали на юг Европы, выздоравливать. Смерть пятнадцатилетнего Олега при крушении тобоггана помогла стушевать реальность их приключения. Для того, чтобы потайной ход снова стал реальным, понадобилась революция.

Убедясь, что трескучие шаги стражника удалились достаточно, король открыл шкап. Теперь он был пуст, лишь маленький томик, «Timon Afinsken», еще валялся в углу, да в нижнее отделение напиханы были какие-то старые спортивные тряпки и гимнастические туфли. Уже возвращались шаги. Он не посмел продолжить осмотр и снова замкнул дверцу шкапа.

Было очевидно, что потребуется несколько мгновений совершенной безопасности, чтобы с наименьшим шумом проделать последовательность мелких движений: войти в шкап, запереться изнутри, снять полки, открыть потайную дверцу, полки поставить

на место, скользнуть в зияющую тьму, потайную дверцу закрыть и замкнуть.

Он вышел в галерею, и стражник – довольно смазливый, но невероятно тупой экстремист – тотчас приблизился. «Я испытываю некоторую настоятельную потребность, Хэл, – сказал король. – Прежде чем лечь, я хочу поиграть на рояле.» Хэл (если его и вправду так звали) отвел его в музыкальную, где, как ведал король, Одон бдительно охранял зачехленную арфу. То был дородный рыжебровый ирландец с розовой лысиной, ныне прикрытой ухарским картузом русского мастерового. Король присел к «Бехштейну», и как только они остались наедине, коротко изъяснил ситуацию, беря между тем одной рукой звенящие ноты. «Сроду не слышал ни о каком проходе», – проворчал Одон с досадой шахматиста, которому показали, как можно было спасти проигранную им партию. Его Величество совершенно уверены? Его Величество уверены. И они полагают, что ход ведет за пределы Дворца? Определенно за пределы Дворца.

Как бы там ни было, Одон с минуты на минуту должен уйти, он нынче играет в «Водяном», чудной старинной мелодраме, которой не ставили, по его словам, лет уже тридцать. «Мне вполне хватает собственной мелодрамы», – заметил король. «Увы», – откликнулся Одон. Наморщив лоб, он медленно натягивал кожанку. Сегодня вечером ничего уже не сделаешь. Если он попросит коменданта оставить его в наряде, это лишь возбудит подозрения, а малейшее подозрение может стать роковым. Завтра он изыщет возможность обследовать этот новый путь спасения, если это путь, а не тупик. Может ли Чарли (Его Величество) пообещать, что не предпримет до того никаких попыток? «Но они подбираются все ближе и ближе», – сказал король, имея в виду грохот и треск, долетавшие из Картинной Галереи. «Да где там, – сказал Одон, – дюйм в час, ну от силы два. Мне пора», – добавил он, поведя глазами на важного и жирного стражника, шедшего ему на подмену.

В нерушимой, но совершенно ошибочной уверенности, что сокровища Короны скрыты где-то во Дворце, новое правительство подрядило чету заграничных спецов (смотри примечание к строке 681), чтобы те их отыскали. Спецы трудились вот уже несколько месяцев. Уже почти ободрав Палату Совета и кой-какие еще парадные покои, эта русская пара перенесла свою деятельность в ту часть галереи, где огромные полотна Эйштейна чаровали многие поколения земблянских принцев и принцесс. Не умея добиться сходства и потому мудро ограничившись распространенным жанром утешительного портрета, Эйштейн проявил себя выдающимся мастером trompe l'oeil в изображении разного рода предметов, окружавших его почтенные мертвые модели, заставляя их выглядеть еще мертвее рядом с палым листом или полированной панелью, которые он воспроизводил с такой любовью и тщанием. Но помимо того, в иных из этих портретов Эйштейн прибегал к довольно странному трюку: меж украшений из дерева или шерсти, золота или бархата он, бывало, вставлял одно, и в самом деле выполненное из материала, который в прочих местах картины передавала живопись. В этом приеме, имевшем очевидной целью обогатить эффекты его зримых и осязаемых достижений, было все же нечто низкое, он обнаруживал не только явный изъян в даровании Эйштейна, но и тот простенький факт, что «действительность» не является ни субъектом, ни объектом истинного искусства, которое творит свою, особливую «действительность», ничего не имеющую общего с «действительностью», доступной общинному оку. Но вернемся к нашим умельцам, чье постукивание приближалось вдоль галереи к изгибу, у которого стояли, прощаясь, король и Одон. В этом месте висел громадный портрет, запечатлевший прежнего хранителя казны, дряхлого графа Ядрица, написанного опирающимся на чеканный с гербом ларец, одну из сторон которого, обращенную к зрителю, образовывала продолговатая накладка из настоящей бронзы, а на написанной в перспективе затененной крышке ларца художник изобразил блюдо с прекрасно выполненной двудольной, похожей на человеческий мозг половинкой ядра грецкого ореха.

«Хорошенький их ожидает сюрприз», – пробормотал Одон на своем родном языке, пока жирный страж проделывал в углу положенные, довольно утомительные процедуры, хлопая об пол ружейным прикладом.

Можно простить двум советским профессионалам предположение, что за настоящим металлом найдется и настоящий тайник. В эту минуту они решали: отодрать ли накладку или снять картину, мы же позволим себе слегка забежать вперед и уверить читателя, что тайник – продолговатая ниша в стене – там, и верно, имелся, но впрочем не содержал ничего, кроме обломков ореховой скорлупы.

Где-то поднялся железный занавес, открыв расписной, с нимфами и ненюфарами.

«Завтра я принесу вам флейту», – со значением крикнул по-земблянски Одон и улыбнулся, уже затуманиваясь, уже теряясь в дали своего феспианского мира.

Жирный стражник отвел короля назад в его комнату и сдал смазливому Хэлу. Половина десятого. Король ложится в постель. Лакей, нервозный мерзавец, принес всегдашнее молоко и ночную стопочку коньяку и вынес шлепанцы и халат. Уже он вышел из комнаты, как король приказал ему выключить свет, отчего вернулась обратно рука и пясть в перчатке нашарила и повернула выключатель. Дальняя молния еще трепетала на оконном стекле. В темноте король прикончил питье и поставил пустую стопку на столик, и она, приглушенно звякнув, чокнулась со стальным электрическим фонарем, припасенным предусмотрительными властями на случай, если выключат электричество, что в последнее время проделывали частенько.

Ему не спалось. Провернув голову, он глядел на полоску света под дверью. В конце концов, дверь тихонько приотворилась и просунулся внутрь молодой красивый тюремщик. Шальная мыслишка сплясала в мозгу короля, однако молодой человек всего лишь хотел предупредить узника, что намерен присоединиться к однополчанам, играющим в соседнем дворе, и что дверь он до своего возвращенья запрет. А ежели королю что-то потребуется, пускай покричит в окно. «И долго тебя не будет?» – спросил король. «Yeg ved ik» [Не знаю], – ответил стражник. «Доброй ночи, злой мальчик», – сказал король.

Он обождал, пока силуэт стражника возникнет в свете двора, где прочие фуляки радостно приняли его в игру. Тогда, в безопасной тьме король покопался в одеждах на донышке шкапа и натянул поверх пижамы нечто, на ощупь сошедшее за лыжные брюки, и что-то еще, пахнувшее старым свитером. Дальнейшие раскопки наградили его парой теннисных туфель и шерстяной шапкой с наушниками. И король приступил к тому, что уже отрепетировало воображение. Когда он снимал вторую полку, что-то, мелко стукнув, упало, он догадался – что – и подобрал, пусть будет талисманом.

Нажать кнопку фонарика, не погрузившись вполне, он не посмел, не мог он позволить себе и шумно споткнуться, а потому одолел восемнадцать незримых ступеней более или менее сидя, будто пугливый новичок, что на заду съезжает по мшистым камням Маунт-Крона. Тусклый свет, наконец испущенный фонарем, был теперь его драгоценнейшим спутником, – дух Олега, призрак свободы. Он ощущал смесь восторга и тревоги, род любовной радости, в последний раз испытанный им в день коронации, когда при подходе к трону несколько тактов сочной, сильной и полнозвучной музыки (ни автора ее, ни физического источника он так никогда и не установил) поразили его слух, и он вдохнул аромат помады хорошенького пажа, склонившегося, чтобы смахнуть с ножной скамейки розовый лепесток, и в свете его фонаря король ныне увидел себя облаченным в уродливо яркий багрец.

Потайной ход, казалось, еще более опустился. Вторжение окружения стало намного заметней, чем в день, когда двое подростков, исследуя ход, дрожали в безрукавках и шортах. Лужа переливчатой ровной воды удлинилась, вдоль ее берега брела, словно хромец со сломанным зонтом, больная летучая мышь. Памятная россыпь цветного песка хранила тридцатилетней давности рубчатый оттиск олеговых башмаков, бессмертный, как след ручной газели египетского ребенка, тридцать столетий назад оставленный на синеватых нильских кирпичах, подсыхавших на солнце. А там, где ход прорезал фундамент музея, неведомо как очутилась сосланная и забытая безголовая статуя Меркурия, сопроводителя душ в Нижний Мир, и треснувший кратер с двумя черными фигурками, играющими под черной пальмой в кости.

В последнем колене прохода, упиравшемся в зеленую дверь, валялись грудой какие-то хлипкие доски, беглец, спотыкаясь, прошел по ним. Он отпер дверь и, потянув ее, застрял в тяжелой черной завесе. Едва зарылся он в ее вертикальные складки, ища какого-либо прогала, как слабый фонарь закатил беспомощное око и угас. Он разжал ладонь, и фонарик ухнул в глухую пустоту. Король вонзил обе руки в глубокие складки пахнущей шоколадом ткани и, несмотря на неверность и опасность этой минуты, его движение физически, если так можно выразиться, напомнило ему о смешных, сперва разумных, а после отчаянных колыханиях театрального занавеса, сквозь который тщетно пытается прорваться занервничавший актер. Это гротескное ощущение – и в такую дьявольскую минуту – разрешило тайну прохода еще до того, как он все же выбрался из завесы в тускло освещенную, полную тусклого хлама lumbarkamer, бывшую некогда гримерной Ирис Акт в Королевском театре. Она так и осталась тем, чем стала после смерти актрисы: пыльной дырой, сообщающейся с подобием зальчика, где иногда околачивались в дни

репетиций актеры. Куски мифологических декораций, прислоненных к стене, наполовину скрыли большое фото короля Тургиса в бархатной раме, — таким он был в ту пору, когда проход в милю длиной служил экстравагантным пособником его свиданий с Ирис.

Беглец, облаченный в багрец, проморгался и вышел в зальце. Двери многих гримерных выходили сюда. Где-то за ними взревела буря оваций и стихла. Иные, далекие звуки обозначили начало антракта. Несколько костюмированных исполнителей прошло мимо короля, в одном из них он признал Одона. На Одоне был бархатный камзол с медными пуговицами, бриджи и полосатые чулки — воскресный наряд гутнийского рыбаря, — кулак все еще сжимал картонный кинжал, которым он только что разделал свою милашку. «Господи, помилуй», — сказал он, узрев короля.

Выхватив их кучи фантастических одеяний два плаща, Одон подтолкнул короля к лестнице, ведущей наружу. Одновременно в кучке людей, куривших на лестничной площадке, произошло смятение. Старый интриган, сумевший, умаслив различных чинуш-экстремистов, добиться поста главного режиссера, ткнул в короля дрожащим перстом, но будучи ужасным заикой, так и не смог выдавить слов гневного узнавания, от которых клацали его фальшивые челюсти. Король попытался натянуть козырек шапки на лицо, — и едва не упал на нижних ступенях узенькой лестницы. Снаружи лил дождь. Лужа отразила карминный его силуэт. Несколько машин стояло в поперечном проулке. Здесь Одон обыкновенно оставлял свой гоночный автомобиль. На один страшный миг ему показалось, что машину угнали, но тут же, с исключительным облегчением он вспомнил, что нынче поставил ее на соседней улице. (Смотри интересные заметки в строке 149.)

28
Строки 131–133: Я тень, я свиристель, убитый влет поддельной далью, влитой в переплет окна

Здесь вновь подхвачена изысканная мелодия двух открывающих поэму строк. Повторение этой протяжной ноты спасено от монотонности тонкой вариацией в 132-й строке, где обратный ассонанс между первым ее словом и рифмой дарит нашему уху своеобразное томное наслаждение, подобно отзвуку полузабытой грустной песни, в напеве которой значения больше, чем в словах. Ныне, когда «поддельная даль» и в самом деле исполнила ужасное ее назначение, и поэма, оставленная нам, — это единственная уцелевшая «тень», мы невольно прочитываем в этих стихах нечто большее простой игры отображения и дрожи миража. Мы ощущаем, как судьба в обличии Градуса милю за милей пожирает «поддельную даль», лежащую между ним и несчастным Шейдом. Тоже и ему предстояло в слепом и упорном полете встретиться с отражением, что размозжит его на куски.

И хотя Градус пользовался всеми доступными средствами передвижения — наемными автомобилями, пригородными поездами, эскалаторами, аэропланами, — почему-то мысленно видишь его и мышцей рассудка ощущаешь как бы вечно несущимся по небу с черным чемоданом в одной руке и неряшливо свернутым зонтом в другой, в долгом скольжении над морем и сушей. Сила, что переносит его, — это волшебное действие самой поэмы Шейда, само устройство и ход стиха, мощный двигатель ямба. Никогда прежде неумолимость поступи рока не обретала столь ощутимой формы (иные образы приближения этого трансцендентального шатуна можно найти в примечаниях к строке 17).

29
Строка 137: лемниската

«Уникурсальная бициркулярная кривая четвертого порядка», — сообщает мой старый усталый словарь. Я не способен понять, что тут может быть общего с ездой на велосипеде, и подозреваю, что фраза Шейда не имеет сущностного смысла. Как многие поэты до него, он, видимо, поддался очарованию обманчивой эвфонии.

Вот вам разительный пример: что может быть благозвучней и ослепительней, что более способно породить представление о звуковой и пластической красоте, чем слово coramen? Между тем, оно обозначает попросту сыромятный ремень, которым земблянский пастух торочит жалкую свою снедь и лоскутное одеяло к крупу самой смирной из своих коров, когда перегоняет их на vebodar (горный выпас).

30
Строка 143: заводная кукла

Мне повезло, я видел ее! Как-то майским или июньским вечером я заглянул к моему другу, чтобы напомнить о подшивке памфлетов, написанных его дедушкой, чудаковатым деревенским священником, хранившейся, как он однажды проговорился, где-то в подвале. Я застал его в мрачном ожидании неких людей (кажется, сотрудников кафедры с женами), которые должны были явиться для официального обеда. Он охотно свел меня в подвал, но, порывшись в пыльных кипах книг и журналов, сказал, что придется поискать сборник как-нибудь в другой раз. Тут я и увидел ее на полке между подсвешником и непробудно уснувшим будильником. Он, подумав, что я мог подумать, что она принадлежала его покойной дочери, поспешно пояснил, что ей столько же лет, сколько ему. То был раскрашенный жестяной негритенок со скважинкой в боку, практически лишенный ширины, — просто два более-менее слипшихся профиля, тачка его вся покорежилась и поломалась. Сдувая пыль с рукава, Шейд сказал, что хранит эту игрушку как своего рода memento mori, — однажды в детстве, во время игры с этой куклой, у него приключился странный припадок. Голос Сибил, донесшийся сверху, прервал нашу беседу. Ну что же, теперь ржавая заводная кукла заработает снова, потому что ключ от нее у меня.

31
Строка 149: нога средь вечных льдов

Хребет Бера, суровая двухсотмильная горная гряда, немного не достигающая северной оконечности Земблянского полуострова (у самого своего основания отрезанного несудоходным проливом от безумного материка), разделяет его на две части — цветущую восточную область с Онгавой и другими городами, такими как Эроз или Гриндельводы, и гораздо более узкую западную полосу с причудливыми селениями рыбарей и чудесными береговыми курортами. Два побережья соединяются двумя асфальтированными трактами: тот, что постарее, уклонившись от трудностей, проходит вначале восточными склонами на север к Одивалле, Полюбу и Эмбле и лишь затем обращается к западу в крайней северной точке полуострова; а что поновее — замысловатая, петлистая, дивно нивеллированная дорога, пересекает хребет с востока на запад, начинаясь чуть севернее Онгавы и проходя к Брегбергу, в туристских проспектах ее именуют «живописным маршрутом». Несколько троп в разных местах проникают в горы и идут к перевалам, из которых ни один не поднимается выше пяти тысяч футов, — отдельные же вершины возносятся еще двумя тысячами футов выше, сохраняя свои снега и в середине лета, с одной из них — с самой высокой и трудной, с Маунт-Глиттернтин, — в ясные дни различается далеко на востоке, за заливом Сюрприза, смутное марево, которое кое-кто называет Россией.

Бежав из театра, друзья намеревались проехать двадцать миль на север по старому тракту и повернуть налево, на пустынный проселок, который со временем привел бы их к главному оплоту карлистов — к баронскому замку в еловом бору на восточном склоне хребта Бера. Однако бдительный заика разразился-таки припадочной речью, судорожно заработали телефоны, и едва беглецы одолели дюжину миль, как замешкавшийся костер во тьме перед ними, на пересечении старого тракта с новым, выдал заставу, — спасибо и на том, что она отменила оба маршрута зараз.

Одон развернулся и при первой возможности уклонился на запад, в сторону гор. Узкая и ухабистая дорога, поглотившая их, проскочила сквозь дровяной сарай, вынырнула у потока, пересекла его, гулко хлопая досками, и тут же выродилась в утыканную пеньками просеку. Они очутились на опушке Мандевильского леса. Гром рокотал в ужасном коричневом небе.

Несколько секунд оба стояли, глядя вверх. Ночь и деревья укрыли подъем. С этого места умелый альпинист мог к рассвету добраться до Брегбергского перевала, — если ему повезет, пробив черную стену леса, выбраться на проторенную тропу. Они решили расстаться: Чарли двинется вперед к далекому сокровищу приморской пещеры, Одон же останется сзади, для приманки. Уж он им устроит веселую гонку с сенсационными переодеваниями, сказал он, а заодно свяжется со всей остальной командой. Матерью его была американка из Нью-Вая, что в Новой Англии. Уверяли, будто она — первая в мире женщина, стрелявшая волков и, полагаю, других животных тоже, с самолета.

Рукопожатие, блеск молнии. Король погрузился в сырые темные заросли орляка, и

запах и кружевная упругость, и сочетание уступчивой поросли с уступистой почвой напомнили ему о тех временах, когда он выезжал сюда на пикники – в иную часть леса, но на этот же склон горы, повыше, в валунные пустоши, на одной из которых мистер Кэмпбелл подвернул однажды лодыжку и двум здоровенным прислужникам пришлось тащить его, дымящего трубкой, вниз. В целом, довольно скучные воспоминания. Да не в этих ли местах располагался охотничий домик – сразу за водопадом Силфхар? Отличная была охота по тетеревам и вальдшнепам – занятие, обожаемое покойной матушкой его, королевой Блендой, твидовой королевой наездников. Теперь, как и тогда, дождь закипал в черных деревьях, и остановившись, можно было услышать, как ухает сердце, и ревет вдалеке поток. Который час, kot or? Он надавил кнопочку репетира, и тот, ничтоже сумняся, прошипел и отзвякал десять часов двадцать одну минуту.

Всякий, кто пытался в темную ночь взбираться крутым склоном сквозь пелену недружелюбных растений, знает, какой невероятной сложности задача стояла перед нашим монтаньяром. Более двух часов бился он с ней, запинаясь о пни, срываясь в овраги, цепляясь за незримые ветви, воюя с еловой дружиной. Он потерял плащ. Он помышлял уже, не лучше ли будет зарыться в мох и ждать наступления дня. Внезапно затеплилась впереди точечка света, и вскоре он уже ковылял по скользкому, недавно выкошенному лугу. Залаял пес. Камень покатился из-под ноги. Он понял, что близко горная bore (изба). Он понял также, что свалился в глубокую слякотную канаву.

Заскорузлый мужик и его пухлая женушка, которые будто персонажи старой и скучной сказки приютили измокшего беглеца, сочли его отставшим от своих чудаком-туристом. Ему позволили обсушиться в теплой кухне и накормили его баснословным ужином: сыр, хлеб, кружка горного меду. Чувства его (благодарность, истома, приятная теплота, сонливость и прочие) слишком понятны, чтобы стоило их описывать. Корни лиственницы потрескивали в пламени очага, и все тени потерянного им королевства сошлись поиграть вкруг его качалки, пока он задремывал между огнем и мерцающим светом глиняной лампадки, остроклювой, вроде римского светильника, висевшей над полкой, где убогие бисерные безделушки и обломки перламутровой раковины обратились в крохотных солдат, вьющихся в отчаянной схватке. На заре, при первом звоне коровьего колокольца, он пробудился с ломотою в шее, отыскал снаружи хозяина – в сыром углу, отведенном для малых естественных надобностей, – и попросил доброго grunter'a (горного селянина) показать ему кратчайший путь к перевалу. «Гарх, лежебока, – гаркнул хозяин, – вставай!»

Грубая лестница вела на сеновал. Мужик положил заскорузлую руку на заскорузлые поручни и снова гортанно воззвал в темноту: «Гарх! Гарх!». Имя это, хоть и даваемое лицам обоего пола, является в строгом смысле мужским, и король ожидал увидеть на сеновале голоногого юного горца, похожего на смуглого ангела. Вместо него показалась растрепанная деваха, одетая, впрочем, в мужскую рубаху, доходившую ей до розовых икр, и в пару несоразмерных бахилок. Мгновенье спустя, словно в цирковом номере с переодеванием, она появилась снова, – по-прежнему прямо и вольно висли желтоватые пряди, но грязную рубаху заменил грязный же свитер, а ноги укрылись в вельветовых брюках. Ей велено было свести чужака в такое место, откуда он сможет легко достичь перевала. Сонное и недовольное выражение мутило всякую привлекательность, какой могло на взгляд тутошних пастухов обладать ее курносое и круглое личико, впрочем, она с достаточной охотой подчинилась отцовой воле. Его жена, напевая старинную песню, возилась с котлом и сковородой.

Перед уходом король попросил хозяина, коего звали Грифф, принять старинный золотой, оказавшийся в кармане его, – то были все его деньги. Грифф наотрез отказался и, продолжая протестовать, углубился в сложное дело отмыкания и съема засовов с двух-трех тяжелых дверей. Король взглянул на старуху, поймал одобрительное подмигиванье и положил незвучный дукат на очаг, рядом с морской розоватой раковиной, примостясь к которой стояла цветная картинка, изображающая элегантного гвардейца и его декольтированную жену – Карла Излюбленного, каким он был с лишком лет двадцать назад, и молодую королеву, разгневанную девственницу с черными, как смоль, волосами и льдисто-голубыми глазами.

Звезды еще только начали выцветать. Он шел за девушкой и за счастливой овчаркой вверх по заросшей тропинке, блестевшей рубиновыми слезами в театральном сиянии горного утра. Сам воздух казался подцвеченным и стеклянистым. Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на

противоположном обрыве там и сям между верхушками росших понизу елей летучая паутина солнечных лучей уже заплеталась в узоры тепла. За следующим поворотом это тепло обволокло беглеца, и черная бабочка опустилась, танцуя, на каменистую осыпь. Тропинка еще сузилась и постепенно исчезла среди толчеи валунов. Девушка указала на склон за ними. Он кивнул. «Ступай теперь домой, – сказал он. – Я отдохну здесь и дальше пойду один.»

Он опустился на траву близ переплетенного эльфина леса и вдохнул яркий воздух. Запыхавшийся пес улегся в его ногах. Гарх улыбнулась, впервые. Земблянские горянки – это, как правило, несложные механизмы для утоления неприхотливой похоти, и Гарх исключения не составляла. Едва присев подле него, она пригнулась и через лохматую голову стянула плотный серый свитер, открывши голую спину и blancmange грудей и обдав смущенного спутника едкими запахами неухоженной женственности. Она намеревалась раздеваться и дальше, но он жестом остановил ее и поднялся. Он поблагодарил ее за доброту. Он потрепал невинного пса и, не оборачиваясь, пружинистой поступью зашагал вверх по травянистому склону.

Еще посмеиваясь девичьей незадаче, подошел он к огромным камням, сгрудившимся вокруг озерца; множество лет назад он пару раз добирался досюда со скалистого склона Кронберга. Теперь он приметил проблеск воды за естественной аркой, шедевром эрозии. Арка оказалась низковата, пришлось пригнуться, чтобы спуститься к воде. В этом влажном тинтарроне он увидал свое отражение, но странно, однако, – из-за того, что на первый взгляд показалось оптическим обманом, это отражение расположилось не у ног его, но много дальше, и сверх того, ему сопутствовало покоробленное рябью отражение скального выступа, торчавшего гораздо выше теперешнего его местонахождения. В конце концов, чары, сотворившие этот образ, не выдержали натяжки, и образ распался, двойник же в красном свитере и красной шапочке поворотился и пропал, в то время как он, наблюдатель, оставался недвижим. Приблизясь тогда к самой кромке воды, он встретил здесь настоящее отражение, крупнее и отчетливее того, что его обмануло. Он обогнул озеро. Высоко в темно-синем небе торчала пустая скала, на которой только что стоял обманный король. Дрожь «эльфобоса» (неодолимого страха, насылаемого эльфами) пробежала у него между лопаток. Он прошептал привычную молитву, перекрестился и решительно зашагал к перевалу. На высшей точке ближнего гребня стоял steinmann [груда камней, воздвигнутая в память о восхождении], напяливший в честь его шлем из красной шерсти. Он повлачился дальше. Но сердце его обратилось в конус боли, тыкавший снизу в горло, и чуть погодя пришлось остановиться, чтобы уяснить положение и решить, карабкаться ли ему по сорному рыхлому склону, что поднимался прямо перед ним, или же уклониться вправо вдоль полоски травы, украшенной горечавкой и вьющейся меж лишаистых скал. Он выбрал второй путь и в должное время достиг перевала.

Огромные сколки скал украшали обочину дороги. К югу nippern [куполовидные холмы, или «дымники»] разламывались каменными и травяными скатами на плоскости света и тени. На север уплывали зеленые, серые, синие горы – Фалькберг под капором снега, Мутраберг с опахалом обвала, Паберг [Павлинья гора] и другие, – разделенные тесными дымчатыми долинами с прослойками хлопковых облачных клочьев, как бы уложенных между уходящими вдаль грядками гор, чтобы не дать их отрогам поцарапать друг дружку. За ними в окончательной синеве маячила Маунт-Глиттернтин, зубчатый обрывок сверкающей станиоли, а южнее нежная дымка облекала все более дальние кряжи, бесконечным строем, один за другим проходящие всеми ступенями исчезновения.

Он достиг перевала, он одолел гравитацию и гранит, но самый опасный отрезок пути лежал еще впереди. На западе вереница вересковых склонов вела к блистающему морю. До этой минуты между ним и заливом стояла гора, теперь же он был открыт дуговому сиянию бухты. Он начал спускаться.

Спустя три часа, он уже шел по ровной земле. Две старухи, копавшиеся в огороде, разогнулись, как в замедленной съемке, и уставились ему вслед. Он миновал сосновые рощи Боскобеля и подходил к причалам Блавика, когда с поперечной дороги поворотила и притормозила с ним рядом черная полицейская машина. «Шутка зашла чересчур далеко, – произнес водитель. – Сотня скоморохов уже сидит в Онгавской тюрьме и бывший король наверняка с ними. А в нашу кутузку новые короли не поместятся. Следующего придется кокнуть на месте. Ну, как твое настоящее имя, Чарли?» «Я англичанин. Я турист», – сказал король. «Ладно, во всяком случае, снимай эту красную fufu. И шапку. Давай их сюда.» И швырнув одежду на заднее сиденье, он уехал.

Король отправился дальше. Верх его голубой пижамы, заправленный в лыжные брюки, вполне мог сойти за новомодную сорочку. В левом ботинке застрял камушек, но он слишком устал, чтобы им заниматься. Он узнал приморский ресторан, где много лет назад завтракал инкогнито с двумя веселыми, весьма веселыми матросами. Несколько увешанных оружием экстремистов пили пиво на окаймленной геранью веранде между обычными курортниками, из которых иные усердно писали открытые письма далеким друзьям. Рука в перчатке, проткнувши герань, подала королю красочную открытку с надписью: «Следуйте к П.Р. Bon voyage!». Изображая праздного гуляку, он дошел до конца набережной.

Стоял прекрасный, немного ветренный полудень, и светлая пустота западного горизонта притягивала нетерпеливое сердце. Король, достигший ныне самой опасной точки своего путешествия, осмотрелся, тщательно вглядываясь в немногочисленную гуляющую публику, пытаясь понять, кто из них может оказаться переодетым агентом полиции, готовым наброситься на него, едва он перемахнет парапет и направится к Пещерам Риппльсона. Одинокий парус, окрашенный в королевский багрец, пятнал морские просторы так называемым «человеческим содержанием». Нитра и Индра (что означает «нутряной» и «наружный»), два темных островка, казалось, переговаривались на потаенном арго, с променада их фотографировал русский турист, грузный, с множеством подбородков и с мясистым генеральским загривком. Его увядшая жена в цветастой развивающейся écharpe произнесла на певучем московнике: «Всякий раз, что вижу такого калеку, вспоминаю мальчика Нины. Ужасная вещь война.» «Война? — переспросил супруг. — Это, надо быть, взрыв на Стекольных заводах в 51-м, а не война.» Они медленно прошли мимо короля в том направлении, по которому он пришел. На скамейке у троттуара сидел лицом к морю мужчина, прислонивши пообок свои костыли и читая онгавскую «Post» с изображенным на первой странице Одоном в мундире экстремистов и с Одоном же в роли Водяного. Невероятно, но дворцовая стража теперь только и обнаружила их единство. Ныне за его поимку сулили почтенную сумму. Волны размеренно шлепали в гальку. Лицо читателя газеты было жестоко изуродовано недавно упомянутым взрывом, и все чудеса пластической хирургии имели единственным результатом жуткую мозаичность тканей, казалось, части этого узора и кое-какие черты изменяются, сливаясь и разделяясь подобно тому, как в кривом зеркале плавают по-отдельности щеки и подбородки.

Короткий участок пляжа между рестораном в начале променада и гранитными скалами в конце его был почти пуст: далеко влево троица рыбарей грузила в весельный бот бурый от водорослей невод, да прямо под пешеходной дорожкой сидела на гальке старушка в платье горошком и в колпаке из газеты («Экс-короля заметили») и вязала, повернувши к улице спину. Перебинтованные ноги ее лежали в песке, сбоку валялись войлочные шлепанцы, с другого — клубок алой шерсти, время от времени, незабываемым локтевым рывком земблянской вязальщицы она поддергивала нить, отчего клубок вертелся, высвобождая пряжу. Да еще девчушка в раздувающемся платье неуклюже, но ретиво щелкала роликами по троттуара. Способен ли карлик-полицейский изобразить девчонку с косичками?

Ожидая, пока удалится русская чета, король остановился у скамьи. Человек с мозаичным лицом сложил газету и за секунду до того, как он заговорил, король понял, что это Одон. «Все, что удалось соорудить на скорую руку, — сказал Одон, оттянув щеку, чтобы показать радужную полупрозрачную пленку, липнувшую к лицу, изменяя его черты в соответствии с силой натяжения. — Воспитанный человек, — прибавил он, — как правило, не проявляет чрезмерного интереса к чужому уродству.» «Я высматривал шпиков», — сказал король. «Они целый день патрулировали набережную, — сказал Одон. — Теперь обедают.» «Пить хочется, и есть», — сказал король. «В лодке кой-что найдется. Пусть отойдут эти русские. Ребенок не в счет.» — «А женщина на берегу?» — «А это молодой барон Мандевиль, — помните, та дуэль в прошлом году? Ну, пошли.» — «А его мы с собой не возьмем?» — «Не пойдет, обзавелся женой и ребенком. Шагайте, Чарли, шагайте, Ваше величество.» — «В день коронации он был моим тронным пажом.» Так, беседуя, добрались они до Пещер Риппльсона. Я уверен, что читателя порадуют эти заметки.

32
Строка 162: чей язык однажды и т. д.

На удивление окольный способ описания робкого поцелуя селянки, впрочем, весь этот пассаж грешит некоторой искусственностью. Мое отрочество было слишком

здоровым и счастливым, чтобы вместить что-либо, хотя отдаленно напоминающее обморочные припадки, испытанные Шейдом. Должно быть, он страдал эпилепсией в умеренной форме, крушеньями нервных путей, происходившими всегда в одном и том же месте, на одном закруглении рельсов, ежедневно в течение нескольких недель, покамест природа не завершила ремонтных работ. Кто сможет забыть лоснящиеся от пота добродушные лица медногрудых железнодорожных рабочих, которые, опершись на лопаты, провожают глазами окна экспресса, осторожно скользящего мимо?

33
Строка 167: Был час и т. д.

Поэт начал Песнь вторую (на четырнадцатой карточке) 5 июля, в свой шестидесятый день рождения (смотри примечание к строке 181: «сегодня»). Виноват, — заменить на шестьдесят первый.

34
Строка 169: о бытии загробном

Смотри примечание к строке 549.

35
Строка 171: Злодейский заговор

После побега короля экстремисты почти целый год оставались при убеждении, что ни он, ни Одон не покинули Земблы. Эту ошибку можно приписать лишь фатальной тупости, сквозящей красной нитью и в самых толковых тираниях. Воздухоплавательные снаряды и все, с ними связанное, поистине колдовским туманом обнесли разумение наших новых правителей, которым добродушная История поднесла вдруг целый короб этих стрекотливых и егозливых безделиц, дабы им было, с чем цацкаться. Чтобы важный беглец, удирая, и не исполнил воздушного номера, — это им представлялось немыслимым. Через две минуты после того, как король и актер отгремели по черной лестнице Королевского театра, каждое крыло на земле и в воздухе оказалось уже сочтено, — такова была распорядительность правительства. В несколько следующих недель ни единый из частных или гражданских самолетов не получил разрешения на взлет, а досмотр транзитных стал до того долог и строг, что международные авиалинии решили отменить посадки в Онгаве. Имелись и жертвы. С энтузиазмом прострелили, к примеру, малиновый воздушный шар, отчего воздухоплаватель (известный метеоролог) утонул в заливе Сюрприза. Пилот с базы в Лапландии, совершая спасательный полет, заблудился в тумане, и земблянские истребители так его шуганули, что он поспешил приземлиться прямо на вершину горы. Всему этому можно отыскать некоторые извинения. Иллюзию пребывания короля в земблянской глуши поддерживали заговорщики-роялисты, завлекавшие целые полки на прочесывание гор и лесов сурового нашего полуострова. Правительство с уморительной старательностью исследовало личности сотен притворщиков, переполнивших тюрьмы страны. Большинству из них удалось отшутиться, некоторые, увы, погибли. И вот весной следующего года ошеломительная весть явилась из-за границы. Земблянский актер Одон ставит фильму в Париже!

На сей раз вывод сделали верный: раз Одон сбежал, значит сбежал и король. На экстренном заседании правительства экстремистов в мрачном молчании передавался из рук в руки номер французской газеты с заголовком: «L'ex-roi de Zembla est-il a Paris?». Скорее мстительное отчаяние, чем соображения государственной стратегии, побудило тайную организацию, которой Градус был незначительным членом, составить план умерщвления царственного беглеца. Злобные головорезы! Как не сравнить их с бандитами, изнывающими от желания растерзать недосягаемого для них человека, чьи показания пожизненно упрятали их за решетку. Известны случаи, когда такие каторжники впадали в исступление при мысли, что их неуязвимая жертва, самые тестикулы которой они мечтали бы вывернуть и разодрать своими когтями, сидит себе на солнечном острове, пируя под перголой, или в безмятежной безопасности ласкает, зажав между колен, какое-нибудь юное и прелестное существо, — и смеется над ними! Надо думать, что не может быть ада ужаснее немощного гнева, который они испытывают, когда осознание этого безжалостного и сладкого веселья настигает их и затопляет, медленно размывая звериные их мозги. Группа особенно истовых экстремистов, называющих себя «Тенями», сошлась и поклялась загнать и убить короля. В известном смысле, они представляли собой

теневое подобие карлистов, и кой у кого из Теней, точно, имелись двоюродные, а то и родные братья в стане приверженцев короля. Происхождение обоих сообществ, несомненно, восходит к разного рода дерзостным ритуальным студенческим братствам и воинским клубам, а их развитие осмысливается в категориях причуд и антипричуд, но если в карлизме объективный историк отметит ореол романтики и благородства, то теневая его группировка поражает как нечто явно готически-гнусное. Гротескная фигура Градуса – помесь рака с нетопырем – была не многим нелепее прочих Теней, таких, например, как Нодо, единокровный братец Одона, эпилептик и мелкий карточный плут, или дебильный Мандевиль, потерявший ногу в потугах изготовить антиматерию. Градус давно уже состоял в разных хилых левацких организациях. Он никого пока не убил, хоть не раз за свою серенькую жизнь бывал к этому близок. Как он впоследствии уверял, его назначили выследить и убить короля, лишь потому, что такая ему выпала карта, – не забудем, однако, что тасовал и сдавал эти карты Нодо. Возможно, тайным мотивом такого выбора явилось иноземное происхождение нашего деятеля, ибо не должно сынам Земблы пятнать себя бесчестьем действительного цареубийства. Мы хорошо представляем себе эту сцену: жуткий неоновый свет лаборатории в пристройке Стекольных заводов, где в ту ночь сошлись Тени, водка, которую они хлещут из пробирок, пиковый туз на кафельном полу, множество рук, шлепающих Градуса по покатой спине, и темное волнение этого человека, принимающего вероломные поздравления. Мы относим этот судьбоносный момент к 00 часам 05 минутам 2 июля 1959 года, – что оказалось и датой, которой невинный поэт пометил первые строки своей последней поэмы.

Годился ли Градус для этой работы? И да, и нет. Когда-то в ранней юности, работая рассыльным в большой и унылой фирме, производившей картонную тару, он под рукой помогал товарищам учинить покушение на местного паренька, которого им захотелось избить, потому что он выиграл на ярмарке мотоцикл. Юный Градус добыл топор и руководил порубкой дерева: дерево однако завалилось неправильно, не вполне перекрыв собою проселок, по которому в густеющих сумерках разъезжала их беспечная жертва. Бедный парнишка, со свистом летевший туда, где скрючились хулиганы, был худощавым, хрупким на вид лотаринжцем, следовало и впрямь обладать немалой подлостью, чтобы позавидовать его безобидным утехам. Как это ни удивительно, будущий цареубийца уснул в канаве и потому пропустил короткую стычку, во время которой лихой лотаринжец вышиб кастетом дух из двух нападавших, а третьего переехал, покалечив его на всю жизнь.

Градус так никогда и не добился настоящего успеха в стекольном деле, к которому вновь и вновь обращался в промежутках между виноторговлей и печатаньем прокламаций. Он начал с изготовления «демонов Декарта» – бесенят из бутылочного стекла, пляшущих в трубочках с метилатом, которыми в Пеструю неделю так бойко торгуют на бульварах. Работал он также плавильщиком и халявщиком на государственных предприятиях – и, сдается мне, несет кой-какую ответственность за замечательно безобразные красно-янтарные окна большого публичного писсуара в буйной, но красочной Каликсгавани, где гуляют матросы. По его уверениям, это он усилил блеск и трескливость feuilles-d'alarme, с помощью которых отпугивают птиц огородники и виноградники. Я расставил заметки, относящиеся до него, в таком порядке, чтобы первая (смотри примечание к строке 17, содержащее начальный эскиз его предприятий) была бы и самой туманной, а последующие отвечали различным градациям ясности, достигаемым по мере того, как все точнее отградуированный Градус приближается к нам в пространстве и времени.

Простенькие рычаги и пружины порождали внутренние движения нашего механического человека. Мы вправе назвать его пуританином. Одна основная антипатия, пугающая в ее простоте, владела его скушной душой: он ненавидел несправедливость и обман. Он ненавидел их союз, – они всегда появлялись вместе, – с деревянной страстностью, не имевшей слов для своего выражения, да и не нуждавшейся в них. Подобная нетерпимость заслуживала бы похвалы, не будь она побочным продуктом его несусветной тупости. Он называл несправедливостью и обманом все, превосходившее его разумение. Он поклонялся общим местам и делал это с педантичным апломбом. Общее шло от бога, отдельное – от лукавого. Если один человек беден, а другой богат, совершенно не важно, что разорило одного и обогатило другого, само различие несправедливо, а бедняк, не порицающий его, столь же дурен, сколь и богач, его не замечающий. Люди, которые слишком умные, – ученые, писатели, математики, кристаллографы – ничем не лучше царей и попов: все они владеют несправедливой долей власти, обманом отнятой у других. Простой и честный человек должен все время ждать каких-то хитрых подвохов со стороны природы или соседа.

Землянская революция дала Градусу удовлетворение, но породила также и

разочарования. Один совершенно возмутительный случай представляется, задним числом, весьма многозначительным, ибо принадлежит к тому порядку вещей, с которым Градусу следовало бы свыкнуться, чего, однако, он так и не сделал. Особенно блестящий имитатор короля, теннисный ас Джулиус Стейнманн (сын известного благотворителя) несколько месяцев ускользал от полиции и довел ее до крайнего остервенения, в совершенстве подражая голосу Карла Излюбленного в речах, высмеивающих правительство и передаваемых подпольным радио. Наконец схваченный, он предстал перед чрезвычайной комиссией, членом которой состоял и Градус, и был приговорен к смерти. Расстрельщики напортачили, и немного спустя, доблестного молодого человека обнаружили залечивающим раны в провинциальной больнице. Когда Градус проведал об этом, с ним приключился редкий у него припадок гневливости, – не оттого, что сам факт подразумевал роялистские плутни, но оттого, что чистый, честный, отчетливый ход смерти нарушился нечистым, нечестным, неотчетливым образом. Ни у кого не спросясь, он помчался к больнице, вломился, выискал Джулиуса в битком набитой палате и ухитрился выстрелить дважды, оба раза промазав, пока дюжий санитар отнимал у него пистолет. Тогда он понесся обратно в штаб и воротился с дюжиной солдат, однако его пациент исчез.

Такие раны не заживают, – но что мог поделать Градус? Стакнувшиеся норны вступили в злодейский заговор против Градуса. С простительной радостью отмечаешь, что ему подобные никогда не вкушают высших радостей собственноручной расправы с жертвой. О, разумеется, Градус деловит, умел, расторопен, часто незаменим. Это Градус промозглым и сереньким утром сметает ночной сыпучий снежок с лесенки эшафота, но не его длинное и кожистое лицо увидит в этом мире последним человек, восходящий по лесенке. Это Градус покупает дешевый фибровый чемодан, который кто-то более удачливый подсунет с адской машинкой внутри под кровать былого соратника. Никто лучше Градуса не умеет расставить ловушку посредством лживого объявления, но ухаживать за богатой вдовой, клюнувшей на приманку, станет другой, другой ее и зарежет. Когда к столбу на площади привязывают свергнутого тирана, воющего и голого, и народ по частям умертвляет его, отрезая куски и пожирая их (как я читал еще молодым в рассказе об одном италийском деспоте, что и обратило меня в пожизненного вегетарьянца), Градус не участвует в дьявольском причащении: он указывает нужные инструменты и руководит разделкой.

Так тому и быть надлежит: мир нуждается в Градусе. Но не Градусу убивать королей. Никогда, никогда не следует Виноградусу испытывать терпение Господне. Даже во сне не стоит Ленинградусу прицеливаться в человека из своей гороховой пушечки, потому что как только он сделает это, две колоссально толстых и неестественно волосатых руки обхватят его сзади и станут давить, давить, давить.

36
Строка 172: людей и книг

В черной записной книжке, по счастью оказавшейся со мной, я нашел несколько набросанных там и сям, вперемешку с разного рода прельстившими меня изъятиями (сноской из Босуэлловой «Жизни доктора Джонсона», надписями на деревьях знаменитой Вордсмитской аллеи, цитатой из блаженного Августина и тому подобным) несколько образчиков высказываний Джона Шейда, записанных мною с тем, чтобы ссылаться на них при людях, которых могла заинтересовать или задеть моя дружба с поэтом. Его и мой читатель, надеюсь, простит мне, если я нарушу размеренный ход настоящего комментария и предоставлю слово моему блестящему другу.

При упоминании о литературных критиках он сказал: «Я никогда не благодарил за печатные похвалы, хотя порою испытывал желание прижать к груди то или иное блестящее воплощение способности к здравому суждению; но я так же ни разу не потрудился высунуться из окошка, чтобы опустошить мой урыльник над головой какого-нибудь горестного писаки. И к разносу, и к превознесению я отношусь с одинаковой отрешенностью». Кинбот: «Я полагаю, вы отвергаете первый как скудоумную болтовню, а второй – как дружеский жест доброй души?». Шейд: «Вот именно».

В разговоре о возглавляющем чрезмерно раздутую русскую кафедру профессоре Пнине, который замучил своих сотрудников придирками (по счастью, профессор Боткин числился по другой кафедре и не состоял в подчинении у этого гротескного «перфекциониста»): «Как странно, что у русских интеллигентов напрочь отсутствует чувство юмора, и это при таких изумительных юмористах, как Гоголь, Достоевский,

Чехов, Зощенко или этот их двуединый гений — Ильф и Петров».

Говоря о пошлости одного нашего дородного знакомца: «Он отдает заношенным поварским фартуком». Кинбот (со смехом): «Чудесно».

По поводу преподавания Шекспира в колледжах: «Прежде всего, в сторону идеи и социальный фон, учите первокурсника дрожать в ознобе, учите его пьянеть от поэзии „Гамлета“ или „Лира“, читать позвоночником, а не черепом». Кинбот: «Вам нравятся его замысловатости?». Шейд: «Да, мой дорогой Чарльз, я катаюсь по ним, как благодарная дворняга по травке, загаженной датским догом».

Говорили о взаимных влияниях и проникновениях марксизма и фрейдизма, я сказал: «Из двух ложных доктрин всегда хуже та, которую труднее искоренить». Шейд: «Нет, Чарли, есть критерий попроще: марксизму нужен диктатор, а диктатору — тайная полиция, вот тут и наступает конец света; фрейдист же, даже самый глупый, все-таки может еще опустить на выборах бюллетень, хотя бы ему и нравилось называть это [улыбаясь] — политическим опылением».

О студенческих работах: «Вообще говоря, я весьма снисходителен [говорил Шейд]. Но есть мелочи, которых я не прощаю». Кинбот: «К примеру?». Шейд: «К примеру, когда студент не читает указанной ему книги. Или читает ее, как идиот. Ищет в ней символов, ну, скажем: „Автор использует броский образ „зеленой листвы“, потому что зеленый цвет символизирует счастье и тоску“. Я имею также привычку катастрофически понижать оценку студента, если он употребляет слова „простой“ и „искренний“ в похвалу, например: „Слог Шелли всегда очень прост и достоен“ или „Йейтс всегда искренен“. Это очень распространено, и когда я слышу критика, говорящего об искренности автора, я понимаю, что либо критик, либо автор — дурак». Кинбот: «Но мне говорили, что такой подход преподается в школе». Шейд: «Там-то первым делом и нужно пройтись метлой. Чтобы преподать ребенку тридцать предметов требуются тридцать специалистов, а не замученная зануда, которая показывает картинку с рисовым полем и уверяет, что это Китай, потому что ничего не знает ни о Китае, ни вообще о чем бы то ни было и не способна сказать разницу между широтой и долготой». Кинбот: «Да, я с вами согласен».

37
Строка 181: сегодня

А именно, 5 июля 1959 года, в 6-е воскресенье после Троицы. Шейд начал Песнь Вторую «ранним утром» (так помечено в верху карточки № 14). Он продолжал писать ее вплоть до строки 208 на протяжении всего дня, отвлекаясь и вновь увлекаясь. Почти весь вечер и часть ночи были отданы тому, что любимые им авторы восемнадцатого столетия именовали «Суетой и Тщеславием Света». После того, как отбыл (велосипедом) последний гость и опустошились пепельницы, все окна в доме погасли примерно на два часа, но затем, часов около 3-х утра, из ванной комнаты наверху я увидел, что поэт вернулся к столу, в синеватый свет верхнего кабинета, и этот ночной сеанс довел Песнь до 230-й строки (карточка № 18). Снова наведавшись в ванную часа через полтора, уже при восходе солнца, я обнаружил, что свет переместился в спальню и снисходительно усмехнулся, ибо, согласно моим умозаключениям, всего лишь две ночи прошло с три тысячи девятьсот девяносто девятого раза, — впрочем, неважно. Несколько минут погодя все опять погрузилось в плотную тьму, и я вернулся в постель.

В полдень 5 июля в другом полушарии по промытому дождичком термакадаму аэропорта в Онгаве шел, направляясь к следующему рейсом на Копенгаген русскому самолету, Градус с французским паспортом в руке, и именно в эту минуту, ранним утром (по атлантическому береговому времени) Шейд принялся сочинять или записывать сочиненные в постели начальные строки Песни второй. Когда почти через двадцать четыре часа он добрался до 230-й строки, Градус после ночного отдыха на вилле высокопоставленной Тени (нашего консула в Копенгагене) вошел в сопровождении Тени в магазин готового платья, чтобы привести свой вид в соответствие с описанием, данным в более поздних заметках (к строкам 286 и 408). Мигрень нынче снова усилилась.

Что до собственных моих дел, они, боюсь, были крайне неудовлетворительны со всех точек зрения — с эмоциональной, с творческой и с общественной. Полоса невезения началась днем раньше, когда я проявил чрезмерную доброту, предложив моему молодому другу — кандидату на третий мой пинг-понговый стол, после впечатляющей

серии нарушений дорожных правил лишенному водительских прав, — отвезти его в моем мощном «Кремлере» в родительское именье — пустяковое дело, каких-нибудь двести миль. Там, среди ночного разгула, в толпе незнакомых людей — юношей, старцев, передушенных дев, — в стихии шутих, дыма жаровен, жеребячьего флирта, джазовой музыки и рассветных купаний я утратил всякую связь с глупым мальчишкой, был принужден танцевать, был принужден петь, участвовать в невообразимых по скуке и пустоте разговорах с различными родичами дитяти и, наконец, неведомо как очутился уже на другой гулянке в другом именьи и там после неописуемых салонных игр, в которых мне едва не отхватили бороду, я получил на завтрак какую-то кутью, после чего отправился с безымянным хозяином, старым и пьяным болваном в смокинге и жокейских бриджах, осматривать, запинаясь на каждом шагу, конюшни. Отыскавши машину (в сосновой рощице в стороне от дороги), я выкинул с водительского сиденья пару сочащихся купальных трусов и девичью серебристую лодочку. За ночь тормоза пообмякли и вскоре, на пустынной дороге, у меня вышел бензин. Куранты Вордсмитского колледжа отбивали шесть, когда я достиг Аркадии, клянясь себе никогда больше не попадаться подобным образом и невинно предвкушая тихий утешительный вечер с моим поэтом. И только увидев на кресле в прихожей обвязанную лентами плоскую картонку, я сообразил, что чуть было не пропустил день его рождения.

Какое-то время назад я записал эту дату на обложке одной из его книг, поразмыслил над одряхлением его утреннего одеяния, как бы играючи смерил длины наших рук и купил для него в Вашингтоне совершенно сногсшибательный шелковый халат, настоящую драконью шкуру, по-восточному яркую, хоть сейчас на самурая, — его-то и содержала коробка.

Торопливо сбросив одежды и рыча мой любимый гимн, я принял душ. Мой многоумелый садовник, делая мне массаж (в чем я немало нуждался), сообщил, что этой ночью у Шейдов прием «а-ля фуршет», и что ожидается сенатор Проубел (пряморечивый государственный муж и двоюродный брат Джона, не сходящий с газетных листов).

Право, ничего так не любит одинокий мужчина, как неожиданных дней рождения, и полагая, — нет, зная наверняка, — что мой покинутый телефон вызванивал целый день, я беспечно набрал номер Шейдов и, разумеется, трубку взяла Сибил.

— Bon soir, Сибил.

— А, Чарльз, привет. Хорошо съездили?

— Да честно говоря —

— Послушайте, я знаю, что вам нужен Джон, но он сейчас отдыхает, а у меня куча дел. Он вам потом позвонит, ладно?

— Когда потом — вечером?

— Нет, я думаю, завтра. Кто-то звонит у двери. Пока.

Странно. С чего бы стала Сибил прислушиваться к двери, имея под рукой кроме горничной и повара еще двух наемников в белых мундирах? Ложная гордость удержала меня от того, что следовало бы сделать — сунуть мой королевский подарок под мышку и невозмутимо отправиться в этот негостеприимный дом. Как знать, может быть в благодарность мне поднесли бы у задних дверей рюмку домашней наливки. Я все надеялся, что случилась ошибка, все ждал, что Шейд позвонит. То было горькое ожидание и единственное, чем наградила меня выпитая в одиночестве бутылка шампанского, — это crapula [похмельная мигрень].

Из-за шторы, из-за ствола самшита, сквозь золотую вуаль вечера и черные кружева ночи я следил за их лужайкой, за подъездным путем, за веером света над дверью крыльца, за самоцветными окнами. Солнце еще не село, когда в четверть восьмого я заслышал машину первого гостя. О, я увидел их всех. Я увидел древнего доктора Саттона, белоголового, безупречно овального господинчика, приехавшего в разболтанном «форде» вместе с высокой дочерью, миссис Старр, военной вдовой. Я увидел чету, впоследствии проясненную мной как мистер Кольт, здешний адвокат, и его жена, — их неловкий «кадиллак» наполовину заехал ко мне на дорожку, прежде чем отретироваться, суматошно мигая всеми огнями. Я увидел всемирно известного старика-писателя, согбенного бременем славы и собственной плодовитой посредственности, явившегося из мглы былого, в которой он и Шейд издавали вместе

литературный журнальчик. Я увидел затиснутую в махонький «пьюлекс», управляемый красивой, как мальчик, кудлатой ее подружкой, покровительницу искусств, устроившую последнюю выставку тети Мод. Я увидел, как укатил в фургончике Фрэнк, шейдова прислуга за все. Я увидел отставного профессора орнитологии, пешком подошедшего от шоссе, на котором он беззаконно бросил свою машину. Я увидел, как воротился Фрэнк и привез нью-вайского антиквара, подслеповатого мистера Каплуна, и его супругу, потрепанную орлицу. Я увидел, как подъехал на велосипеде аспирант-кореец в обеденном смокинге, и как пришел пешком президент колледжа в мешковатом костюме. Я увидел, как, исполняя свой церемонный долг крейсировали среди света и тени, от окошка к окошку, в которых плавали, как марсиане, мартини с хайболами, двое юнцов из гостиничной школы, и вдруг уяснил, что хорошо — отлично — знаю того, который потоньше. И наконец, в половине девятого (когда, представляю себе, хозяйка уже принялась трещать суставами пальцев, — имелось у ней такое нетерпеливое обыкновение) длинный, черный, торжественно сверкающий лимузин — на вид совершенные похоронные дроги — поплыл в ауре подъездного пути, и пока семенил, чтобы распахнуть дверцу, толстый чернокожий шофер, я увидел, с жалостью, как вышел из дому мой поэт с белым цветком в петлице и с улыбкой привета на подцвеченном алкоголем лице.

На следующее утро, едва завидев, что Сибил укатила за Руби, их горничной, ночующей на стороне, я перешел проулок, неся изящно и укоризненно обернутую коробку. На земле перед гаражом на глаза мне попался buchmann, стопка библиотечных книг, очевидно забытая здесь Сибил. Я склонился над ней, придавленный любопытством: в основном они принадлежали перу мистера Фолкнера; в ту же минуту Сибил возвратилась, покрышки захрустели гравием у меня за спиной. Я добавил к книгам подарок и водрузил всю охапку на колени Сибил. Очень мило с моей стороны, — но что за коробка? Просто подарок для Джона. Подарок? Что ж, разве вчера не был день его рождения? Да, но в конце концов, день рождения — это ведь не более, как условность, верно? Условность или не условность, но то был также и мой день рождения — с малой разницей в шестнадцать лет. Вот так так! Поздравляю. А как прошел прием? Ну, вы же знаете, каковы они, эти приемы (тут я полез в карман еще за одной книгой, — за книгой, которой она не ждала). Да, и каковы же они? Ах, ну, просто приходят люди, которых знаешь всю жизнь и просто обязан пригласить, скажем, Бен Каплун или Дик Кольт, с которыми мы учились в школе, этот вашингтонский кузен и тот, чьи романы вы с Джоном считаете таким пустозвонством. Мы не позвали вас, зная, как скучны вам такие затеи. Этого я и ждал.

— К слову, о романах, — сказал я, — помните, мы однажды пришли к заключению, вы, ваш муж и я, что шероховатый шедевр Пруста — это громадная и омерзительная волшебная сказка, навеянный аспарагусом сон, совершенно не связанный со сколько-нибудь возможными людьми какой бы то ни было исторической Франции, сексуальный бурлеск, колоссальный фарс со словарем и поэзией гения, но и не более того, с невозможно грубыми хозяевами, прошу вас, позвольте мне договорить, и с еще более грубыми гостями, с достоевскими сварами и толстовскими тонкостями снобизма, повторенными и растянутыми до невыносимой длины, с восхитительными морскими видами и тающими аллеями, о, нет, не перебивайте меня, с игрою света и тени, способной поспорить с тою, что творят величайшие из английских поэтов, с флорой метафор, которую — Кокто, если не ошибаюсь, — определил как «мираж висячего сада», и, я еще не закончил, с нелепым, на резинках и проволочках романом между блондинистым молодым подлецом (выдуманным Марселем) и неправдоподобной jeunne fille, обладательницей накладного бюста, толстой, как у Вронского (и у Левина), шеи и купидоновых ягодиц вместо щек, но — и разрешите мне на этом приятно закруглиться — мы ошибались, Сибил, мы ошибались, отрицая за нашим beau ténébreux способность наполнить книгу «человеческим содержанием»: вот оно, вот, оно, быть может, и отдает отчасти восемнадцатым, а то и семнадцатым веком, но — вот оно. Пожалуйста, пролистайте, прелестница, эту книгу [предлагая ее], и хоть для иных она, что для скелета телекс, но вы найдете в ней изящную закладку, купленную во Франции, и пусть Джон ее сохранит. Au revoir, Сибил, я должен идти. По-моему, у меня звонит телефон.

Я всего лишь лукавый земблянин. Просто на всякий случай я положил в карман третий и последний том произведения Пруста в издании «Bibliothèque de la Pléiade», Париж, 1954, отметив в нем кое-какие места на страницах 269–271. Мадам де Мортимар, решив, что среди «избранных» на ее суаре не будет мадам де Валькур, намеревается послать ей следующим утром такую записку: «Дорогая Эдит, я скучаю по Вас, вчера я Вас почти не ждала [Эдит удивится: как она вообще могла меня ждать, не пригласив?], зная, что вы не испытываете особой любви к этого рода

приемам, которые в лучшем случае вызывают у Вас скуку».

И это все о последнем дне рождения Джона Шейда.

38
Строка 182: свиристель… цикада

Снова с нами птица из строк 1–4 и 131. Она еще раз появится в последней строке поэмы, и другая цикада, сбросив свою оболочку, ликующе запоет в строках 236–244.

39
Строка 189: Староувер Блю

Смотри примечание к строке 626. Все это смахивает на игру в королевского гуська, только играют в нее не фишками, а самолетиками из раскрашенной жести: нужно признать, игра довольно бессмысленная (переходим в клетку 209).

40
Строка 209: градус распада

Пространство-время само по себе есть распад. Градус летит на запад, он достиг иссиня-серого Копенгагена (смотри примечание к строке 181). Послезавтра (7 июля) он убудет в Париж. Он пронесся сквозь этот стих и пропал, — чтобы со временем вновь испачкать наши страницы.

41
Строки 213–214: Вот силлогизм

Годится разве мальчику в утешение. С течением жизни мы понимаем, что мы-то и есть эти «другие».

42
Строка 230: домовой

Бывшая секретарша Шейда, Джейн Прово, которую я недавно разыскал в Чикаго, рассказала мне о Гэзель гораздо больше, чем ее отец; он взял за правило никогда не говорить о покойной дочери, а так как я не предвидел нынешних моих изыскательских и комментаторских занятий, то и не понуждал его отвести душу, поведав мне обо всем. И то сказать, в этой Песни он отвел ее в значительной мере, портрет Гэзель получился ясным и полным, быть может, несколько слишком полным — в рассуждении архитектоники, — ибо читатель не может не чувствовать, что портрет этот ширится и разрабатывается в ущерб иным, более содержательным и редким материям, которые он вытесняет. Что ж, комментатор не вправе уклоняться от принятых им на себя обязательств, сколько бы скучными ни были сведения, кои ему надлежит собрать и представить. Отсюда и настоящее примечание.

По-видимому, в начале 1950-го года, задолго до событий в сарае (смотри примечание к строке 345), шестнадцатилетняя Гэзель оказалась вовлеченной в некоторые пугающие «психокинетические» проявления, продлившиеся около месяца. Поначалу, как можно понять, «полтергейст» намеревался списать творимые им безобразия на тетушку Мод, только-только скончавшуюся, — первым объектом его упражнений стала корзинка, в которой она одно время держала своего полупарализованного скай-терьера (у нас эту породу называют «плакучая ива»). Сибил усыпила животное вскоре после помещения его хозяйки в больницу — к немалой ярости Гэзель, бывшей вне себя от горя. Как-то поутру корзинка выскочила из «оставленного как есть» святилища (смотри строки 90–98) и пустилась в путь по коридору мимо открытой двери кабинета, в котором работал Шейд; он видел, как она шуркнула, расплескивая скудное ее содержимое: ветхую попонку, каучуковую кость и частично обесцвеченную подстилку. Назавтра местом действия стала столовая, где одно из полотен тети Мод («Кипарис и летучая мышь») оказалось повернутым к стенке. Последовали и другие происшествия, например, короткие полеты, выполняемые ее эскизной тетрадью (смотри примечание к строке 90), и натурально, разные стуки (особливо в святилище), пробуждавшие Гэзель от ее несомненно

мирного сна в смежной спальне. Вскоре, однако, полтергейст исчерпал идеи, связанные с тетей Мод, и стал, так сказать, более эклектичным. Все незатейливые передвижения, коими ограничиваются предметы в такого рода случаях, были проделаны и в этом. Рушились кухонные кастрюли, в леднике отыскался (возможно, раньше положенного ему срока) снежок, стулья брели вперевалку, сбиваясь в непроходимой кладовке, на полу обнаруживались загадочные обрывки веревок, топотали ночами по лестницам невидимые гуляки, и как-то раз, зимним утром, Шейд, поднявшись и глянув в окно на погоду, увидел кабинетный столик, на котором он держал раскрытого на букве «М» библеобразного «Уэбстера», в ошеломлении стоящим снаружи, прямо в снегу (это впечатление могло подсознательно участвовать в создании строк 5-12).

Я представляю себе чувство странной неуверенности, которое испытывали Шейды или, по малой мере, Джон Шейд, — как если бы части повседневного, плавно катящего мира поотвинтились, и вы обнаружили вдруг, что одна из ваших покрышек едет с вами рядом, или рулевое колесо осталось у вас в руках. Мой бедный друг поневоле вспоминал драматические припадки своего отрочества и гадал, — не новая ли это генетическая вариация той же темы, продолженной деторождением. Старания утаить от соседей ужасные и унизительные явления были не последней его заботой. Он испытывал страх и терзался жалостью. И хоть им так и не удалось схватить за руку их рыхлую, хилую, неуклюжую и серьезную девушку, скорее заинтересованную, нежели напуганную, ни он, ни Сибил ни разу не усомнились, что каким-то непонятным образом именно она является опосредующей силой бесчинств, которые родители ее считали (тут я цитирую Джейн П.) «внешней вытяжкой или выделением безумия». В этой связи они мало что могли предпринять, — отчасти потому, что не очень доверяли современной шаманской психотерапии, но более из страха перед Гэзель и из боязни ее обидеть. Впрочем, они тайком побеседовали со старомодным и ученым доктором Саттоном, и беседа укрепила их дух. Они подумывали о переезде в другой дом или, говоря точнее, громко обсуждали этот переезд друг с дружкой так, чтобы всякий, имеющий уши, мог бы услышать, что они подумывают о переезде, — и злой дух сгинул, как случается с moskovettom, этим мучительным ветром, этой глыбой холодного воздуха, во весь март дующего в наши восточные берега, пока внезапно, в одно из утр, не заслышится пение птиц, и флаги повиснут, обмякнув, и очертания мира снова встанут по местам. Явления прекратились полностью, и если не забылись, то по крайности никогда не упоминались; но как все-таки любопытна наша неспособность увидеть таинственный знак равенства между Гераклом, рвущимся на простор из слабого тельца невротического ребенка, и неистовым духом тетушки Мод, как удивительно, что наше чувство рационального довольствуется первым же объяснением, подвернувшимся под руку, хотя, в сущности, научное и сверхъестественное, чудо мышцы и чудо мышления равно неисповедимы, как и все пути Господа Нашего.

43
Строка 231: Смешны потуги и т. д.

В этом месте черновика (датированном 6 июля) ответвляется прекрасный вариант, содержащий один странный пробел:

Тот, странный, Свет, где обитают наши
Мертворожденные, где все калеки пляшут,
Где всякий, кто нам дорог был, воскрес,
Где разум, умерший при появленьи здесь,
Живет и достигает высших сфер:
Бедняга Свифт и, и Бодлер.
Что заменил этот прочерк? Имя должно быть хореическим. Среди имен знаменитых поэтов, художников, философов и проч., сошедших с ума или впавших в старческое слабоумие, подходящих найдется немало. Столкнулся ли Шейд с чрезмерным разнообразием и, не имея логического подспорья для выбора, оставил пробел, полагаясь на таинственную органическую силу, что выручает поэтов, заполняя такие пробелы по собственному усмотрению? Или тут было что-то иное, — некая темная интуиция, провидческая щепетильность, помешавшая вывести имя выдающегося человека, бывшего ему близким другом? Может статься, он сыграл втемную оттого, что некий домашний читатель воспротивился бы упоминанию этого именно имени? И коли на то пошло, зачем вообще называть его в столь трагическом контексте? Тревожные, темные думы.

44
Строка 238: Подобье изумрудного ларца

Это, сколько я понимаю, полупрозрачная оболочка, оставленная на древесном стволе созревшей цикадой, вскарабкавшейся сюда, чтобы выбраться на свет. Шейд рассказывал, что однажды он опросил аудиторию из трехсот студентов, и только трое знали, как выглядит цикада. Невежественные первопоселенцы окрестили ее «саранчой», которая, разумеется, есть не что иное, как кузнечик, и ту же нелепую ошибку совершали многие поколения переводчиков Лафонтеновой «La Cigale et la Fourmi» (смотри строки 233–234). Всегдашний спутник cigale, муравей, вот-вот забальзамируется в янтаре.

Во время наших закатных блужданий, которых так много, самое малое девять (согласно моим записям), было в июне и лишь жалкие два выпали на первые три недели июля (мы возобновим их в Ином Краю!), мой друг с некоторым кокетством указывал кончиком трости на разные занятные натуральные объекты. Он никогда не уставал иллюстрировать посредством этих примеров необычайную смесь Канадской и Австральной зон, которые «сошлись», как он выражался, в этой части Аппалачия, где на наших высотах в 1500 футов северные виды птиц, насекомых и растений смешиваются с представителями юга. Как и большинство литературных знаменитостей, Шейд, видимо, не сознавал, что скромному почитателю, который наконец-то загнал в угол и для себя одного залучил недостижимого гения, куда интересней поговорить с ним о литературе и жизни, чем услышать, что «диана» (предположительно, цветок) встречается в Нью-Вае наряду с «атлантидой» (предположительно, тоже цветок), и прочее в том же роде. Особенно памятна мне одна несносная прогулка (6 июля), которой поэт мой с великолепной щедростью одарил меня в возмещение за тяжкую обиду (смотри и почаще смотри примечание к строке 181), в оплату за мой скромный дар (которым, я думаю, он так никогда и не воспользовался) и с разрешения жены, подчеркнуто проводившей нас по дороге в Далвичский лес. С помощью коварных экскурсов в натуральную историю Шейд продолжал ускользать от меня — от меня, истерически, жгуче, неуправляемо стремившегося узнать, какую именно часть приключений земблянского короля закончил он в последние четыре-пять дней. Гордость, мой вечный изъян, не позволяла мне донимать его прямыми вопросами, но я все время возвращался к прежним моим темам — к побегу из Дворца, к приключениям в горах, — чтобы вытянуть из него какие-либо признания. Казалось бы, поэт, создающий длинное и сложное произведение, должен был прямо-таки вцепиться в возможность поговорить о бедах своих и победах. Так ничего же подобного! Все, что я получал в ответ на мои бесконечно мягкие и осторожные распросы, это фразочки вроде: «Угу, движется помаленьку» или «Не-а, не скажу», и наконец, он осадил меня оскорбительным анекдотом о короле Альфреде, который, якобы, любил послушать рассказы бывшего при нем норвежского служителя, но отсылал оного, погружаясь в иные дела. «Oh, there you are» [А, ты тут], — говаривал грубый Альфред смиренному норвежцу, пришедшему, чтобы поведать чуть отличный вариант какого-нибудь древнего скандинавского мифа, уже сообщенного им прежде: «Oh there you are again!» [«А, ты опять тут!»]. Вот так и вышло, дорогие мои, что легендарный беглец, боговдохновенный северный бард ныне известен любому английскому школьнику под дурацкой кличкой «Ohthere» [Отер].

Однако! В другом, более позднем случае, мой капризный друг-подкаблучник был все же добрее (смотри примечание к строке 784).

45
Строка 240: Тот англичанин в Ницце

Морские чайки 1933 года, разумеется, умерли все. Но, дав объявление в «The London Times», можно добыть имя их благотворителя, — если только его не выдумал Шейд. Когда я посетил Ниццу четверть века спустя, англичанина заменил местный житель, бородатый старый бездельник, которого терпели или же поощряли ради привлечения туристов, — он стоял, похожий на статую Верлена, с невзыскательной чайкой, сидевшей в профиль на его свалявшейся шевелюре, или отсыпался под общедоступным солнышком, уютно свернувшись, спиной к колыбельным рокотам моря, на променадной скамье, под которой аккуратно раскладывал на газете разноцветные куски неопределимой снеди — на предмет просушки или ферментации. Вообще англичане здесь попадались очень редко, гораздо более значительное их скопление я обнаружил немного восточнее Ментоны, на набережной, где был воздвигнут в честь королевы Виктории пока еще запеленутый грузный монумент, с трудом обнимаемый бризом, — взамен унесенному немцами. Довольно трогательно топырился под

покрывалом ретивый рожок ее ручного единорога.

46
Строка 246: …родная

Поэт обращается к жене. Посвященный ей пассаж (строки 246–292) полезен в структурном отношении как переход к теме дочери. Я однако же смею утверждать, что когда раздавался вверху над нашими головами топот «родной» Сибил, отчетливый и озлобленный, не все и не всегда бывало так уж «хорошо»!

47
Строка 247: Сибил

Жена Джона Шейда, рожденная Ирондель (что происходит не от английского обозначения небольшой долины, богатой железной рудой [iron ore], а от французского слова «ласточка»). Она была несколькими месяцами старше него. Сколько я понимаю, корни у нее канадские, как и у бабки Шейда по материнской линии (двоюродной сестры дедушки Сибил, коли я не слишком ошибся).

С первых минут знакомства я старался вести себя в отношении жены моего друга с предельной предупредительностью, и с первых же минут она невзлюбила меня и исполнилась подозрений. Позже мне довелось узнать, что, упоминая меня прилюдно, она обзывала меня «слоновым клещом, оводом королевских размеров, лемурьей глистой, чудовищным паразитом гения». Я ей прощаю – ей и всем остальным.

48
Строка 270: Ванесса темная

Как это похоже на ученого словесника, – подыскивая ласкательное имя, взгромоздить род бабочек на орфическое божество и поместить их поверх неизбежной аллюзии на Ваномри Эстер! В этой связи из моей памяти выплывает пара строк из одной поэмы Свифта (которого я не могу отыскать в этой лесной глуши):

Когда Ванесса вся в цвету
Летит звездою Аталанты
Что до ванессы-бабочки, она вновь появится в строках 992–995 (к которым смотри примечание). Шейд говорил, бывало, что старо-английское ее наименование – это «The Red Admirable» [Красная Восхитительная], а уж потом оно выродилось в «The Red Admiral» [Красный Адмирал]. Это одна из немногих случайно знакомых мне бабочек. Зембляне зовут ее harvalda [геральдическая], возможно оттого, что легко узнаваемые ее очертания несет герб герцогов Больна. В определенные года, по осени, она довольно часто появлялась в Дворцовых Садах в обществе однодневных ночниц. Мне случалось видеть, как «красная восхитительная» пирует сочащимися сливами, а однажды – и дохлым кроликом. Весьма шаловливое насекомое. Почти домашний ее экземпляр был последним натуральным объектом, показанным мне Джоном Шейдом, когда он шел навстречу своей участи (смотри, смотри теперь же мои примечания к строкам 992–995).

В иных из моих заметок я примечаю свифтовский присвист. Я тоже по природе своей склонен к унынию, – беспокойный, брюзгливый и подозрительный человек, хоть и у меня выпадают минуты ветрености и fou rire.

49
Строка 275: Мы вместе сорок лет

Джон Шейд и Сибила Ласточкина (смотри примечание к строке 247) поженились в 1919 году, ровно за тридцать лет до того, как король Карл обвенчался с Дизой, герцогиней Больна. С самого начала его правления (1936–1958) представители нации – ловцы лосося, внесоюзные стекольщики, группы военных, встревоженные родственники и в особенности епископ Полюбский, сангвинический и праведный старец, – выбивались из сил в стараниях склонить его к отказу от обильных, но бесплодных наслаждений и к вступлению в брак. Дело шло не о морали, но о престолонаследии. Как и при некоторых его предшественниках, неотесанных олдерконунгах, пылавших страстью к мальчикам, духовенство вежливо игнорировало

языческие наклонности молодого холостяка, но желало от него совершения того, что совершил более ранний и еще более несговорчивый Карл: взял себе отпускную ночь и законным образом породил наследника.

Впервые он увидал девятнадцатилетнюю Дизу праздничной ночью 5 июля 1947 года на балу-маскараде в дядюшкином дворце. Она явилась в мужском наряде – мальчик-тиролец с чуть вывернутыми вовнутрь коленками, но храбрый и прелестный; после он повез ее и двух двоюродных братьев (чету гвардейцев, переодетых в цветочниц) кататься по улицам в своем божественном новом авто с откидным верхом – смотреть роскошную иллюминацию по случаю его дня рождения и факельные пляски в парке, и фейерверк, и запрокинутые, побледневшие лица. Почти два года он медлил, но осаждаемый нечеловечески речистыми советниками, в конце концов уступил. В канун венчания он большую часть ночи провел в молитве, замкнувшись один в холодной громаде Онгавского собора. Самоудовлетворенные олдерконунги взирали на него через рубиново-аметистовые окна. Никогда еще не просил он Господа с такою страстью о наставлении и ниспослании силы (смотри далее примечания к строкам 433–434).

После строки 274 находим в черновике неудавшийся приступ:

Люблю я имя «Шейд», а по-испански «Ombre»

Почти что «человек»…

Остается лишь пожалеть, что Шейд не последовал этой теме – и не избавил читателя от дальнейших смутительных интимностей.

50
Строка 286: реактивный шрам над пламенем заката

И я имел обыкновение привлекать внимание поэта к идиллической красе аэропланов в вечереющем небе. Кто же мог угадать, что в тот самый день (7 июля), когда Шейд записал эту светящуюся строку (последнюю на двадцать третьей карточке), Градус, он же Дегре, перетек из Копенгагена в Париж, завершив тем самым вторую стадию своего зловещего путешествия! «Есть и в Аркадии мне удел», – речет Смерть на кладбищенском памятнике.

Деятельность Градуса в Париже была складно спланирована Тенями. Они вполне справедливо полагали, что не только Одон, но и прежний наш консул в Париже, покойный Освин Бритвит, должен знать, где искать короля. Было решено, что сначала Градусу следует прощупать Бритвита. Последний одиноко жил в своей квартире в Медоне, редко выходя куда-либо за исключением Национальной библиотеки (где читал труды теософов и решал в старых газетах шахматные задачи) и не принимая гостей. Тонкий план Теней породила удача. Сомневаясь, что Градусу достанет умственных способностей и актерских талантов, потребных для исполнения роли рьяного роялиста, Тени сочли, что лучше будет ему выдавать себя за совершенно аполитичного посредника, человека стороннего и маленького, заинтересованного лишь в том, чтобы получить куш за разного рода документы, которые упросили его вывести из Земблы и доставить законным владельцам некие частные лица. Помог случай в очередном его приступе антикарлистских настроений. У одной из пустяшных Теней, которую назовем «бароном А.», имелся тесть, называемый впредь «бароном Б.», – то был безобидный старый чудак, давно оставивший государственную службу и совершенно неспособный осознать кое-какие ренессансные нюансы нового режима. Когда-то он был или думал, что был (даль памяти увеличивает размеры) близким другом покойного министра иностранных дел, отца Освина Бритвита, и потому нетерпеливо предвкушал тот день, когда ему доведется вручить «молодому Освину» (при новом режиме ставшему, как он понимал, не вполне persona grata) связку драгоценных семейных бумаг, на которую барон случаем напал в архивах правительственного ведомства. И вот его известили, что день настал: документы следует незамедлительно доставить в Париж. Ему разрешили также предварить бумаги короткой запиской, гласившей:

«Вот некоторые драгоценные бумаги, принадлежавшие вашей семье. Я не могу найти им лучшего применения, как вручить их сыну великого человека, бывшего моим однокашником в Гельдейберге и наставником на дипломатическом поприще. Verba volant, scripta manent.»

Упомянутые scripta представляли собой двести тринадцать пространных писем, которыми лет семьдесят назад обменялись Зуле Бритвит, прадядюшка Освина, градоначальник Одиваллы, и его двоюродный брат Ферц Бритвит, градоначальник Эроза. Сама переписка – унылый обмен бюрократическими плоскостями и выспренними остротами – не обладала даже тем узкоместным интересом, какой могли бы пробудить письма этого рода в провинциальном историке, – хотя, конечно, невозможно сказать, что именно в состоянии привлечь или оттолкнуть чувствительного почитателя собственной родословной, – а таким-то и знали Освина Бритвита былые его подчиненные. Здесь я желал бы оставить на время сухой комментарий и вкратце отдать должное Освину Бритвиту.

В плане физическом он был человек болезненно лысый, напоминающий с виду блеклую железу. Лицо, на удивление лишенное черт. Глаза цвета кофе с молоком. Помнится, он вечно носил траурную повязку. Но под этой пресною внешностью таились достоинства истинно мужские. Из-за океанских сияющих зыбей я салютую отважному Освину! Да появятся здесь на мгновение руки, его и моя, в крепком пожатии слившиеся над водами, над золотым кильватером эмблематического солнца. Да не посмеет никакая страховая компания, ниже авиалиния, поместить эту эмблему на глянцевитой странице журнала в виде рекламной бляхи под изображением отставного дельца, околдованного и восхищенного техниколорною снедью, подаваемой ему стюардессой вместе со всем остальным, что она в состоянии дать; нет, пусть наш цинический век остервенелой гетеросексуальности узнает в этом высоком рукопожатии последнее, но вечное олицетворение мужества и самоотверженности. Как пылко мечтал я, что подобный же символ, но в словесном обличьи, пронижет поэму другого моего мертвого друга, но этого не случилось… Тщетно отыскивать в «Бледном пламени» (вот уж, действительно, «бледное») тепла моей ладони, сжимающей твою, несчастный Шейд!

Но возвратимся под крыши Парижа. Храбрость соединялась в Освине Бритвите с цельностью, добротой, достоинством и с тем, что можно эвфимически обозначить как подкупающую наивность. Когда Градус позвонил из аэропорта и, чтобы раззадорить его аппетит, зачитал послание барона Б. (без избитой латинской цитаты), единственной мыслью Бритвита была мысль о припасенном ему сокровище. Градус отказался сообщить по телефону, что, собственно представляют собой «драгоценные бумаги»; так уже вышло, однако, что в последнее время экс-консул лелеял мечту вновь овладеть ценной коллекцией марок, которую много лет назад отец его завещал ныне усопшему кузену. Кузен проживал с бароном Б. в одном доме. Итак, поскольку умом экс-консула овладели все эти сложные и увлекательные соображения, он, поджидая гостя, тревожился не о том, не является ли человек из Земблы опасным проходимцем, а о том лишь, принесет ли он все альбомы сразу или предпочтет постепенность, дабы узнать, что сможет он выгадать на всех своих хлопотах. Бритвит надеялся, что дело удастся покончить этой же ночью, потому что заутра ему предстояло лечь в клинику, а то и на операционный стол (так и вышло, и он скончался под ножом).

Когда два секретных агента враждующих сторон сходятся, чтобы померяться силами ума, а ума у одного из них нет никакого, результат может получиться забавным, – он скучен, если олухи оба. Я отрицаю, что кто-то сумеет найти в анналах интриги и контринтриги что-либо бестолковее и скучнее сцены, занимающей всю остальную часть этого добросовестного комментария.

Градус неловко, с краешку присел на диван (на который менее года назад прилег усталый король), порылся в портфеле, вручил хозяину пухлый пакет оберточной бумаги и перенес свои лягвии на стул, поближе к креслу Бритвита, дабы с удобством следить, как тот одолевает бечевку. В ошеломленном молчании Бритвит просмотрел то, что в конце концов развернул, и сказал:

– Что ж, вот и конец мечте. Эта переписка издана в 1906-м или в 1907-м, – нет, все же в 1906-м, – вдовой Ферца Бритвита, где-то среди книг у меня должен быть экземпляр. Да к тому же, это не собственноручные документы, а копия, сделанная писцом для издателя, – видите, оба городничих пишут одной рукой.

– Как интересно, – сказал Градус, увидев.

– Я, разумеется, признателен за участие, – сказал Бритвит.

– Мы на это и рассчитывали, – сказал обрадованный Градус.

— Барон Б., надо быть, немного рехнулся, — продолжал Бритвит, — но, повторяю, его добрые побуждения трогают. Вы, наверное, хотели получить деньги за то, что доставите мне это сокровище?

— Наградой нам будет радость, которую оно вам доставило, — ответил Градус. — Но дозвольте мне говорить откровенно: мы немало потрудились, чтобы все сделать как полагается, я к тому же проделал долгий путь. Впрочем, я намереваюсь предложить вам небольшую сделку. Вы с нами по-хорошему — и мы с вами по-хорошему. Я знаю, ваши средства несколько — (сводит ладони и подмигивает).

— Что верно, то верно, — вздохнул Бритвит.

— Если вы нам поможете, это не станет вам и в сантим.

— Ну, сколько-то я могу заплатить (пучит губы, пожимает плечьми).

— Нам ваши деньги не нужны (поднимая ладонь, — регулировщик движения). Но вот наш план. Со мною послания от других баронов к другим беглецам. Фактически, у меня имеются письма к самому загадочному из всех беглецов.

— Как! — в искреннем изумлении вскричал Бритвит. — Дома знают, что Его Величество оставили Землю? (Отшлепать бы старого добряка!)

— Еще бы, — сказал Градус, потирая ладоши и слегка отдуваясь в животной радости, — несомненно, инстинктивной, ибо ему, натурально, не достало ума сообразить, что fauh pas экс-консула есть не что иное, как первое подтверждение пребывания короля за границей. — Еще бы, — повторил он, многозначительно ощерясь, — и я вам буду весьма признателен, если вы отрекомендуете меня мистеру Икс.

При этих словах Освина Бритвита осенило ложное прозрение, и он застонал про себя: Ну конечно! Как же я туп! Это один из наших! — и пальцы его левой руки непроизвольно заерзали, словно на них была надета раешная кукла, глаза же стали напряженно следить за телодвижениями, коими его собеседник выражал свою низкородную радость. Агент карлистов, обнаруживая себя перед старшим, обязан был сделать знак буквы «X» (от Xavier — Ксаверий) из одноручной азбуки глухонемых: ладонь удерживается горизонтально, указательный перст вяло присогнут, прочие сжаты (нас много критиковали за упадочнический вид этого знака, ныне его заменила более мужественная комбинация). При нескольких оказиях Бритвиту подавали этот знак, и у него показ предварялся (в самый миг тревожной неуверенности) — не заминкой в собственном смысле этого слова, но скорее разрывом временной ткани, — чем-то схожим с «аурой», как ее называют врачи: странное ощущение, и напряженное, и парящее, жгуче-ледяная испарина, невыразимая, продирающая перед припадком всю нервную систему. И в этот раз Бритвит вновь ощутил, как ударяет в голову волшебное вино.

— Ладно, я готов. Дайте знак, — алчно произнес он.

Градус, решившись рискнуть, глянул украдкой на руку Бритвита, лежавшую на колене: тайком от ее владельца она, казалось, подсказывала Градусу ручным шепотком. Он попытался скопировать то, что она изо всей мочи старалась ему передать, — но то были лишь начатки нужного знака.

— Нет-нет, — сказал Бритвит, снисходительно усмехаясь неловкости новичка. — Другой рукой, друг мой. Вы же знаете, Его Величество левша.

Градус сделал еще попытку, но пугливый суфлер исчез, подобно сброшенной кукле. Застенчиво пялясь на свои туповатые пальцы, Градус покопошился, словно бестолковый и полупарализованный актер театра теней, и наконец соорудил неверное «V» — Виктория! Улыбка Бритвита начала угасать.

Когда она угасла совсем, Бритвит (что означает «шахматный ум») поднялся из кресла. Будь комнатенка побольше, он бы по ней прошелся туда-сюда, — но не здесь, не в этом набитом битком кабинете. Растяпа Градус застегнул все три пуговицы тесноватого коричневого пиджака и помотал туда-сюда головой.

— Я думаю, — сварливо сказал он, — мне следует быть откровенным. Раз я вам привез эти ценные бумаги, вы за это обязаны устроить мне встречу или хотя бы дать его адрес.

— Я знаю, кто вы, — воскликнул, тыкая пальцем, Бритвит. — Вы репортер! Вы из этой гадской датской газетки, вон она торчит у вас из кармана (Градус машинально нащупал ее и нахмурился). А я-то надеялся, что они оставят меня в покое! Пошлые приставалы! Для вас ничего нет святого — ни рака, ни изгнания, ни достоинства государя!

(Увы, это верно не только в отношении Градуса, — у него и в Аркадии есть коллеги.)

Градус сидел, уставясь на свои новые туфли — цвета красного дерева с сетчатыми нахлобучками. Тремя этажами ниже, на темной улице нетерпеливым воем расчищала себе дорогу скорая помощь. Бритвит обрушил свой гнев на письма предков, лежавшие на столе. Схватив аккуратную пачку вместе с отпавшей оберткой, он метнул их в мусорную корзину. Бечевка выпала к ногам Градуса, он подобрал ее и добавил к scripta.

— Прошу вас, уходите, — сказал бедный Бритвит. — Я с ума схожу от боли в паху. Я три ночи не спал. Вы, журналисты, упрямая братия, но и я тоже упрям. Вы никогда ничего от меня не узнаете о моем короле. Прощайте.

Он подождал на лестнице, пока шаги посетителя спустятся и достигнут входных дверей. Двери открылись, закрылись, и вот уже автоматическое освещение лестницы выключилось, издавши такой звук, будто его кто-то пнул ногой.

51
Строка 287: напевая, за подпругу мешок дорожный

Карточка (двадцать четвертая), на которой записаны эти строки (287–299), помечена 7 июля, под этой датой я нахожу в моей памятной книжечке пометку: Д-р Сметлав, 3.30 пополудни. Испытывая, как и большинство людей, некоторое волнение перед визитом к врачу, я решил купить по пути что-нибудь успокоительное, дабы убыстрение пульса не обмануло доверчивую науку. Я отыскал требуемые капли, принял ароматное снадобье прямо в аптеке и, выйдя наружу, увидел Шейдов, как раз покидавших соседний магазин. Она несла новенький дорожный сак. Страшная мысль, что они, похоже, готовятся отъехать на летние вакации, нейтрализовала только что проглоченное лекарство. Порою так привыкаешь к течению чьей-то жизни пообок твоей, что неожиданный отворот параллельного сателлита вызывает чувство столбняка, опустошения и несправедливости. И главное, он еще не докончил «моей» поэмы!

— Путешествовать собираетесь? — спросил я, улыбаясь и указывая на саквояж.

Сибил подняла его, точно кролика, за уши и оглядела моими глазами.

— Да, в конце месяца, — сказала она. — Как только Джон закончит работу.

(Поэму!)

— И куда же, осмелюсь спросить? (поворотясь к Джону).

Мистер Шейд глянул на миссис Шейд, и она ответила за него, как обычно, отрывисто и небрежно, что они пока не решили, — может быть, в Вайоминг или в Юту, или в Монтану, а не то — снимут лачугу повыше, на шести или семи тысячах футов.

— Средь волчьих бобов и осиновых кольев, — мрачно сказал поэт (воображая пейзажик).

Я было начал пересчитывать в метрах высоту, показавшуюся мне черезмерной для сердца Джона, но Сибил потянула его за рукав, напоминая, что им предстоит еще сделать покупки, и меня бросили, застрявшим на двух, примерно, тысячах метров и с валериановой отрыжкой.

Однако, от случая к случаю чернокрылая судьба умеет выказать исключительную предупредительность. Десять минут спустя, доктор С., — лечивший также и Шейда, — с вялой дотошностью рассказывал мне, что Шейды сняли маленькое ранчо у каких-то своих друзей, которые уезжают куда-то еще, — в Кедрах, Ютана, на границе с

Айдомингом. От доктора я перепорхнул в бюро путешествий, получил там буклеты и карты, исследовал их, выяснил, что в горах над Кедрами наличествуют две или три пригоршни лачуг, отправил срочный запрос в Кедры на почту и через несколько дней уже снял на август нечто, схожее на присланных снимках с помесью мужицкой избы и приюта Z, но имеющее внутри кафельную ванну и стоящее дороже моего оплота в Аппалачии. Ни Шейды, ни я и словом не обмолвились о наших летних адресах, однако я знал, а они не знали, что адреса у нас одинаковы. Чем больше я распалялся очевидным намерением Сибил держать этот адрес втайне от меня, тем слаще мечталось, как я, в тирольском костюме, вдруг объявлюсь из-за валуна, и как робко, но радостно улыбнется Джон. За те две недели, что я дозволял моим демонам наполнять до перелива мое чародейное зеркало розовато-лиловыми скалами и черным вересом, и петлистыми тропами, и полынью, сменяемой травами в пышных синих цветах, и бледными, ровно смерть, осинами, и бесконечной вереницей Кинботов в зеленых шортах, встречающихся с целой антологией поэтов и с целой Лысой Горой их жен, я, должно быть, где-то ужасно ошибся, ибо горный склон оказался сухим и печальным, а полуразвалюха — ранчо Харлеев — лишенной признаков жизни.

52
Строка 293: она

Гэзель Шейд, дочь поэта, родилась в 1934 г., скончалась в 1957 г. (смотри примечания к строкам 230 и 345).

53
Строка 315: Зубянкой и белянкой май населил тенистые полянки

Честно говоря, я не знаю, что это такое. Мой словарь определяет «зубянку» как «разновидность салата», а о «белянке» говорит: «представитель(ница) чисто белого помета любого сельскохозяйственного животного или определенная разновидность лепидоптеры». Мало толку и от варианта, записанного на полях:

Виргинии-белянки явились в мае на лесной полянке

Что-то фольклорное? Феи? Или капустницы?

54
Строка 319: древесная утка

Чересчур изощренный образ. Древесная утка — птица очень богатой окраски, изумрудная, аметистовая, сердоликовая в черных и белых отметинах, она гораздо красивее хваленого лебедя — змеевидного гусака с грязной шеей из пожелтевшего плюша и в черных хлюпающих галошах легкого водолаза.

Кстати сказать, народная номенклатура американских животных, отражающая простоту утилитарного разумения невежественных пионеров, не обрела покамест патины, покрывающей названия европейской фауны.

55
Строка 334: за ней не явится

«Да явится ли он вообще?» — так обыкновенно загадывал я, все ожидая и ожидая в янтарно-красном сумраке пинг-понгового дружка или старого Джона Шейда.

56
Строка 345: сарай

Этот сарай, а правильнее сказать — овин, в котором в октябре 1956 года (за несколько месяцев до смерти Гэзель Шейд) происходили «некие явления», принадлежал Паулю Гентцнеру, чудаковатому фермеру немецкой породы со старомодными увлечениями вроде таксодермии и сбора трав. Странная выходка атавизма воскресила в нем (согласно Шейду, любившему про него рассказывать, — замечу кстати, что только в эти разы и становился мой милый старый друг несколько нудноват!) «любознательного немца» из тех, что три столетия назад

становились отцами первых великих натуралистов. Человек он был по ученым меркам неграмотный, совершенно ничего не понимавший в вещах, удаленных от него в пространстве и времени, но что-то имелось в нем красочное и исконное, утешавшее Джона Шейда гораздо полнее провинциальных утонченностей английского факультета. Он, выказывавший столько разборчивой осмотрительности при выборе попутчиков для своих прогулок, любил через вечер на другой бродить с важным и жилистым немцем по лесным тропинкам Далвича и вкруг полей этого своего знакомца. Будучи охотником до точного слова, он ценил Гентцнера за то, что тот знал «как что называется», – хоть некоторые из предлагаемых тем названий несомненно были местными уродцами или германизмами, а то и чистой воды выдумками старого прохвоста.

Теперь у него был иной спутник. Ясно помню чудный вечер, когда с языка моего блестящего друга так и сыпались макаронизмы, остроты и анекдоты, которые я браво парировал рассказами о Зембле, повестью о бегстве на волосок от гибели! На опушке Далвичского леса он перебил меня, чтобы показать естественную пещеру в поросшем диким мохом утесе, сбоку тропинки, под цветущим кизилом. В этом месте достойный фермер неизменно останавливался, а однажды, когда они гуляли вместе с его сынишкой, последний, семеня с ними рядом, указал в это место пальчиком и уведомил: «Тут папа писает». Другая история, не такая бессмысленная, поджидала меня на вершине холма, где расстилался прямоугольный участок, заросший молочаем, иван-чаем и вернонией, кишащий бабочками, резко выдступавший из обставшего вкруг золотарника. После того, как жена Гентцнера ушла от него (примерно в 1950-м), забрав с собою ребенка, он продал дом (теперь на месте его кинематограф для автомобилей) и переехал на жительство в город, однако, летними ночами приходил, бывало, со спальным мешком в сарай, что стоял на дальнем краю еще принадлежавшей ему земли, там он однажды и усоп.

Сарай стоял как раз на том сорняковом участке, в который тыкал Шейд любимой тростью тетушки Мод. Однажды воскресным вечером студент, подрабатывающий в гостинице кампуса, и с ним какая-то местная оторва забрели в сарай с той или этой целью; они там болтали или дремали, как вдруг что-то застучало, засверкало, до умопомрачения перепугало обоих и заставило их бежать в значительном беспорядке. Кто их, собственно, вытурил – разгневанный призрак или отвергнутый ухажер, – никого особенно не заботило. Тем не менее «Wordsmith Gazette» («Старейшая студенческая газета США») вцепилась в происшествие и принялась трепать из него начинку, словно шаловливый щенок. Несколько доморощенных психологов повадились прогуливаться в этих местах, и вообще вся история принимала столь явственные очертания студенческого баловства с участием самых отъявленных шалопаев колледжа, что Шейд пожаловался властям, после чего бесполезный сарай снесли как пожароопасный.

От Джейн П. я получил, однако, совсем иные и куда более трогательные сведения, – которые позволили мне уяснить, почему мой друг счел нужным потчевать меня байками о заурядной студенческой шалости, но также заставили пожалеть, что добраться до сути, к которой он подъезжал конфузливо и неловко (ибо, как я указал в одном из предыдущих комментариев, он старался не упоминать своего мертвого дитяти), я ему не дал, заполнив гостеприимную паузу необычайным случаем из истории Онгавского университета. Случай этот произошел в лето Господне 1876-е. Впрочем, вернемся к Гэзель Шейд. Она решилась исследовать явления самостоятельно и написать о них работу («на свободную тему»), затребованную пройдошливым профессором, читавшим у них курс психологии и собиравшим данные «Об аутоневрологической паттернизации в среде студентов американских колледжей». Родители разрешили ей посетить ночью сарай лишь при условии, что Джейн П. – ведомый столп благонадежности – составит ей компанию. Едва девушки расположились в сарае, как гроза, которой предстояло продлиться всю ночь, обложила их приют с такими театральными завываниями и всполохами, что уследить какие-то внутренние звуки и блики оказалось делом решительно немыслимым. Гэзель не отступилась и погодя вновь попросила Джейн пойти с нею, но Джейн на этот раз не смогла. Она рассказывала мне, что предложила взамен чету Уайтов (милые мальчики, студенты, для Шейдов вполне приемлемые), но это новое соглашение Гэзель наотрез отвергла и после ссоры с родителями отбыла в одиночестве, прихватив записную книжку и фонарик. Легко вообразить, как опасались Шейды повторения неприятностей с полтергейстом, впрочем, всеведущий доктор Саттон положительно заявил, – уж на какие сославшись авторитеты, сказать не могу, – что случаи, когда у пациента по прошествии шести лет вновь развивались бы те же припадки, практически неизвестны.

Джейн позволила мне переписать кой-какие заметки Гэзель с машинописной копии записей, сделанных прямо на месте:

10.14 вечера. Начало наблюдений

10.23. Бессвязные скребущие звуки.

10.25. Диск бледного света размером с небольшую круглую салфетку; порхает по темным стенам, по заколоченным досками окнам и полу; меняет место, замирает там и сям, потанцовывает вверх-вниз, как бы игриво дразнясь и ожидая возможности увернуться от наскока.

10.37. Вернулось.

Записи тянутся на нескольких страницах, но по очевидным причинам я вынужден отказаться от дословного их воспроизведения в настоящем комментарии. За долгими паузами опять раздавались скрипы и скрябы и вновь возвращалось световое пятно. Она говорила с ним, и если вопрос восхищал его своею глупостью («Вы – блуждающий огонек?»), оно металось туда-сюда в восторге отрицания, желая же дать серьезный ответ на серьезный вопрос («Вы – покойник?»), медленно всплывало на воздух, набирая высоту для весомого утвердительного падения. На короткое время оно затеяло откликаться на азбуку, которую Гэзель зачитывала вслух, – светляк оставался неподвижным, пока не произносилась нужная буква, а тогда одобрительно подскакивал. Но подскоки становились все более вялыми и, медленно выговорив два слова, кружок сникал, словно усталый ребенок, и заползал в щель, из которой вылетал вдруг с неимоверной живостью и начинал метаться по стенам, страстно желая возобновить игру. Мешанина сломанных слов и бессмысленных слогов, которую она в конце концов собрала, выглядит в ее добросовестном сообщении как короткая строка простых буквенных групп. Переписываю:

pada ata lane pad not ogo old wart alan ther tale feur far rant lant tal told

В своих «Заметках» протоколист сообщает, что азбуку пришлось зачитывать – или по крайней мере начинать зачитывать (буква «а» наличествовала в милосердном избытке) – восемьдесят раз, но из этого числа семнадцать чтений оказались бесплодными. Разделения, основанные на таких изменчивых интервалах, не могут не содержать произвола, кое-что из этой галиматьи можно перекомбинировать, получив иные лексические единицы, но смысл от этого не улучшится (к примеру: «war talant her arrant – вражда талант ее сущий»?). Похоже, что дух сарая самовыражался со слипчивой затрудненностью апоплексии или полупросонья от полусна, рассеченного павшим на потолок мечом света, военной бедой с космическими последствиями, каковые не в силах ясно выразить толстый неохочий язык. Тоже и мы в этом случае охотно оборвали бы вопросы читателя или наложника, вновь погружаясь в блаженное забытье, – когда бы дьявольская сила не нудила нас выискивать в абракадабре скрытого смысла:

812 Язя и вяза связь как некий вид

813 Соотнесенных странностей игры.

Я ненавижу такие игры: от них в висках у меня бьется отвратительная боль, – но я отважно сносил ее и бесконечно, с безграничным терпением и отвращением комментатора вникал в увечные слоги, чтоб отыскать в отчете Гэзель хотя бы малый намек на участь несчастной девушки. Я не нашел ничего. Ни призрак старого Гентцнера, ни фонарик затаившегося бездельника, ни собственная ее мечтательная истерия не выразили здесь ничего, что можно истолковать, хотя бы отдаленно, как содержащее предупреждение или как-то соотнесенное с обстоятельствами ее поспешающей смерти.

Сообщение Гэзель было бы и длиннее, если бы, как она рассказала Джейн, возобновление «скрябов» не подействовало вдруг на ее утомленные нервы. Светлый кружок, державшийся до поры в отдалении, вдруг задиристо прянул к самым ее ногам так, что она едва не слетела с деревянной колоды, служившей ей сиденьем. Внезапно ее поразила мысль, что она находится в обществе неведомого и, может статься, весьма зловредного существа, и с дрожью, только что не вывихнувшей ей лопатки, она поспешила вернуться под возвышенную защиту звездного неба. Знакомая тропа успокоительными жестами и прочими утешительными знаменьями (одинокий сверчок, одинокий светоч уличной лампы) провожала ее до дома. Вдруг она стала и

завопила от ужаса: нечто из темных и бледных пятен, сгустившихся в фантастическую фигуру, поднялось с садовой скамьи, чуть тронутой светом с крыльца. Я понятия не имею, какова может быть в Нью-Вае ночная среднеоктябрьская температура, но удивительно, что отцовская тревога могла в настоящем случае принять такие размеры, какие оправдали бы бдение на свежем воздухе в пижаме и в невыразимом «купальном халате», который предстояло сменить моему подарку (смотри примечание к строке 181).

Во всякой сказке непременно встретишь «три ночи», была третья ночь и в этой печальной сказке. На сей раз ей захотелось, чтобы родители освидетельствовали «говорящий свет». От этого третьего заседания в сарае не сохранилось поминутного описания, однако я предлагаю вниманию читателя нижеследующий скетч, который, как мне представляется, не слишком далек от истины.

Сарай с привидениями
Кромешная тьма. Слышно, как тихо дышат в разных углах Отец, Мать и Дочь. Проходит три минуты.

ОТЕЦ (Матери)

Тебе там удобно?

МАТЬ

Угу-м. Эти мешки из-под картошки отлично —

ДОЧЬ (с паровозной мощью)

Ш-ш-ш!

В молчании проходит пятнадцать минут. Там и сям в темноте глаза различают звезду и сизые прорези ночи.

МАТЬ

Это, по-моему, не привидение, — это у папы журчит в животе.

ДОЧЬ (подчеркнуто)

Очень смешно.

Проносится еще пятнадцать минут. Отец, погрузившись в раздумья о своих трудах, испускает нейтральный вздох.

ДОЧЬ

Обязательно все время вздыхать?

Проносится пятнадцать минут.

МАТЬ

Если я захраплю, пусть привидение меня ущипнет.

ДОЧЬ (с густо подчеркнутым самообладанием)

Мама! Пожалуйста! Пожалуйста, мама!

Отец прочищает горло, но решает ничего не говорить.

Проносится еще двенадцать минут.

МАТЬ

Кому-нибудь приходило в голову, что в леднике все еще полно трубочек с кремом?

Это последняя капля.

ДОЧЬ (взрываясь)

Ну почему все нужно испортить? Почему вам всегда все нужно испортить? Почему вы не можете оставить человека в покое? Не трогай меня!

ОТЕЦ

Но послушай, Гэзель, мама больше не скажет ни слова, и мы готовы продолжать, но ведь мы уже час, как сидим здесь, становится поздно.

Две минуты проходят. Эта жизнь безнадежна, загробная безжалостна. Слышно, как Гэзель тихо плачет во тьме. Шейд зажигает фонарь, Сибил сигарету. Встреча откладывается.

Тот свет так и не возвратился, но он замерцал в стихотворении «Природа электричества» — году в 1958-м Джон Шейд отослал его в нью-йоркский журнал «The Beau and the Butterfly» («Щеголь и бабочка»), но напено оно было уже после кончины Джона.

Не есть ли душ последний дом —
Вольфрамовая нить, — кто знает?
Быть может, в ночнике моем
Невеста чья-то дотлевает.
И может быть, Шекспир объял
Весь город яркими огнями,
И Шелли яростный накал
Ночниц сзывает вечерами.
Есть номера у фонарей
И тот, с девяткой троекратной,
Лучист и зелен средь ветвей, —
Возможно, друг мой невозвратный.
И в час, как ярый ураган
Ветвится молнией, быть может,
Томится в туче Тамерлан,
И рев тиранов Ад тревожит.
Кстати, наука утверждает, что Земля не просто развалится на части, но исчезнет, как призрак, если из мира вдруг пропадет Электричество.

57
Строки 347–348: Она слова вертела

Поражает пример, приведенный ее отцом. Я был совершенно уверен, что это именно я отметил однажды (мы обсуждали с ним «зеркальные слова», и я помню, как изумился поэт), что «телекс» наоборот — это «скелет», а «T.S. Eliot» — «toilest», т. е. «тяжко труждающийся». Верно, однако ж, и то, что в некоторых отношениях Гэзель Шейд походила на меня.

58
Строки 375–376: некий всхлип поэзии

Сдается мне, я угадал (в моем бескнижном горном логове), что это за стихи, однако мне не хотелось бы называть автора, не наведя прежде точных справок. Как бы там ни было, я сожалею о злобных выпадах моего друга в адрес почтеннейших поэтов нашего времени.

59
Строка 377: Их лектор, называл его

В черновике вместо этого — куда более знаменательный (и более благозвучный) вариант:

Декан наш называл его
Хоть и можно думать, что здесь упомянут человек (кто бы он ни был), занимавший

этот пост в пору студенчества Гэзель Шейд, не стоит винить читателя, если он отнесет данное замечание к Паулю X. младшему, не лишенному дарований ученому, но никчемному администратору, с 1957 года возглавлявшему английский факультет Вордсмитского колледжа. Мы с ним встречались время от времени (смотри «Предисловие» и примечание к строке 894), но не часто. Деканом факультета, к которому принадлежал я, был профессор Натточдаг – «Неточка», как прозвали мы этого милого человека. Разумеется, мигрени, которые в последнее время умучили меня до того, что я был однажды вынужден уйти посреди концерта, на котором мне пришлось сидеть рядом с Паулем X. младшим, совершенно никого кроме меня не касаются. Но, как видно, коснулись – и как еще коснулись! Он не упускал меня из виду и сразу же после кончины Джона Шейда пустил по рукам мимеографированное письмо, начинавшееся такими словами:

Некоторые сотрудники английского факультета крайне встревожены судьбой рукописи или фрагментов рукописи поэмы, оставленной покойным Джоном Шейдом. Рукопись попала в руки особе, не только не обладающей достаточной для ее редактирования квалификацией, поскольку эта особа принадлежит к иному факультету, но к тому же страдающей умственным расстройством. Возникает вопрос, не может ли судебный иск etc.

«Судебный иск» может, понятное дело, вчинить и кое-кто еще. Но так и быть, – удовлетворение, с которым я предвкушаю, как поубавится у этого господина engagé интереса к судьбе поэмы, едва он прочтет прокомментированную здесь строку, умеряет мой правый гнев. Саути любил поужинать зажаренной крысой, – что кажется особенно смешным, когда вспоминаешь о крысах, сожравших его епископа.

60
Строка 384: я кончил книгу

Название этой посвященной Попу книги, которую можно найти в любой университетской библиотеке, – «Supremely Blest» («Благословенный сверх всякой меры») – оборот заимствован из строки Попа, которую я помню, но не могу в точности процитировать. Книга посвящена преимущественно технике Попа, но содержит также емкие замечания о «стилизованных нравах его эпохи».

61
Строки 385–386: Джейн Дин, Пит Дин

Прозрачные псевдонимы двух ни в чем не повинных людей. Я посетил Джейн Прово (Provost – «проректор», dean – «декан»), когда проезжал в августе через Чикаго. Она по-прежнему не замужем. Она показала мне кой-какие интересные фотоснимки ее двоюродного брата Питера, его друзей. Она рассказала мне, – и я не имею причин не верить ее словам, – что Питер Прово (с которым мне очень, очень хотелось бы познакомиться, но он, к несчастью, торгует автомобилями в Детройте), возможно, самую капельку и преувеличил, но определенно не солгал, уверяя, что должен сдержать слово, данное одному из ближайших его друзей по студенческому сообществу, славному молодому атлету, чьи «венки», хочется верить, будут «долговечнее девичьих». Подобные обязательства не терпят легкого или пренебрежительного к себе отношения. Джейн сказала, что пыталась после трагедии объясниться с Шейдами, а позже написала Сибил длинное письмо, но ответа не получила. Я сказал, слегка щеголяя слэнгом, который начал в последнее время осваивать: «Да уж известное дело!».

62
Строки 403–404: «Восемь тридцать. Включу.» (Тут время начало двоиться.)

Отсюда и до строки 474 перемежаются в синхронном развитии две темы: телевизор в гостиной Шейдов и, так сказать, повторный просмотр действий Гэзель (уже подернутых затемнением) с момента появления Питера на заглазном свиданьи (406–407) и его извинений по поводу поспешного отбытия (426–428) до поездки Гэзель в автобусе (445–447 и 457–460), в завершенье которой сторож находит ее тело (474–477). Тему Гэзель я выделил курсивом.

В целом весь этот кусок представляется мне слишком разработанным и растянутым, в особенности оттого, что прием синхронизации уже заезжен Флобером и Джойсом до

смерти. В остальном эта часть поэмы отличается изысканностью рисунка.

63
Строка 408: злодейская рука

10 июля, в день, когда Джон Шейд записал эти слова, а возможно и в самую ту минуту, когда он принялся за тридцать третью карточку (строки 406–416), Градус катил в прокатном автомобиле из Женевы в Лэ, где, по его сведениям, Одон, закончивший съемки фильмы, отдыхал на вилле своего старого друга Джозефа С. Лавендера (фамилия происходит не от «laundry» – «прачешная», а от «laund» – «прогалина»). Нашему блестящему выдумщику сообщили, что Джо Лавендер коллекционирует художественные фотографии той разновидности, что зовется у французов «ombrioles». Ему, правда, не сказали, что это в точности такое, и он мысленно отмахнулся от них, сочтя за «абажуры с пейзажами». Идиотский замысел его сводился к тому, чтобы выдать себя за агента страсбургского торговца произведениями искусства и затем, выпивая с гостями Лавендера, постараться подобрать ключи к местопребыванию короля. Ему и в голову не пришло, что Дональд Одон, с его абсолютным чутьем на подобные вещи, по тому, как Градус предъявляет перед рукопожатием пустую ладонь или кивает при каждом глотке, и по множеству иных мелких повадок (которых сам Градус никогда в людях не замечал, но перенимал охотно) сразу поймет, что Градус, где бы он ни родился, наверняка подолгу жил среди низших земблянских сословий, а стало быть он – шпион, если только не хуже. Не сознавал Градус и того, что «ombrioles», собираемые Лавендером (я верю, что Джо не осудит меня за такую нескромность), сочетали изысканную красоту формы с крайней непристойностью содержания – голые тела в ягодичных кущах, несоразмерные пылкости, тонные тени по ягодицам, а также женские крапленые прелести.

Из своего отеля в Женеве Градус пытался связаться с Лавендером по телефону, но услышал, что того до полудня беспокоить не велено. К полудню Градус уже катил и телефонировал снова, на сей раз из Монтре. Лавендеру о нем уже доложили, не соблаговолит ли господин Дегре приехать к чаю? Он позавтракал в приозерном кафе, прогулялся, приценился в сувенирной лавчонке к хрустальному жирафику, купил газету, прочитал ее на скамейке и, наконец, поехал дальше. Близ Лэ он заблудился в крутых извилистых улочках. Остановясь над виноградником у грубо намеченного входа в недостроенный дом, он увидал в направлении трех указательных пальцев троицы вольных каменщиков красную кровлю виллы Лавендера, высоко в восходящей зелени по другую сторону улочки. Он решил оставить машину и взобраться по каменным ступеням того, что представлялось кратчайшим путем. Пока он карабкался вверх стиснутой стенами дорожкой, не упуская из виду кроличьей лапы тополя, то скрывавшей красную крышу на вершине подъема, то вновь открывавшей, солнце отыскало в дождевых тучах слабое место, и сразу драная прорва в них обросла сияющим ободком. Он ощутил тягость и запах нового коричневого костюма, купленного в Копенгагене и уже измятого. Пыхтя, поглядывая на часы и обмахиваясь мягкой, тоже новешенькой фетровой шляпой, он, наконец, долез до поперечного продолжения петлистой улочки, оставленной им внизу. Пересекши ее, он миновал калитку, поднялся по гравистой тропке и оказался перед виллой Лавендера. Ее название, «Libitina», изображалось прописными буквами над одним из зарешеченных северных окон, буквы были из черного провода, а точки над каждой из трех i хитроумно подделывались смолеными шляпками запорошенных мелом гвоздей, вколоченных в белый фасад. Этот прием и эти решетки на обращенных к северу окнах Градус и прежде встречал на швейцарских виллах, а невосприимчивость к классическим мотивам не позволяла ему получить удовольствие от дани, уплаченной жутковатым весельем Лавендера римской богине могил и трупов. Иное увлекло его внимание: из-за створки углового окна доносились звуки рояля, мощная, мятежная музыка, которая по какой-то странной причине, – как он сам мне после рассказывал, – внушила ему мысль о возможности, им не учтенной, заставив руку его рвануться к заднему карману, ибо он изготовился встретить не Лавендера и не Одона, но самого одаренного псалмопевца – Карла Излюбленного. Музыка прервалась, покамест Градус, смущенный причудливой формой дома, мялся перед остекленным крыльцом. Из боковой зеленой двери возник пожилой прислужник в зеленом и повел его к другому входу. Изображая непринужденность (не ставшую более натуральной после утомительных репетиций), Градус спросил сперва на дурном французском, затем на еще худшем английском и, наконец, на сносном немецком, много ли в доме гостей, но лакей лишь улыбнулся и с поклоном указал ему на музыкальный салон. Музыканта тут не было. Арфоподобный рокот еще исходил из рояля, на котором чета пляжных сандалий стояла, будто на бережку озерца с кувшинками. С приоконной скамьи поднялась, сверкая стеклярусом, костлявая дама и представилась

гувернанткой племянника мистера Лавендера. Градус поведал, как ему не терпится увидать сенсационную коллекцию мистера Лавендера, – это было самое подходящее определение для картинок, изображающих любодейства в плодовых садах, – но гувернантка (которую король называл – прямо в довольное лицо – «мадемуазель Белла» вместо «мадемуазель Блуд») поспешила признаться в полном своем неведеньи касательно увлечений и накоплений хозяина и предложила гостю осмотреть пока сад: «Гордон покажет вам свои любимые цветы», – сказала она и крикнула в соседнюю комнату: «Гордон!». С некоторой неохотой вышел оттуда худощавый, но крепкий на вид подросток лет четырнадцати-пятнадцати, окрашенный солнцем в нектариновые тона. На нем была одна только паховая повязка в леопардовых пятнах. Коротко подрезанные волосы были немного светлее кожи. На прелестном животном лице его выражались и замкнутость, и лукавство. Наш озабоченный заговорщик этих подробностей не заметил, а остался при общем ощущении некоторого неприличия. «Гордон у нас музыкальный кудесник», – сказала мисс Блуд, и мальчика перекосило. «Гордон, вы покажете этому господину сад?». Мальчик нехотя согласился, прибавив, что он бы тогда уж и окунулся, если никто не против. Обув сандалии, он вывел гостя наружу. Светом и тенью шла эта странная пара: грациозный отрок, увитый по чреслам черным плющом, и убогий убийца в коричневом дешевом костюме, со сложенной газетой, торчавшей из левого кармана пиджака.

Вот Грот, – сказал Гордон. – Я как-то скоротал здесь ночку с другом.

Градус проник равнодушным взором в мшистую нишу, где различался надувной матрац с темным пятном на оранжевом нейлоне. Алчными губами мальчик припал к трубочке родниковой воды и вытер мокрые руки о свои черные плавки. Градус посмотрел на часы. Пошли дальше.

Вы еще ничего не видели, – сказал Гордон.

Хотя в доме имелось по меньшей мере с полдюжины ватерклозетов, мистер Лавендер, на добрую память о дедушкиной ферме в Делавере, установил под самым высоким тополем своего роскошного сада деревенский нужник, а для особо избранных гостей, коих чувство юмора умело это снести, снимал с крюка, удобно соседствующего с камином в бильярдной, красиво вышитый валик, изогнутый в форме сердца, чтобы гостю было что подложить под себя, усаживаясь на трон.

Дверь нужника стояла наотмашь, на внутренней ее стороне мальчишеская рука нацарапала углем: «Здесь был Король».

– Неплохая визитная карточка, – выдавив смешок, отметил Градус. – А кстати, где он теперь, этот король?

– А кто его знает, – сказал мальчик, хлопнув себя по бокам в белых теннисных шортах, – это было в прошлом году. Он, вроде, собирался на Лазурный берег, да только я не уверен.

Милый Гордон соврал и правильно сделал. Он отлично знал, что его огромного друга нет уж больше в Европе, – вот только не стоило милому Гордону упоминать о Ривьере, потому что это была правда, и потому что упоминание заставило Градуса, знавшего о тамошнем палаццо королевы Дизы, мысленно хлопнуть себя в лоб.

Дошли до плавательного бассейна. Градус, в глубоком раздумьи, опал в холщовое кресло. Надо будет немедленно телеграмму в Управление. Затягивать визит ни к чему. С другой стороны, внезапный отъезд может навлечь подозрения. Кресло под ним крякнуло, он огляделся в поисках другого сиденья. Юный сатир уже смежил глаза и простерся навзничь на мраморном окаеме бассейна, тарзанские трусики валялись, отброшенные, в траве. Градус с отвращением плюнул и поплелся обратно в дом. Тут же побежал со ступеней террасы старый служитель, сообщая на трех языках, что Градуса требуют к телефону. Мистер Лавендер так ко времени и не управился, но хотел бы поговорить с господином Дегре. За обменом приветствиями наступила недолгая пауза, и Лавендер спросил: «А вы, точно, не из поганых проныр этой трепаной французской газетки?». «Что?» – спросил Градус, он так и выговорил – «что». «Пронырливый трепанный сучий потрох, а?». Градус повесил трубку.

Он вернулся к машине и въехал по склону горы повыше. Вот с этого изгиба дороги дымчатым и светозарным сентябрьским днем, с рассекавшей видный меж двух балясин простор прокосиной первой серебряной нити, смотрел король на искристые зыби Женевского озера и обнаружил для них антифонный отзыв – отблески станиолевых

пугал в виноградниках на склоне горы. Стоя тут и уныло глядя на красные черепицы уютно укрытой деревьями виллы Лавендера, Градус способен был разглядеть, не без помощи тех, кто его превосходит, кусочек лужайки, частичку бассейна, он различил даже пару сандалий на мраморном его ободке – все, что осталось от Нарцисса. Видимо, он размышлял, не послоняться ли немного окрест, дабы увериться, что его не надули. Издалека снизу доносились лязги и дрязги каменщиков за работой, и внезапно поезд пронесся садами, и геральдическая бабочка, volant en arrière, червленый пояс по черному щиту, перемахнула каменный парапет, и Джон Шейд взялся за новую карточку.

64
Строка 413: там нимфа в пируэте

В черновике было легче и музыкальней:

413 Нимфетка пируэтит

65
Строки 417–421: Я к гранкам поднялся наверх и т. д.

Черновик дает интересный вариант:

Я влез наверх, едва заквакал джаз,

И стал читать: «В таких его стихах:

„Зри пляшет вор слепой, поет хромая голь,

Здесь забулдыга – бог, помешанный – король“ –

Весь злобный век звенит». И вот твой зов веселый…

Это, разумеется, из Попова «Опыта о человеке». Уж и не знаешь, чему больше дивиться: Попу ли, не сумевшему найти односложного слова и сохранить раз выбранный размер (к примеру, «тварь – царь»), или Шейду, заменившему прелестные строки куда более дряблым окончательным текстом. Или он боялся обидеть истинного короля? Размышляя о недавнем прошлом, я так и не смог задним числом уяснить, вправду ли он «разгадал мой секрет», как он обронил однажды (смотри примечания к строке 991).

66
Строки 426–427: за Фростом, как всегда (один, но скользкий шаг)

Речь идет, конечно, о Роберте Фросте (р. 1874). Эти строки являют нам одно из тех сочетаний каламбура с метафорой («frost» – «мороз»), в которых так был силен наш поэт. На температурных листках поэзии высокое – низко, а низкое – высоко, так что совершенная кристаллизация возникает градусом выше, чем тепловатая гладкость. Об этом, собственно, и говорит наш поэт, касаясь атмосферы собственной славы.

Фрост является автором одного из величайших в английской литературе стихотворений, которое каждый американский мальчик знает наизусть, – о зимнем лесе, об унылых сумерках, о бубенцах мягкой укоризны в тускло темнеющем воздухе, стихотворения, завершающегося так мучительно и волшебно: две последние строки совпадают в каждом слоге, но одна – личностна и материальна, другая же – идеальна и всемирна. Я не смею цитировать по памяти, дабы не сместить ни единого драгоценного словца.

При всех превосходных дарованиях Джона Шейда он так и не смог добиться, чтобы его снежинки опадали подобным же образом.

67
Строки 431–432: в мартовской ночи… зрели фары, близясь

Заметьте, как тонко сливается в этом месте телевизионная тема с темой девушки (смотри строку 445: «еще огни в тумане…»).

68
Строки 433–434: Мы здесь гостили в тридцать третьем… те волны

В 1933 году принцу Карлу исполнилось восемнадцать, а Дизе, герцогине Больна, пять лет. Поэт вспоминает здесь Ниццу (смотри еще строку 240), там провели Шейды первую часть этого года, но и на этот раз, как и в отношении других драгоценных граней прошлого моего друга, я не располагаю подробностями (а кто виноват, дорогая С.Ш.?) и не могу сказать, добрались ли они в их вполне вероятных прогулках до Турецкого мыса, разглядели ль, гуляючи по обыкновенно открытой туристам олеандровой аллее, италийскую виллу, построенную дедом королевы Дизы в 1908-м году и называвшуюся в ту пору Villa Paradiso (т. е. райская), а по-земблянски – Villa Paradisa, – позже, дабы почтить любимую внучку, у виллы отняли первую половину названия. Здесь провела она первых пятнадцать летних сезонов своей жизни, сюда возвратилась в 1953-м году «по состоянию здоровья» (как внушали народу), на деле же, будучи сосланной королевой здесь проживает она и поныне.

Когда разразилась (1 мая 1958 года) Земблянская революция, Диза отправила королю сумбурное письмо, написанное на гувернанточьем английском, настаивая, чтобы он приехал и остался с ней, пока положение не прояснится. Письмо, перехваченное полицейскими силами Онгавы, перевел на топорный земблянский индус, состоявший в партии экстремистов, и затем зачитал царственному узнику вслух несосветимый комендант Дворца. Письмо содержало одну, – слава Богу, всего лишь одну – сантиментальную фразу: «Я хочу, чтобы ты знал: сколько ты ни мучил меня, ты не смог замучить моей любви», и эта фраза приобрела (если перевести ее обратно с земблянского перевода) следующий вид: «Я хочу тебя и люблю, когда ты порешь меня кнутом». Король оборвал коменданта, назвав его гаером и мерзавцем, и вообще так ужасно оскорбил всех присутствовавших, что экстремистам пришлось спешно решать, – пристрелить ли его на месте или отдать ему подлинное письмо.

Со временем он сумел сообщить ей, что заточен во Дворце. Доблестная Диза, в спешке оставив Ривьеру, предприняла романтическую, но по счастию не удавшуюся попытку вернуться в Землю. Когда бы она сумела высадиться в стране, ее бы немедленно заточили, а это весьма помешало бы спасению короля, удвоив тяготы побега. Послание карлистов, содержавшее эти несложные соображения, остановило ее в Стокгольме, и она вернулась в свое гнездо разочарованная и разгневанная (полагаю, главным образом тем, что послание вручил ей добродушный кузен по прозвищу «Творожная Кожа», которого она не выносила). Немного прошло недель, как она взволновалась пуще прежнего, – слухами о возможности смертного приговора для мужа. Вновь покинула она Турецкий мыс и помчалась в Брюссель, и наняла самолет, чтобы лететь на север, когда приспело другое послание, на этот раз от Одона, известившее, что он и король выбрались из Земблы, и что ей надлежит спокойно вернуться на виллу «Диза» и там ожидать новостей. Осенью этого же года Лавендер сообщил ей, что вскоре прибудет от мужа человек, чтобы обговорить кое-какие деловые вопросы по части собственности, которыми она и муж совместно владеют за границей. Сидя на террасе под джакарандой, она писала Лавендеру отчаянное письмо, когда высокий, остриженный и бородатый гость, понаблюдавший за нею издали, прошел под гирляндами тени и приблизился с букетом «Красы богов» в руке. Она подняла глаза – и, конечно, ни грим, ни темные очки не смогли и на миг одурачить ее.

Со времени ее окончательного отъезда из Земблы он дважды побывал у нее, в последний раз – два года назад, и за утраченное время ее белолицая, темноволосая краса приобрела новый – зрелый и грустный отсвет. В Зембле, где женщины большей частью белесы и весноваты, в ходу поговорка: belwif ivurkumpf wid snew ebanumf – «красивая женщина должна быть как роза ветров из слоновой кости с четырьмя эбеновыми частями». Вот по этой нарядной схеме и создавала Дизу природа. Присутствовало в ней и что-то еще, понятое мной лишь по прочтении «Бледного пламени» или, вернее, по перечтении его после того, как спала с глаз первая горькая и горячая пелена разочарования. Я имею в виду строки 261–267, в которых Шейд описывает жену. В ту пору, когда он писал этот поэтический портрет, его натурщица вдвое превосходила королеву Дизу годами. Я не хочу показаться вульгарным в столь деликатных материях. Однако факт остается фактом, – шестидесятилетний Шейд придает хорошо сохранившейся сверстнице вид неизменный и

неземной, который он лелеял или ему полагалось лелеять в своем благородном и добром сердце. Но вот что удивительно: тридцатилетняя Диза, когда я в последний раз увидел ее в сентябре 1958 года, обладала поразительным сходством, — разумеется, не с миссис Шейд, какой та стала ко времени, когда я впервые ее повстречал, но с идеализированным и стилизованным изображением, созданным поэтом в упомянутых выше строках «Бледного пламени». Собственно, идеализированным и стилизованным оно является лишь по отношению к старшей из женщин: в отношении королевы Дизы — в тот полдень, на той синеватой террасе — оно предстало чистой, неприукрашенной правдой. Я верю, что читатель прочувствует странность этого, ибо, если он ее не прочувствует, что толку тогда писать стихи или комментарии к ним или вообще писать что бы то ни было.

Она казалась также спокойней против прежнего: самообладание ее улучшилось. В прошлые встречи, да и во всю их земблянскую брачную жизнь, у ней случались ужасные вспышки дурного нрава. В первые года супружества, когда он еще полагал возможным смирить эти взрывы и всполохи, для того стараясь внушить ей разумный взгляд на постигшие ее напасти, вспышки эти очень сердили его, но постепенно он научился выгадывать на них и даже бывал им рад, — они позволяли на все более долгие сроки избавляться от ее общества, не призывая ее к себе после того, как отхлопает, удлиняясь, вереница дверей, или лично покидая Дворец для какого-нибудь укромного сельского приюта.

В начале их пагубного союза он усердствовал в стараниях овладеть ею, но не преуспел. Он ей сказал, что никогда еще не предавался любви (и то была совершенная правда, ибо подразумеваемое деяние могло обозначать для нее только одно), и вынужден был за это сносить смешные потуги ее старательного целомудрия, поневоле отдающие куртизанкой, принимающей то ли слишком уж старого, то ли чересчур молодого гостя; что-то он ей такое сказал по этому поводу (в основном, чтобы облегчить пытку), и она закатила безобразную сцену. Он начинял себя любовными зельями, но передовые признаки ее злосчастного пола с роковым постоянством отвращали его. Однажды, когда он напился тигрового чаю, и надежды достаточно возвысились, он совершил оплошность, попросив ее исполнить прием, который она, совершая другую оплошность, объявила ненатуральным и гнусным. В конце концов, он ей признался, что давнее падение с лошади сделало его неспособным, но путешествия с друзьями и обильные морские купания несомненно должны воскресить его силу.

Она недавно потеряла обоих родителей, а надежного друга, чтобы испросить у него объяснения и совета, когда добрались до нее неизбежные слухи, она не имела, — слишком гордая, чтобы рядить о них с камеристками, она обратилась к книгам, все из них вызнала о наших мужественных земблянских обычаях и затаила наивное горе под великолепной личиной саркастической умудренности. Он похвалил ее за такое расположение, торжественно пообещав отринуть, по крайности в скором будущем, юношеские привычки, но на всех путях его вставали навытяжку могучие искушения. Он уступал им — время от времени, потом через день, а там и по нескольку раз на дню, — особенно в пору крепкого правления Харфара, барона Шелксбор, феноменально оснащенного молодого животного (родовое имя которого, Shalksbore — «угодья мошенника», — происходит, по всем вероятиям, от фамильи «Shakespear»). За «Творожной Кожей», как прозвали Харфара его обожатели, тащился эскорт акробатов и нагольных наездников, вся эта шатия отчасти разнуздалась, так что Диза, негаданно возвратившаяся из поездки по Швеции, нашла Дворец обратившимся в цирк. Он снова дал обещание, снова пал и, несмотря на крайнюю осторожность, снова попался. В конце концов, она уехала на Ривьеру, оставив его забавляться со стайкой импортированных из Англии сладкоголосых миньончиков в итонских воротничках.

Какие же чувства, в лучшем случае, питал он к Дизе? Дружеское безразличие и хладное уважение. Даже в первом цвету их брака не испытал он ни какой-либо нежности, ни возбуждения. О жалости, о душевном сочувствии и спрашивать нечего. Он был, и был всегда, небрежен и бессердечен. Но в глубине его спящей души и до, и после разрыва совершались удивительные искупления.

Сны о ней возникали гораздо чаще и несравненно более острые, чем то обещалось поверхностью его чувства к ней, они приходили, когда он меньше всего о ней думал, заботы, никак с ней не связанные, принимали ее облик в подсознательном мире, — совсем как в детской сказке становится жар-птицей сражение или реформа. Эти тяжкие сны превращали сухую прозу его чувств к ней в сильную и странную поэзию, стихающее волнение которой осеняло его и томило весь день, вновь

воскрешая образы обилия и боли, потом одной только боли, а после только ее скользящих бликов, – но никак не меняя его отношения к Дизе телесной.

Образ ее, снова и снова являвшийся к нему в сны, опасливо вставая с далекой софы или блуждая в поисках вестника, только что, говорят, прошедшего сквозь портьеру, чутко следил за переменами моды, но Диза в том платье, что было на ней в лето взрыва на Стекольных заводах или в прошлое воскресенье, или в любой другой из прихожих времени, навсегда осталась точно такой, какой была она в тот день, когда он впервые сказал ей, что не любит ее. Это случилось во время безнадежной поездки в Италию, в саду приозерной гостиницы, – розы, черные араукарии, ржавость и зелень гортензий, – в один безоблачный вечер, когда горы на дальнем другом берегу плавали в мареве заходящего солнца, и озеро, все как персиковый сироп, то и дело переливалось бледной голубизной, и в газете, расстеленной по мусорному дну у каменистого берега, ясно читалось под тонкой сквозистой тиной любое слово, и поскольку, выслушав его, она в невыносимой позе осела в траву, хмурясь, теребя стебельки, он тут же и взял все слова обратно, но зеркало уже залучилось от удара, и с той поры в его снах память об этом признании пристала к ее образу, словно болезнь или тайный послед операции, слишком интимной, чтобы ее назвать.

Скорее сутью, чем истинной фабулой снов было неустанное отрицание того, что он не любит ее. Чувственная тональность, духовная страстность и глубина приснившейся любви превосходили все, что испытывал он в своей поверхностной жизни. Эта любовь напоминала нескончаемое заламывание рук, как будто душа брела вслепую по бесконечному лабиринту беспросветности и раскаяния. В каком-то смысле, то были любовные сны, ибо их пронизывала нежность, желание приникнуть лбом к ее лону и выплакать все свое безобразное прошлое. Ужасное сознание ее юности и беспомощности переполняло их. Они были чище, чем его жизнь. Тот плотский ореол, что присутствовал в них, исходил не от нее, но от тех, с кем он ее предавал, – от колючей челюсти Фрины, от Тимандры с этаким гиком под фартуком, – но даже эта сексуальная накипь мрела где-то поверх затонувшего сокровища и совсем ничего не значила. Он видел, как приходит к ней некий туманный родственник, такой далекий, что и лица нипочем уже не разглядеть, Она поспешно прятала что-то и дугою тянула руку для поцелуя. Он понимал, что она только сию минуту нашла предательский предмет, – наездницкий сапог у него в постели – с несомненностью обличавший его неверность. Бусинки пота выступали на бледном открытом лбу, – но ей приходилось выслушивать болтовню случайного гостя или направлять передвиженья рабочего, который то опуская, то задирая лицо, в обнимку с лестницей подвигался к высаженному окну. Можно было снести, – немилосердный и сильный сонливец мог снести, сознание ее горя и гордости, но никто не вынес бы вида машинальной улыбки, с которой она переходила от жуткой улики к подобающим вежливым банальностям. Она могла отменять иллюминацию или говорить о больничных койках со старшей сестрой, или просто заказывать завтрак на двоих в приморской пещере, – но сквозь будничную безыскусность беседы, сквозь игру обаятельных жестов, которой она всякий раз сопровождала определенные избитые фразы, он, стонущий во сне, различал замешательство ее души и сознавал, что на нее навалилась гнусная, незаслуженная, унизительная беда, и что только непременности этикета и стойкая доброта к безвинному собеседнику дают ей силы улыбаться. И наблюдая свет на ее лице, он уже видел, как тот мгновенно погаснет, едва уйдет посетитель, и сменится нестерпимою хмуростью, которой спящий никогда не сможет забыть. Он опять помогал ей подняться все с той же травы с кусочками озера, влипшими в просветы высоких балясин, и уже он и она прогуливались бок о бок по безвестной аллее, и он ощущал, как она следит за ним уголком неясной усмешки, но когда он набирался храбрости, чтобы встретиться с этим вопросительным мерцанием, она уже исчезала. Все изменялось, все были счастливы. И ему совершенно необходимо было найти ее и сказать, сию же минуту, как он ее обожает, но огромная толпа отделяла его от дверей, а в записках, доходивших через множество рук, говорилось, что она далеко, что она руководит торжественным открытием пожара, что она теперь замужем за американским дельцом, что она стала героиней романа, что она умерла.

Никакие угрызения этого рода не терзали его, пока он сидел на террасе ее виллы и рассказывал о своем счастливом побеге из Дворца. Она восхитилась описанием подземного похода в театр, постаралась вообразить веселую прогулку в горах, но та часть рассказа, где появлялась Гарх, ей не понравилась, она как будто бы парадоксальным образом предпочитала, чтобы он предался с этой девкой здоровому блуду. Резким тоном она попросила впредь опускать подобные интерлюдии, и он отвесил шутливый поклон. Однако, едва он начал рассуждать о политической

ситуации (двух советских генералов только что приставили к правительству экстремистов в виде иностранных советчиков), как знакомое безучастное выражение появилось в ее глазах. Теперь, когда он без ущерба покинул страну, вся голубая махина Земблы, от мыса Эмблы до залива Эмблемы, могла провалиться в море, она бы и не сморгнула. Ее сильнее заботил потерянный им вес, чем потерянное им королевство. Между делом она спросила о сокровищах короны, он открыл ей местонахождение оригинальной кладовой, и она скисла в девичьем смехе, чего не бывало уже многие годы. «Нам нужно кое-что обсудить, – сказал он. – И кроме того, есть бумаги, которые ты должна подписать.» Наверху за шпалерой звон телефона запутался в розах. Одна из прежних ее камеристок, томная и элегантная Флер де Файлер (уже сорокалетняя и поблекшая) с прежним жемчугом в вороных волосах и в традиционной белой мантилье, принесла из будуара Дизы нужные документы. Услышав за лаврами сочный голос короля, Флер узнала его еще прежде, чем смогла обмануться безупречной маскировкой. Два лакея, приятные молодые иностранцы явно латинского типа, вынесли чай и застали Флер в полуреверансе. Внезапный ветер ощупью закопошился в глициниях. Филер, дефилер, дефлоратор флоры, растлитель цветов. Он спросил у Флер, поворотившейся, чтобы унести букет орхидей «Disa», все ли еще играет она на виоле. Она покивала, не желая обращаться к нему без титула и не решаясь титуловать, пока могли их услышать слуги.

Снова они остались одни. Диза быстро нашла нужные бумаги. Покончив с этим, они поговорили немного о приятных пустяках, вроде основанной на земблянском сказании фильмы, которую Одон намеревался снимать в Риме или в Париже. Как, гадали они, сможет он изобразить narstran, адский чертог, где под мерной моросью драконьего яда, источаемого мглистыми сводами, терзают души убийц? В общем и целом, беседа протекала вполне удовлетворительно, – хоть пальцы ее и дрожали, касаясь локотка его кресла. Теперь осторожнее.

– Какие у тебя планы? – осведомилась она. – Почему бы тебе не пожить здесь, сколько захочешь? Пожалуйста, останься. Я скоро уеду в Рим, весь дом будет твой. Вообрази, здесь можно уложить едва ли не сорок гостей, сорок арабских разбойников. (Влияние громадных терракотовых вазонов в саду.)

Он ответил, что на следующий месяц едет в Америку, а завтра у него дело в Париже.

Почему в Америку? Что он там станет делать?

Преподавать. Изучать литературные шедевры с блестящими и очаровательными молодыми людьми. Хобби, которому он теперь волен отдаться.

– Я, конечно, не знаю, – забормотала она, не глядя, – не знаю, но может быть, если ты ничего не имеешь против, я могла бы приехать в Нью-Йорк, – я хочу сказать, всего на неделю-другую, не в этом году, в следующем.

Он похвалил ее блузу, усыпанную серебристыми блестками. Она настаивала: «Так как же?» «И прическа тебе к лицу.» «Ах, ну какое все это имеет значение, – простонала она. – Господи, какое значение имеет хоть что-нибудь!» «Мне пора», – улыбаясь, шепнул он и встал. «Поцелуй меня», – сказала она и на миг обмякла в его руках дрожащей тряпичной куклой.

Он шел к калитке. На повороте тропинки он обернулся и разглядел вдалеке ее белеющую фигуру, с равнодушным изяществом несказанного горя поникшую над садовым столиком, и хрупкий мостик внезапно повис между бодрствующим безразличием и спящей любовью. Но тут она шевельнулась, и он увидал, что это уже не она, а бедная Флер де Файлер, собирающая бумаги, оставленные среди чайной посуды. (Смотри примечание к строке 81.)

Когда во время нашей вечерней прогулки в мае или в июне 1959 года я развернул перед Шейдом весь этот чарующий материал, он, добродушно улыбаясь, оглядел меня и сказал: «Все это чудесно, Чарльз. Но возникают два вопроса. Откуда вы можете знать, что все эти интимные подробности относительно вашего жутковатого короля – истинная правда? И если это правда, как можно печатать подобные личности о людях, которые, надо полагать, пока еще живы?»

– Джон, дорогой мой, – отвечал я учтиво и настоятельно, – не нужно думать о пустяках. Преображенные вашей поэзией, эти подробности станут правдой, и

личности станут живыми. Поэт совершает над правдой обряд очищения, и она уже не способна причянить обиды и боль. Истинное искусство выше ложной почтительности.

— Конечно, конечно, — сказал Шейд. — Конечно, можно запрячь слова, словно ученых блох, и на них поедут другие блохи. А как же!

— И сверх того, — продолжал я, пока мы шли по дороге прямиком в огромный закат, — как только будет готова ваша поэма, как только величие Земблы сольется с величием ваших стихов, я намереваюсь объявить вам конечную истину, чрезвычайный секрет, который вполне усмирит вашу совесть.

69
Строка 468: прицелился

Едучи обратно в Женеву, Градус гадал, когда же ему доведется проделать это — прицелиться. Стояла несносная послеполуденная жара. Озеро обросло серебристой окалиной, тускло отражавшей грозовую тучу. Как многие опытные стеклодувы, Градус умел довольно точно определять температуру воды по особенностям ее блеска и подвижности, и теперь он заключил, что она составляет не менее 23°. Едва вернувшись в отель, он заказал международный разговор. Разговор получился тяжелым. Полагая, что это привлечет меньше внимания, чем язык страны БЖЗ, злоумышленники переговаривались на английском, — на ломаном английском, чтоб уж быть точным: одно время, ни одного артикля и два произношения, оба неверные. К тому же они следовали хитроумной системе (изобретенной в одной из главных стран БЖЗ), используя два различных набора кодовых слов, — Управление, к примеру, вместо «король» говорило «бюро», а Градус говорил «письмо», от этого трудности общения значительно возрастали. И наконец, каждая из сторон успела забыть смысл кое-каких кодовых фраз из словаря противной стороны, — в итоге их путаная и дорогостоящая беседа походила на помесь игры в шарады с барьерным бегом в темноте. Управление пришло к заключению, что письма короля, выдающие место его пребывания, можно добыть, проникнув на виллу «Диза» и порывшись в бюро королевы, Градус же, ничего подобного не говоривший, но попросту пытавшийся отчитаться о визите в Лэ, с досадой узнал, что ему надлежит не искать короля в Ницце, а дожидаться в Женеве партии консервированной лососятины. Одно он, во всяком случае, уяснил: впредь ему следует не звонить, а слать письма или телеграммы.

70
Строка 469: негр

Однажды мы беседовали о предрассудках. Ранее в этот день, за завтраком в преподавательском клубе, гость профессора Х., дряхлый отставной ученый из Бостона, которого его хозяин с глубоким почтением аттестовал как «истинного патриция, настоящего брамина голубых кровей» (дед брамина торговал подтяжками в Белфасте), самым естественным и добродушным образом отнесся о происхождении одного не очень привлекательного нового сотрудника библиотеки колледжа: «представитель „избранного народа“, насколько я понимаю» (и при этом уютно фыркнул от удовольствия), на что доцент Миша Гордон, рыжий музыкант, резко заметил, что «Бог, разумеется, волен выбирать себе какой угодно народ, но человек обязан выбирать приличные выражения».

Пока мы неторопливо возвращались, мой друг и я, в наши сопредельные замки, осененные легким апрельским дождичком, о котором он в одном из своих лирических стихотворений сказал:

Эскиз Весны, небрежный, карандашный

Шейд говорил о том, что больше всего на свете он ненавидит пошлость и жестокость, и что эта парочка идеально сочетается в расовых предрассудках. Он сказал, что как литератор, он не может не предпочесть «еврея» — «иудею» и «негра» — «цветному», но тут же прибавил, что сама подобная манера на одном дыхании упоминать о двух розных предубеждениях — это хороший пример беспечной или демагогической огульности (столь любезной левым), поскольку в ней стираются различия между двумя историческими моделями ада: зверством гонений и варварскими привычками рабства. С другой стороны [допустил он] слезы всех униженных человеческих существ в безнадежности всех времен математически равны друг дружке, и возможно [полагал он], не слишком ошибешься, усмотрев семейное

сходство (обезьянью вздутость ноздрей, тошнотную блеклость глаз) между линчевателем в жасминовом поясе и мистическим антисемитом, когда оба они предаются излюбленной страсти. Я сказал, что молодой негр-садовник (смотри примечание к строке 998), недавно нанятый мной, – вскоре после изгнания незабвенного квартиранта (смотри Предисловие), – неизменно употребляет слово «цветной». Как человек, торгующий словами, новыми и подержанными [заметил Шейд], он не переносит этого эпитета не только потому, что в художественном отношении он уводит в сторону, но и потому, что значение его слишком зависит от того, кто его прилагает и к чему. Многие сведущие негры [признал он] считают его единственно достойным употребления словом, эмоционально нейтральным и этически безобидным, их авторитет обязывает всякого порядочного человека, не принадлежащего к неграм, следовать этому указанию, но поэты указаний не любят, впрочем, люди благовоспитанные обожают, чему-нибудь следовать и ныне используют «цветной» вместо «негр» так же, как «нагой» вместо «голый» и «испарина» вместо «пот», – хотя конечно [допустил он], и поэту случается приветить в «наготе» ямочку на мраморной ягодице или бисерную уместность в «испарине». Приходилось также слышать [продолжал он], как это слово используется в виде шутливого эвфемизма в каком-нибудь черномазом анекдоте, где нечто смешное говорится или совершается «цветным джентльменом» (неожиданно побратавшимся с «еврейским джентльменом» викторианских повестушек).

Я не вполне понял его «художественные» возражения против слова «цветной». Он объяснил это так: в самых первых научных трудах по птицам, бабочкам, цветам и так далее изображения раскрашивались от руки прилежными акварелистами. В дефектных или же недоношенных экземплярах некоторые из фигурок оставались пустыми. Выражения «белый» и «цветной человек», оказавшиеся в непосредственном соседстве, всегда напоминали моему поэту – и так властно, что он забывал принятые значения этих слов, те окаемы, что так хотелось ему заполнить законными цветами – зеленью и пурпуром экзотического растения, сплошной синевой оперения, гераниевой перевязью фестончатого крыла. «И к тому же [сказал он], мы, белые, вовсе не белые, – при рождении мы сиреневые, потом приобретаем цвета чайной розы, а позже – множество иных отталкивающих оттенков.»

71
Строка 476: Папаша-Время, старый сторож здешний

Читателю следует обратить внимание на изящную перекличку со строкой 313.

72
Строка 489: Экс

«Экс» означает, по-видимому, Экстон, – фабричный городок на южном берегу озера Омега. В нем находится довольно известный музей натуральной истории, во многих витринах которого выставлены чучела птиц, пойманных и набитых Сэмюелем Шейдом.

73
Строки 492–493: сама она сквиталась с ненужной юностью

Нижеследующие замечания не являются апологией самоубийства – это всего лишь простое и трезвое описание духовной ситуации.

Чем чище и ошеломительней вера человека в Провидение, тем сильнее для него соблазн покончить разом со всей повесткой бытия, но тем сильнее и страх перед ужасным грехом самоуничтожения. Рассмотрим прежде соблазн. Как с большей полнотой обсуждается в другом месте настоящего комментария (смотри примечания к строке 550), серьезная концепция любой из форм загробной жизни неизбежно и необходимо предполагает некую степень веры в Провидение; и обратно, глубокая христианская вера предполагает уверенность в некоторой разновидности духовного выживания. Представления о таком выживании не обязательно должны быть рационалистическими, т. е. они не должны давать нам точных характеристик личных фантазий или общей атмосферы субтропического восточного сада. В сущности, доброго земблянского христианина тому и учат, что истинная вера существует вовсе не для того, чтобы снабжать его картами и картинками, но что она должна мирно довольствоваться томным туманом приятного предвкушения. Возьмем пример из жизни: семья малыша Кристофера должна вот-вот переселиться в удаленную колонию, где его

папа получил пожизненную должность. Маленький Кристофер, хрупкий мальчик лет девяти-десяти, вполне полагается (фактически полагается в такой полноте, что последняя затемняет само осознание полагательства) на то, что старшие позаботятся обо всех мелочах отбытия, бытия и прибытия к месту. Он не может вообразить, как ни старается, конкретных особенностей ожидающих его новых мест, но он смутно и уютно уверен, что места эти будут даже лучше теперешней их усадьбы, где есть и высокий дуб, и гора, и его пони, и парк, и конюшни, и Гримм, старый грум, который на свой манер ласкает его, когда никого нет поблизости.

Чем-то от простоты такой веры должны обладать и мы. При наличии этой божественной дымки полной зависимости, проникающей все существо человека, не диво, что он впадает в соблазн, не диво, что он, мечтательно улыбаясь, взвешивает на ладони компактную пушечку в замшевой кобуре размером не более ключа от замковой калитки или мальчишечьей морщинистой мошны, не диво, что он поглядывает за парапет, в манящую бездну.

Я выбирал эти образы наугад. Существуют пуристы, уверяющие, что джентльмен обязан использовать два револьвера – по одному на каждый висок, либо один-единственный боткин (обратите внимание не правильное написание этого слова), дамам же надлежит либо заглатывать смертельную дозу отравы, либо топиться заодно с неуклюжей Офелией. Люди попроще предпочитают различные виды удушения, а второстепенные поэты прибегают даже к таким прихотливым приемам освобождения, как вскрытие вен в четвероногой ванне продуваемой сквозняками душевой в меблирашках. Все это пути ненадежные и пачкотливые. Из не весьма обильных известных способов стряхнуть свое тело совершеннейший состоит в том, чтобы падать, падать и падать, следует, впрочем, с большой осторожностью выбирать подоконник или карниз, дабы не ушибить ни себя, ни других. Прыгать с высокого моста не рекомендуется, даже если вы не умеете плавать, потому что вода и ветер полны причудливых случайностей, и нехорошо, когда кульминацией трагедии становится рекордный нырок или повышение полисмена по службе. Если вы снимаете ячейку в сияющих сотах (номер 1915 или 1959), в разметающем звездную пыль высотном отеле посреди делового квартала, и отворяете окно, и тихонько – не выпадаете, не выскакиваете, – но выскальзываете, дабы испытать уютность воздуха, – всегда существует опасность, что вы ворветесь в свой личный ад, просквозив мирного сомнамбулу, прогуливающего собаку; в этом отношении задняя комната может оказаться более безопасной, особенно при наличии далеко внизу крыши старого, упрямого дома с кошкой, на которую можно положиться, что она успеет убраться с дороги. Другая популярная отправная точка – это вершина горы с отвесным обрывом метров, положим, в 500, однако ее еще поди поищи, ибо просто поразительно, насколько легко ошибиться, рассчитывая поправку на склон, а в итоге какой-нибудь скрытый выступ, какая-нибудь дурацкая скала выскакивает и поддевает вас, и рушит в кусты – исхлестанного, исковерканного и ненужно живого. Идеальный бросок – это бросок с самолета: мышцы расслаблены, пилот озадачен, аккуратно уложенный парашют стянут, скинут, сброшен со счетов и с плеч, – прощай, shootka (маленький парашют)! Вы мчите вниз, но при этом испытываете некую взвешенность и плавучесть, плавно кувыркаетесь, словно сонливый турман, навзничь вытягиваясь на воздушном пуховике или переворачиваясь, чтобы обнять подушку, наслаждаясь каждым последним мгновением нежной и непостижной жизни, подстеганной смертью, и зеленая зыбка земли то ниже вас, то выше, и сладострастно распятое, растянутое нарастающей спешкой, налетающим шелестом, возлюбленное ваше тело исчезает в лоне Господнем. Если бы я был поэт, я непременно написал бы оду сладостной тяге – смежить глаза и целиком отдаться совершенной безопасности взыскующей смерти. Экстатически предвкушаешь огромность Божьих объятий, облекающих освобожденную душу, теплый душ физического распада, космическое неведомое, поглощающее ту неведомую минускулу, что была единственной реальной частью твоей временной личности.

Когда душа обожает Его, Которой ведет ее через смертную жизнь, когда она различает знаки Его на всяком повороте тропы – начертанными на скале, надсеченными на еловом стволе, когда любая страница в книге личной судьбы несет на себе Его водяные знаки, можно ли усомниться, что Он охранит нас также и в неизбывной вечности?

Так что же в состоянии остановить человека, пожелавшего совершить переход? Что в состоянии помочь нам противиться нестерпимому искушению? Что в состоянии помешать нам отдаться жгучему желанию слиться с Богом?

Нам, всякий день барахтающимся в грязи, верно, будет прощен один-единственный

грех, который разом покончит со всеми грехами.

74
Строка 501: L'if

Французское название тиса. Его английское название – yew, откуда и Юшейд («тень тиса» – смотри в строке 509). Интересно, что по-земблянски плакучая ива также называется «иф» (if, а тис называется – «таз», tas).

75
Строка 502: Большой батат

Омерзительный каламбур, намеренно помещенный чуть ли не вместо эпиграфа, дабы подчеркнуть отсутствие уважения к Смерти. Я еще со школьной скамьи помню soi-distant «последние слова» Рабле, находившиеся среди прочих блестящих обрывков в каком-то учебнике французского языка: «Je m'en vais chercher le grand peut-être».

76
Строка 504: IPH

Хороший вкус и закон о диффамации не позволяют мне открыть настоящее название почтенного института высшей философии, в адрес которого наш поэт отпускает в этой Песни немало прихотливых острот. Его конечные инициалы, HP (High Philosophy), снабдили студентов аббревиатурой «Hi-Phi», и Шейд тонко спародировал ее в своих комбинациях – IPH, или If. Он расположен, и весьма живописно, в юго-западном штате, который должен здесь остаться неназванным.

Должен заявить также, что совершенно не одобряю легкомыслия, с которым поэт наш третирует, в этой Песни, определенные аспекты духовных чаяний, осуществить которые способна только религия (смотри примечание к строке 550).

77
Строка 549: Iph презирал богов (Включая Г)

Вот где истинный Гвоздь вопроса! И понимания этого, сдается мне, не хватало не только Институту (смотри строку 517), но и самому поэту. Для христианина никакая потусторонняя жизнь не является ни приемлемой, ни вообразимой без участия Господа в нашей вечной судьбе, что, в свой черед, подразумевает заслуженное воздаяние за всякое прегрешение, большое и малое. В моем дневничке присутствует несколько извлечений из разговора между мной и поэтом, бывшего 23 июня «на моей веранде после партии в шахматы, ничья». Я переношу их сюда лишь для того, что они прекрасно высвечивают его отношение к этому предмету.

Мне случилось упомянуть, – забыл, в какой связи, – о некоторых отличиях его Церкви от моей. Нужно сказать, что наша земблянская разновидность протестантства довольно близка к «верхним» англиканским церквям, но обладает и кой-какими свойственными только ей одной возвышенными странностями. Нашу Реформацию возглавил гениальный композитор, наша литургия пронизана роскошной музыкой, и нет в целом свете голосов слаще, чем у наших мальчиков-хористов. Сибил Шейд родилась в семье католиков, но уже в раннем девичестве, как она сама мне рассказывала, выработала «собственную религию», что, как правило, означает, в самом лучшем случае, полуприверженность к какой-либо полуязыческой секте, в худшем же еле теплый атеизм. Мужа она отлучила не только от отеческой епископальной церкви, но и от всех иных форм обрядового вероисповедания.

По какой-то причине мы разговорились о помутившемся ныне понятии «греха», о том, как оно смешалось с идеей «преступления», значительно более плотски окрашенной, и я кратко остановился на своих детских впечатлениях от некоторых обрядов нашей церкви. Мы исповедуемся на ухо священнику в богато украшенном алькове, исповедник держит в руке горящую свечку и стоит сбоку от высокого пасторского кресла, очень похожего по форме на коронационный трон шотландского короля. Бывши воспитанным мальчиком, я вечно боялся закапать его лилово-черный рукав жгучими восковыми слезами, что текли по моим костяшкам, образуя тугую корочку; как

завороженный, смотрел я на освещенную выемку его уха, напоминавшую морскую раковину или лоснистую орхидею, – извилистое вместилище, казавшееся мне слишком просторным для моих пустячных грехов.

ШЕЙД: Все семь смертных грехов пустячны, однако без трех из них: без гордыни, похоти и праздности поэзия никогда не смогла бы родиться.

КИНБОТ: Честно ли основывать возражения на устаревшей терминологии?

ШЕЙД: На ней основана любая религия.

КИНБОТ: То, что мы называем Первородным Грехом, никогда устареть не может.

ШЕЙД: Об этом я ничего не знаю. В детстве я вообще считал, что речь идет об убийстве Авеля Каином. Лично я – на стороне старинных табакерочников: L'homme est né bon.

КИНБОТ: И все же, основное определение греха – это непослушание Господней воле.

ШЕЙД: Как я могу слушаться того, чего не ведаю, и чего самую существенность я вправе отрицать?

КИНБОТ: Те-те-те! А существенность грехов вы тоже отрицаете?

ШЕЙД: Я могу назвать только два: убийство и намеренное причинение боли.

КИНБОТ: Значит, человек, ведущий совершенно уединенную жизнь, не может быть грешником?

ШЕЙД: Он может мучить животных. Может отравить источники своего острова. Он может в посмертном заявлении оговорить невинного.

КИНБОТ: И стало быть, девиз?..

ШЕЙД: Жалость.

КИНБОТ: Но кто же внушил ее нам, Джон? Кто Судия жизни и Творец смерти?

ШЕЙД: Жизнь – большой сюрприз. Не вижу, отчего бы смерти не быть еще большим.

КИНБОТ: Вот тут-то я и поймал вас, Джон: стоит нам отвергнуть Высший Разум, что полагает нашу личную потустороннюю жизнь и направляет ее, как нам придется принять невыносимо страшное представление о Случайности, распространенное на вечность. Смотрите, что получается. На всем протяжении вечности наши несчастные призраки пребывают во власти неописуемых превратностей. Им не к кому воззвать, не у кого испросить ни совета, ни поддержки, ни защиты – ничего. Бедный призрак Кинбота, бедная тень Шейда, они могли заблудиться, могли поворотить не туда – из одной лишь рассеянности или просто по неведению пустякового правила нелепой игры природы, – если в мире вообще существуют какие-то правила.

ШЕЙД: Есть же правила в шахматных задачах: недопустимость двойных решений, к примеру.

КИНБОТ: Я подразумевал сатанинские правила, которые противник скорее всего нарушит, едва мы начнем их понимать. Вот почему не всегда работает черная магия. Демоны, в их телескопическом коварстве, нарушают условия, заключенные с нами, и мы опять погружаемся в хаос случайностей. Даже если мы укротим случайность необходимостью и допустим безбожный детерминизм, машинальность причин и следствий, с тем, чтобы посмертно дать нашим душам сомнительное утешение метастатистики, нам все равно придется расплачиваться личными неудачами, тысяча вторым автомобильным крушением сверх числа намеченных на празднование Дня Независимости в Гадесе. Нет-нет, если уж мы решаем всерьез относиться к загробной жизни, не стоит с самого начала опускаться до уровня научно-фантастической нелепости или истории спиритизма в эпизодах. Мысль о душе, ныряющей в беспредельную и беспорядочную загробную жизнь без руководящего ею Провидения.

ШЕЙД: За углом всегда отыщется психопомпос, не так ли?

КИНБОТ: Но только не за этим, Джон. Без Провидения душе останется уповать на осколки ее скорлупы, на опыт, накопленный в пору внутрителесного заточения, по-детски цепляться за провинциальные принципы и захолустные уложения, за индивидуальность, образованную по-преимуществу тенями, которые отбрасывает решетка ее же собственной тюрьмы. Религиозное сознание и на миг не утешится подобной идеей. Насколько разумнее – даже с точки зрения гордого безбожника! – принять присутствие Божие: вначале как фосфорическое мерцание, бледный свет в потемках телесной жизни, а после – как ослепительное сияние! Я тоже, я тоже, дорогой вы мой Джон, был в свое время подвержен религиозным сомнениям. Церковь помогла мне перебороть их. Она помогла мне также не просить слишком многого, не требовать слишком ясного образа того, что невообразимо. Блаженный Августин сказал.

ШЕЙД: Отчего это каждый непременно норовит процитировать мне блаженного Августина?

КИНБОТ: Как сказал блаженный Августин: «Человек может понять, что не есть Бог, но не способен понять, что Он есть». Думается, я знаю, что Он не есть: Он не есть отчаяние, Он не есть страх, Он не есть земля в хрипящем горле, ни черный гул в наших ушах, сходящий на нет в пустоте. Я знаю также, что так или этак а Разум участвовал в сотворении мира и был главной движущей силой. И пытаясь найти верное имя для этого Вселенского Разума, для Первопричины или Абсолюта, или Природы, я признаю, что первенство принадлежит имени Божию.

78
Строка 550: был не прочь

Я должен сказать кое-что касательно более раннего примечания (к строке 12). Ученость и совестливость долго им занимались, и ныне я думаю, что две строки, помещенные в том примечании, искажены и измараны поспешной мечтательностью суждения. Только там, один-единственный раз во все то время, что я пишу этот многотрудный комментарий, разочарование и обида довели меня до порога подлога. Я вынужден просить читателя пренебречь приведенными там строками (в которых, боюсь, и размер-то мной восстановлен неверно). Я мог бы вычеркнуть их перед отдачей в печать, но тогда придется перерабатывать все примечание или, по крайности, значительную его часть, а у меня времени нет на подобные глупости.

79
Строки 557–558: Как отыскать в удушьи и в тумане янтарный нежный шар, Страну Желаний

Лучший куплет во всей этой Песни.

80
Строка 577: другая

Я далек от того, чтобы намекать на существованье какой-то другой женщины в жизни моего друга. Он преспокойно играл роль образцового мужа, навязанную ему захолустными поклонниками, а кроме того, – смертельно боялся жены. Не раз приходилось мне одергивать сплетников, которые связывали имя поэта с именем одной его студентки (смотри Предисловие). В последнее время американские романисты, состоящие в большинстве членами Соединенного факультета английской литературы, который, с какой стороны ни взгляни, пропитан литературной одаренностью, фрейдистскими выдумками и постыдной гетеросексуальной похотью гораздо пуще, чем весь прочий свет, заездили эту тему до изнурения, – и потому я навряд ли решусь на тягостную церемонию представления вам сей юной особы. Да я и знал-то ее едва-едва. Пригласил однажды к себе, – скоротать вечерок с Шейдами, – единственно ради опровержения всех этих слухов; что очень кстати напомнило мне о необходимости сказать нечто по поводу удивительного ритуала обмена приглашениями, бытующего в унылом Нью-Вае.

Справившись в моем дневничке, я выяснил, что за пять месяцев близости с Шейдами меня приглашали к их столу только три раза. Посвящение состоялось в субботу, 14 марта, – в тот день я у них обедал, при чем присутствовали: Натточдаг (с которым

я всякий день видался в его кабинете), профессор по кафедре музыки Гордон (этот полностью завладел разговором), заведующий кафедрой русского языка и литературы (водевильный педант, о котором чем меньше скажешь, тем будет и лучше) и три-четыре взаимозаменяемых дамы, одна из которых (миссис Гордон, коли не ошибаюсь) пребывала в интересном положении, а другая, вовсе мне неведомая, вследствие несчастного послеобеденного распределения кресел, не переставая, с восьми до одиннадцати, говорила со мной, а вернее сказать – в меня. На следующем приеме, – то был менее представительный, но никак не более уютный souper, – в субботу 23 мая, присутствовали Мильтон Стоун (новый библиотекарь, с которым Шейд до полуночи рассуждал о классификации некоторых документов, касающихся Вордсмита), старый, добрый Натточдаг (с которым я продолжал видеться каждодневно) и небезуханная француженка (снабдившая меня исчерпывающими сведениями о преподавании иностранных языков в Калифорнийском университете). Дата третьей моей и последней трапезы в книжечку не попала, но, помнится, она случилась июньским утром, – я принес вычерченный мной замечательный план Королевского Дворца в Онгаве с разного рода геральдическими ухищрениями и с наложенными там и сям легкими мазками золотистой краски, добыть которую стоило мне немалых трудов, – и в знак благодарности меня накормили наспех сготовленным завтраком. Нужно еще прибавить, что как я ни роптал, вегетарианские ограничения моего стола во все три раза были оставлены без внимания, – мне неизменно подсовывали продукт животного происхождения, окруженный или окружающий какую-нибудь оскверненную зелень, которую одну я, быть может, еще и соблаговолил бы отведать. Я отквитался и не без изящества. Из дюжины, примерно, моих приглашений Шейды приняли точно три. Всякий раз я стряпал кушания из какого-то одного овоща, подвергая его такому же числу волшебных изменений, какое выпало на долю любимого клубня Пармантье. И каждый раз я приглашал лишь одного добавочного гостя для развлечения Сибил (у которой, не угодно ли, – тут мой голос возвышается до дамского визга, – была аллергия на артишоки, на авокадо, на африканские желуди, словом, на все, что начинается с «а»). Я не знаю ничего более губительного для аппетита, чем старички и старушки, которые, рассевшись вокруг стола, марают салфетки продуктами распада их косметических средств и, прикрываясь отсутствующими улыбками, украдкой пытаются вытеснить мучительно жгучее зернышко малины, забившееся меж десен – искусственной и омертвелой. Поэтому я приглашал людей молодых, студентов: в первый раз сына падишаха, во второй – моего садовника, а в третий – вот эту самую девушку в черном балетном платье, с продолговатым белым лицом и с веками, выкрашенными, ровно у вурдалака, в зеленый цвет; впрочем, она пришла очень поздно, а Шейды ушли очень рано, – сомневаюсь, что очная ставка тянулась долее десяти минут, так что мне пришлось чуть ли не заполночь развлекать девицу граммофонными записями; в конце концов, она кому-то позвонила, и тот отправился с нею «обедать» в Далвич.

81
Строка 584: мать с дитятей

Es ist die Mutter mit ihrem Kind (смотри примечание к строке 664).

82
Строка 596: Кивнет нам на подвал, где леденеют лужи

Всем нам ведомы эти сны, они сочатся чем-то стигийским, и Лета протекает в них так тоскливо, как неисправный водопровод. За этими строками следует сохраненная в черновике неудавшаяся попытка, – и я надеюсь, что читатель испытает нечто схожее с дрожью, пробежавшей вдоль моего длинного и податливого хребта, когда я наткнулся на этот вариант:

Смутится ли убийца и злодей
Пред жертвой гневною? Живет ли дух вещей?
Иль оседает равно на погост
Танагры прах и град усталых звезд?
Слово «град» и первых две буквы слова «усталый» образуют имя убийцы, чей shargar [тщедушный призрак] вскоре предстанет перед светлой душой поэта. «Случайное совпадение!» – воскликнет простоватый читатель. Но пусть-ка он попытается выяснить, как пытался я, много ли сыщется таких сочетаний, и возможных, и уместных. «Ленинград успел побыть Петроградом»? – «Бог раду [рада, устар. правда] слышит»?

Этот вариант настолько изумителен, что лишь ученая щепетильность и совестное уважение к истине мешают мне вставить его в поэму, изъяв откуда-либо четыре строки (скажем, слабые строки 627–630), дабы сохранить их число.

Шейд записал эти стихи во вторник 14 июля. А что в этот день поделывал Градус? А ничего. Затейница-судьба в этот день почивала на лаврах. В последний раз мы виделись с ним поздним вечером 10 июля, когда он вернулся из Лэ в свой женевский отель, там мы с ним и расстались.

Следующие четыре дня Градус промаялся в Женеве. Удивительное дело: жизнь постоянно обрекает так называемых «людей действия» на долгие сроки безделья, которых они ничем не в состояньи заполнить, поскольку их ум лишен какой бы то ни было изобретательности. Подобно многим не очень культурным людям, Градус запоем читал газеты, брошюры, случайные листки и всю ту многоязыкую литературу, что сопутствует каплям от насморка и пилюлям от несварения, – впрочем, этим его уступки любознательности и ограничивались, от того же, что зрение он имел плохонькое, а местные новости обилием не отличались, ему приходилось все больше впадать то в спячку, то в оцепенение открытых кафе.

Насколько счастливее зоркие празднолюбы, монархи среди людей, обладатели изощренного, исполинского мозга, который умеет познать неслыханные наслаждения, упоительное томленье, созерцая балясины сумеречной террасы, огни и озеро внизу, и очерки дальних гор, тающие в смуглом абрикосовом свете вечерней зари, и темные ели, обведенные блеклыми чернилами зенита, и гранатовые с зеленью воланы волн вдоль безмолвного, грустного, запретного берега. О мой сладостный Боскобель! О нежные и грозные воспоминания, и стыд, и блаженство, и сводящие с ума предвкушения, и звезда, до которой не добраться никакому партийцу.

В среду утром, так и не дождавшись известий, Градус телеграфировал в Управление, что почитает дальнейшее ожидание неразумным, и что искать его следует в Ницце, отель «Лазули».

83
Строки 597–608: что мелькнет в уме и т. д.

В сознании читателя это место должно перекликаться с замечательным вариантом, приведенным в предыдущих заметках, ибо всего неделю спустя «град усталых звезд» и «царственные руки» должны были встретиться – в подлинной жизни и в подлинной смерти.

Если б побег не удался, нашего Карла II могли казнить, это случилось бы наверное, будь он схвачен между Дворцом и пещерами Риппльсона, но во время бегства он ощутил на себе толстые пальцы судьбы всего лишь несколько раз, ощутил, как они нащупывают его (подобно перстам угрюмого старого пастуха, испытующего девственность дочери), когда оскользнулся той ночью на влажном, заросшем папоротником склоне горы Мандевиля (смотри примечание к строке 149), и на другой день, на сверхъестественной высоте, в пьянящей сини, где альпинист замечает рядом с собой призрачного попутчика. Не раз в ту ночь наш король бросался наземь в порожденной отчаянием решимости дождаться рассвета, который позволит ему с меньшими муками уклоняться от встреченных дотоле опасностей. (Я вспоминаю другого Карла, другого статного смуглого мужа ростом чуть выше двух ярдов). Но то были порывы скорее физические или нервические, и я совершенно уверен, что мой король, когда бы его схватили, приговорили и повлекли на расстрел, повел бы себя точно так же, как он ведет себя в строках 606–608: то есть огляделся бы по сторонам и с высокомерным спокойствием принялся

Срамить изменников, осмеивать потуги
Тупого рвения, и в эти рыла глядя,
Им наплевал в глаза, хотя бы смеха ради.
Позвольте же мне завершить эти чрезвычайно важные замечания афоризмом несколько антидарвинского толка: Убивающий всегда неполноценнее жертвы.

84
Строка 603: слушать пенье петуха

Вспоминается прелестный образ в недавнем стихотворении Эдзеля Форда:

Крик петушиный высекает пламя
Из утра мглистого и из лугов в тумане.
Луг (по-английски mow, а по-земблянски muwan) – это участок покоса вблизи амбара.

85
Строки 609–614: И кто спасет и т. д.

В черновике это место выглядит иначе:

Кто беглеца спасет? Он смертию захвачен
Под крышею случайной, под горячим
Ночной Америки дыханьем. Огоньки
Его слепят, – как будто две руки
Волшебные из прошлого швыряют
Ему алмазы, – жизнь уходит поспешая.
Здесь довольно верно изображена «случайная крыша» – бревенчатая изба с кафельной ванной комнатой, где я пытаюсь свести воедино эти заметки. Поначалу мне досаждал рев бесовской радио-музыки, долетавший, как я полагал, из некоторого подобия увеселительного парка на той стороне дороги, – после оказалось, что там разбили лагерь туристы, – я уже думал убраться в другое какое-то место, но они опередили меня. Теперь стало тише, только докучливый ветер бренчит листвой иссохших осин, и Кедры снова похожи на город-призрак, и нет здесь ни летних глупцов, ни шпионов, чтобы подглядывать за мной, и маленький удильщик в голубеньких джинсах больше уже не стоит на камне посередине ручья и, верно, оно и к лучшему.

86
Строка 615: на двух наречьях

На английском и земблянском, на английском и русском, на английском и латышском, на английском и эстонском, на английском и литовском, на английском и русском, на английском и украинском, на английском и польском, на английском и чешском, на английском и русском, на английском и венгерском, на английском и румынском, на английском и албанском, на английском и болгарском, на английском и сербо-хорватском, на английском и русском, на американском и европейском.

87
Строка 619: того же клубня

Каламбур пускает ростки (смотри строку 502).

88
Строка 626: Староувер Блю великий

Надо полагать, профессор Блю дал разрешение использовать его имя, и все же погружение реально существующего лица, сколь угодно покладистого и добродушного, в выдуманную среду, где ему приходится поступать в соответствии с выдумкой, поражает редкой беспардонностью приема, тем паче, что прочие персонажи, за исключением членов семьи, разумеется, выведены в поэме под псевдонимами.

Что и говорить, имя у него соблазнительное. «The star over the blue» – «звезда над синью», чего уж лучше для астронома, а впрочем ни имя его, ни фамилия ничем с небесной твердью не связаны: имя дано в память деда, русского «старовера» (с ударением, кстати сказать, на последнем слоге), носившего фамилию Синявин. Этот Синявин перебрался из Саратова в Сиэтл и породил там сына, который со временем сменил фамилию на Блю (от «blue», англ. «синий») и женился на Стелле Лазурчик, обамериканившейся кашубе. Вот так оно и идет. Честный Староувер Блю подивился бы, вероятно, эпитету, которым пожаловал его расшалившийся Шейд. Добрые чувства автора склонили его уплатить дань приятному старому чудаку, любимцу кампуса, которого студенты прозвали «полковник Старботтл» («бутыль со звездами»), видимо, за редкостную его общительность. Вообще же говоря, в окружении Шейда имелись и другие выдающиеся люди… Ну, хоть видный земблянский ученый Оскар Натточдаг.

89
Строка 629: Решал судьбу зверей

Над этими словами поэт надписал и перечеркнул:

судьбу безумцев

Конечная участь, ожидающая души безумцев, исследовалась многими земблянскими теологами. По большей части они придерживались воззрений, согласно которым даже болезненные бездны самого что ни на есть свихнувшегося разума все же содержат крупицу здравомыслия, которая, пережив смерть, внезапно разрастается, разражается, так сказать, раскатами бодрого, победного смеха, когда мир боязливых тупиц и болванов съеживается далеко позади. Я не был лично знаком ни с одним сумасшедшим, но слышал в Нью-Вае немало занятных историй («Мне и в Аркадии есть удел», – речет Деменция, прикованная к ее угрюмой колонне). Был там, к примеру, один студент, впадавший в неистовство. Был еще пожилой, чрезвычайно положительный университетский уборщик, который в один прекрасный день, посреди учебного кинозала, вдруг предъявил чересчур разборчивой студентке нечто такое, чего она, без сомнения, видывала и лучшие образцы. Но более всего мне нравится случай с экстонским станционным смотрителем, о мании которого мне рассказывала, ни больше ни меньше, как сама миссис Х. В тот день Харлеи давали большой прием для слушателей летней школы, и я пришел туда с одним из моих наперсников по второму столу для пинг-понга, приятелем харлеевых сыновей, так как проведал, что мой поэт намерен что-то читать, и места себе не находил от опасливых предвкушений, уверенный, что это будут стихи о моей Зембле (а услышал невразумительные вирши какого-то его невразумительного знакомого, – мой Шейд был очень добр к неудачникам). Читатель поймет, если я скажу, что при моей высоте я никогда не чувствую себя «затерянным» в толпе, но верно и то, что среди гостей Х. у меня не много было знакомых. С улыбкой на лице и коктейлем в ладони вращаясь в обществе, я, наконец, углядел над спинками сдвинутых кресел макушку поэта и ярко-каштановый шиньон миссис Х. и, подойдя к ним сзади, услышал, как он возражает на какое-то ее только что сделанное замечание:

– Это слово здесь не годится, – сказал он. – Его нельзя прилагать к человеку, который по собственной воле стряхнул бесцветную шелуху невеселого прошлого и заменил ее блистательной выдумкой. Просто он вступил в новую жизнь с левой ноги.

Я похлопал моего друга по макушке и отвесил легкий поклон Эбертелле Х. Поэт окинул меня тусклым взором. Она сказала:

– Помогите нам, мистер Кинбот: я утверждаю, что тот человек… как же его все-таки звали?.. старый… старый – да вы знаете, тот старик со станции в Экстоне, что вообразил себя Господом Богом и начал менять назначения поездов, – что он, научно выражаясь, псих, а Джон называет его своим собратом, поэтом.

– Все мы в каком-то смысле поэты, мадам, – ответил я и поднес зажженную спичку моему другу, который, стиснув зубами трубку, хлопал себя обеими руками по разным частям тела.

Не уверен, что этот банальный вариант вообще заслуживал комментария. В сущности, весь кусок о занятиях в IPH'е отдавал бы совершеннейшим «Гудибрасом», будь его невыразительный стих стопою короче.

90
Строка 662: Кто скачет, кто мчится сквозь ветер и ночь?

Строчка, а на самом деле и все это место (строки 653–664) отзывает известным стихотворением Гете об эльфийском царе, дряхлом чародее из кишащего эльфами ольхового леса, влюбившемся в хрупкого мальчика, сына запоздалого путника. Не устаешь восхищаться искусством, с каким Шейд переносит в свои ямбы отзвук ломкого ритма баллады (написанной трехдольником):

662 Кто скачет, кто мчится сквозь ветер и ночь?
663.
664. Отец и малютка.
Две начальные строки стихотворения Гете замечательно точно и ладно, да еще с

добавлением неожиданной рифмы (также по-французски: vent – enfant), передаются на моем родном языке:

Ret wóren ok spoz on nátt ut vétt?
Éto est vótchez ut míd ik détt.
Другой сказочный государь, последний король Земблы, все повторял про себя эти неотвязные строки – и по-земблянски и по-немецки, – аккомпанируя ими гудящим в ушах барабанам усталости и тревоги, пока он взбирался по зарослям орляка в угрюмые горы, которые должен был перейти, чтобы достигнуть свободы.

91
Строки 671–672: Морской конек неистовый

Смотри у Браунинга – «Моя последняя герцогиня».

Смотри и кляни модный прием – озаглавливать сборник статей или томик стихов, или большую поэму – фразой, подобранной в более или менее знаменитом поэтическом творении прошлого. Такие заглавия обладают особенным шиком, приличным, быть может, названиям марочных вин или прозвищам сдобных куртизанок, но они лишь унижают талант, который подменяет творческую фантазию нехитрыми иносказаниями грамотея и перекладывает ответственность за избыток витиеватости на крепкие плечи бюстов. Этак каждый пролистает «Сон в летнюю ночь» или «Ромео и Джулию», или еще Сонеты и подберет себе заглавье по вкусу.

92
Строки 677–678: французам… прелагала

Из тех переводов два появились в августовском номере «Nouvelle Revue Canadienne», который достиг книжных лавок университетского городка в последнюю неделю июля, то есть в пору печали и душевного смятения. Тактичность не позволила мне в то время показать Сибил кое-какие критические замечания, занесенные мною в карманный дневничок.

В ее переводе известного «Благочестивого сонета X», созданного Донном в период вдовства:

Death be not proud, though same have called thee
Mighty and dreadful, for, thou art not so
(Смерть, не кичись, когда тебя зовут
Тиранкой лютой, ты не такова)
с неудовольствием находишь во второй строке лишнее восклицание, вставленное сюда лишь для закругления цедуры:

Ne soit pas fière, Mort! Quoique certains te disent
Et puissante et terrible, ah, Mort, tu ne l'es pas
и хоть внутренняя рифма «so – overthrow» (строки 2–3) находит удачное воплощение в «pas – bas», рифма обрамляющая (строки 1–4): «disent – prise» – вызывает возражения как невозможная во французском сонете 1617, примерно, года из-за несоблюдения правила зрительного подобия.

Я не располагаю здесь местом для перечисления массы иных промахов и огрехов этой канадской версии вышедшего из-под пера декана собора св. Павла обличения Смерти, каковая есть рабыня не только «судьбы» и «случайности», – но также и нас («царей и исстрадавшихся людей»).

Другое стихотворение, «The Nimph on the Death of her Fawn» Эндрю Марвелла, представляется мне с технической точки зрения еще более неподатливым для втискивания во французские стихи. Если в случае Донна мисс Ирондель имела право подобрать под пару английскому пентаметру французский александрийский размер, то здесь я сомневаюсь, чтобы ей действительно следовало предпочесть l'impair и разворачивать в девять слогов то, что Марвелл смог уместить в восьми. Касательно строк

And, quite regardless of my smart,
Left me his fawn but took his heart
(Ко мне утратив интерес,

Оленя подарив, исчез.)
приобретших вид
Et se moquant bien de ma douleur
Me laissa son faon, mais pris son coeur
приходится пожалеть, что переводчица не сумела уложить длинные ноги ее французского оленя даже в более вместительное просодическое лоно и передать «quite regardless of» посредством «sans le moindre égard pour» или чего-нибудь подобного. Далее, куплет

Thy love was far more better than
The love of false and cruel man
(……..твоя
Любовь была честней мирской
Предательской любви людской)
хоть и переведен буквально:
Que ton amour était fort meilleur
Qu'amour d'homme cruel et trompeur
идиоматически не так уже чист, как кажется с первого взгляда. И наконец, чудесная концовка:

Had it lived long it would have been
Lilies without, roses within
(Живи он дольше, видит Бог,
Он сделаться снаружи мог
Лилеей, розой изнутри…)
содержит во французской версии нашей дамы не только синтаксический ляпсус, но и недопустимую беглость – нередкий грех переводчиков, проскакивающих под знак обязательной остановки:

Il aurait été, s'il eut longtemps
Vécu, lys dehors, roses dedans.
Как великолепно отображаются и рифмуются две этих строки на нашем волшебном земблянском (на «языке зеркал», как назвал его великий Конмаль)!

Id wodo bin, war id lev lan
Indran iz lil ut roz nitran.

93
Строка 680: Лолита

Большие ураганы получают в Америке женские имена. Привязанность к женскому роду внушается не только половой принадлежностью фурий и ведьм, но и общей склонностью к нему всякого рода профессионалов. По этой причине каждый автомобиль – «она» для любящего обладателя, пламя (даже «бледное»!) – «она» для пожарника, а кран – «она» для водопроводчика. Почему наш поэт избрал для своего урагана 1958 года редко используемое испанское имя (иногда даваемое попугаям) вместо Лоис или Линды, – не ясно.

94
Строка 681: шпионил Росс угрюмый

В сущности говоря, в этой угрюмости ничего нет метафизического или расового. Она – всего лишь внешний признак застойного национализма и свойственного провинциалам чувства неполноценности – этой ужасной смеси, ставшей столь характерной для земблян под ферулой экстремистов и для русских при советском режиме. В современной России идеи – суть нарезанные механическим способом одноцветные чушки, – оттенки запрещены законом, просветы замурованы, а вместо изгиба – ступенчатый излом.

Впрочем, не все русские угрюмы, – два молодых московских спеца, которых новое наше правительство подрядило искать сокровища земблянской короны, оказались редкостными весельчаками. Экстремисты справедливо считали, что барон Бланд, хранитель казны, прежде чем выпрыгнуть или выпасть из Северной Башни, успел припрятать сокровища, они только не знали, что у него имелся помощник, и очень заблуждались, полагая, что сокровища нужно искать во Дворце, покинутом кротким седым Бландом один-единственный раз и то лишь затем, чтобы умереть. Могу с простительным удовлетворением добавить, что сокровища, точно, были спрятаны, но

совершенно в ином — и весьма неожиданном — уголке Земблы, они и ныне там.

В одном из прежних примечаний (к строке 130) читатель видел уже эту чету кладоискателей за работой. После бегства короля и запоздалого обнаружения подземного хода они продолжали старательные раскопки, пока не издырявили, а частью и вовсе развалили Дворец: как-то ночью рухнула в одной из комнат стена и обнаружила нишу, о существовании которой никто не подозревал, а в ней — бронзовый погребец для соли и пиршественный рог короля Вигберта; но нашей короны, ожерелья и скипетра вам все равно никогда не найти.

Таковы уже правила небесной игры, неизменная фабула судьбы, и не надо ее истолковывать как плод предприимчивости советских спецов, — которые, уместно сказать, впоследствии прекрасно справились с иной задачей (смотри примечание к строке 741). Фамилии их (вероятно вымышленные) были такие: Андронников и Ниагарин. Редко случается видеть, по крайней мере среди восковых фигур, чету более приятных и представительных молодых людей. Гладко отбритые челюсти, простецкие лица, волосы вьются, зубы блестят, — залюбуешься. Статный красавец Андронников улыбался нечасто, но лучики морщинок, разбегающиеся от глаз, выдавали в нем неистощимое чувство юмора, а две одинаковые складки, спадавшие от изящно вылепленных ноздрей, вызывали дорогие сердцу ассоциации с воздушными асами и героями партизанских будней. Со своей стороны, Ниагарин ростом был сравнительно невысок, облик имел более округлый, хотя без сомнения и мужественный, лицо же его озаряла порой широкая мальчишеская улыбка, отчего вспоминался какой-нибудь бойскаутский вожатый, у которого есть кое-что на совести, или те господа, что мухлюют в телевизионных состязаниях. Радостно было смотреть, как носится по двору парочка «советчиков», пиная запачканный мелом, трубно звенящий футбол (казавшийся в таком окружении слишком большим и лысым). Андронников умел раз десять подкинуть его носком, прежде чем влепить прямиком в грустные, озадаченные, белесые и безвинные небеса, Ниагарин же в совершенстве подражал ужимкам потрясающего вратаря из команды «Динамо». Часто они угощали кухонных мальчиков русскими карамельками со сливой или вишней, изображенной на сочно-цветастой шестиугольной обертке, под которой еще был конвертик из бумаги потоньше с липкой лиловой плюшкой внутри; и всем было ведомо, что похотливые сельские девки приползают по drungen'ам (тропкам в зарослях ежевики) к самому подножию бастиона, когда на вечерней заре эти двое взлезают на вал и, обратясь в силуэты на фоне пылкого неба, распевают красивые и чувствительные фронтовые дуэты. Ниагарин обладал задушевным тенором, а Андронников — сердечным баритоном, оба в щегольских кавалерийских сапогах мягкой черной кожи, и небеса отворачивались, являя бесплотный свой хребет.

Поживший в Канаде Ниагарин говорил по-английски и по-французски, Андронников с пятого на десятое понимал по-немецки. Немногие известные им землянские фразы они выговаривали с тем потешным русским акцентом, что сообщает гласным назидательное полнозвучие. Охранники-экстремисты считали их образцовыми удальцами, и милый мой Одонелло получил однажды от коменданта жестокий нагоняй за то, что поддался соблазну и передразнил их походку: передвигались оба вразвалочку, на заметно кривых ногах.

В детские мои годы Россия была в большой моде при землянском Дворе, но то была иная Россия — Россия, ненавидевшая тиранов и обывателей, несправедливость и жестокость, Россия благородных людей с либеральными устремлениями. Следует добавить, что Карл Излюбленный мог похвастать толикой русской крови. В средние века двое его пращуров женились на новгородских княжнах. Королева Яруга (годы правления 1799–1800), его прабабка, была наполовину русская, и большинство историков считает, что единственный отпрыск Яруги, Игорь, — это вовсе не сын Урана Последнего (годы правления 1798–1799), но плод ее любовной связи с русским авантюристом Ходынским, ее goliart'ом [придворным шутом] и даровитым поэтом, — говорят, это он сочинил на досуге известную русскую chanson de geste, обыкновенно приписываемую безымянному барду двенадцатого столетия.

95
Строка 682: Ланг

Современный фра Пандольф, надо думать. Не припоминаю, чтобы я видел в доме подобное полотно. Или Шейд имеет в виду портрет фотографический? Там был один над пианино и другой в кабинете у Шейда. Насколько легче было бы читателю и Шейда, и его друга, когда бы мадам соблаговолила ответить на некоторые из моих

настоятельных вопросов.

96
Строка 692: приступ

Сердечный приступ, случившийся с Джоном Шейдом 17 октября 1958 года, едва ли не совпал по времени с прибытием в Америку преображенного короля. Он прибыл в Америку парашютом, спустившись с пилотируемого полковником Монтекю наемного самолета на поле чихотных, буйно цветущих плевелов неподалеку от Балтиморы, чьи иволги – совсем никакие не иволги. Время было расчислено точно, он еще выпутывался из непривычной французской упряжи, а уже с дороги, неодобрительно колыхаясь на толстых колесах, накренив блестящее толстое тулово, поворотил и приблизился по mowntrop'е «роллс-ройс» из усадьбы Сильвии О'Доннел. Я мог бы изъяснить читателю, отчего именно парашют, однако ж (тут скорее – дань сентиментальной традиции, чем удобство передвижения), в настоящих заметках к «Бледному пламени» в том нет решительной необходимости. Покамест Кингсли, шофер-англичанин, слуга старый и преданный, усердно затискивал в багажник пухлый, неумело сложенный парашют, я отдыхал на предложенной им раскладной трости, потягивая вкуснейший скотч с водой из машинного бара и просматривая (под аплодисменты сверчков, в вихре желтых и бордовых бабочек, что так приглянулись Шатобриану, когда Шатобриан прибыл в Америку) статью из «The New-York Times», в которой Сильвия размашисто и неопрятно отчеркнула красным карандашом сообщение из Нью-Вая о помещении в больницу «выдающегося поэта». Я давно уже предвкушал знакомство с любимейшим моим американским стихотворцем, которому, – в тот миг я был совершенно в этом уверен, – суждено было скончаться задолго до начала весеннего семестра, но разочарование отдалось во мне всего лишь внутренней ужимкой покладистого сожаления и, отбросив газету, я осмотрелся с восторгом и умилением, притом, что нос у меня уже заложило. Большими ступенями взбиралась зеленая мурава к многокрасочным рощам, над ними выглядывало белое чело усадьбы, и облака таяли в синеве. Внезапно я чихнул и чихнул еще. Кингсли предложил еще выпить, но я отказался и, не чинясь, подсел к нему на переднее сиденье. Хозяйка отлеживалась после особого рода прививки, сделанной в предвосхищении путешествия в особого рода африканскую глушь. В ответ на мое: «Ну-с, как самочувствие?», – она пролепетала, что в Андах было просто чудесно, но тут же несколько менее томным тоном осведомилась о печально известной актрисе, с которой, по слухам, сын ее предавался греху в Париже. Я сообщил, что он дал мне слово не жениться на ней. Она поинтересовалась, как мне показался полет, и звякнула бронзовым колокольчиком. Добрая, старая Сильвия! Она разделяла с Флер де Файлер нерешительность манер, томность повадки, частью врожденную, частью напускную – в качестве удобного алиби на случай опьянения, – и каким-то чудесным образом ухитрялась сочетать эту томность с говорливостью, напоминая мямлю-чревовещателя, которого вечно перебивает его болтливая кукла. Неизменная Сильвия! Вот уже тридцать лет – из года в год, из дворца во дворец – я вижу все те же стриженные тускло-каштановые волосы, младенческие бледно-голубые глаза, рассеянную улыбку, стильно длинные ноги, движения колеблемой ветром ивы.

Появился поднос с фруктами и напитками, его принес jeune beauté, как сказал бы душка Марсель, тут же припомнился и другой автор, Жид Просветленный, с такой теплотой описавший в своих африканских заметках атласную кожицу черненьких чертенят.

– Вы едва не лишились возможности увидеть ярчайшую нашу звезду, – сказала Сильвия, бывшая главной благотворительницей Вордсмитского колледжа (она-то, к слову сказать, и устроила для меня эту забаву, чтение лекций). – Я только что звонила в колледж, – да, берите скамеечку, – ему гораздо лучше. Попробуйте маскану, я ее специально для вас раздобыла, а вот мальчик не про вас, только для женщин, и вообще Вашему Величеству придется теперь быть очень осторожным. Я уверена, что вам там понравится, правда, ума не приложу, кому может приспичить изучать земблянский язык. Думаю, и Диза могла бы приехать. Я сняла для вас лучший дом, какой у них есть, – если верить тому, что мне говорили, – и совсем близко от Шейдов.

Их она почти не знала, но слышала множество подкупающих рассказов о поэте от Билли Рединга, «одного из очень немногих американских ректоров, знакомых с латынью». И позвольте мне здесь прибавить, что я считаю за большую честь для себя случившееся две недели спустя в Вашингтоне знакомство с этим вялым на вид, рассеянным, плохо одетым, восхитительным американским джентльменом, чей ум

Бледное пламя. 1-й вариант. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru являет собой библиотеку, а не зал для дискуссий. В следующий понедельник Сильвия улетела, а я задержался в поместьи, отдыхая от моих приключений, — думал, читал, делал выписки, много катался верхом по прелестным окрестностям в обществе двух обворожительных дам и застенчивого маленького грума. Часто, покидая места, мне приятные, я испытывал радость, какую, верно, переживает плотно притертая пробка, когда ее вытягивают, чтобы, слив сладкое густое вино, отослать ее к новым виноградникам и наградам. Я провел пару приятных месяцев, навещая библиотеки Нью-Йорка и Вашингтона, слетал на Рождество во Флориду и, изготовясь, наконец, к отъезду в мою новую Аркадию, почел за удовольствие и обязанность послать поэту учтивое письмо, в котором поздравил его с выздоровлением и шутливо «предостерег», что, начиная с февраля, он получит в соседи пылкого почитателя. Ответа я так и не получил, и после о моей предупредительности никто ни разу не вспомнил, а потому я думаю, что мое послание затерялось среди получаемых литературной знаменитостью писем от «поклонников», хоть и можно было ожидать, что Сильвия или кто-то еще известит Шейдов о моем появлении. Выздоровление поэта и впрямь шло очень споро, я мог бы назвать его чудесным, когда бы сердце Шейда страдало от какой-либо органической неисправности. Но чего не было, того не было: поэтические нервы способны выкидывать самые странные фокусы, но и умеют быстро усваивать ритмы здоровья, и вскоре Джон Шейд уже восседал в привычном кресле за овальным столом и снова рассказывал про своего любимого Попа восьми набожно внимающим юношам, одной увечной заочнице и трем студенткам, одна из которых как бы явилась к нему из мечтательных снов репетитора. Ему разрешили не урезывать привычных занятий, — прогулок, к примеру, но признаюсь, у меня самого начинались сердцебиения и поты, когда я видел, как этот бесценный старик орудует грубой садовой утварью или, вихляясь, всползает по лестницам колледжа, будто японская рыбка по водопаду. Кстати: не следует читателю ни слишком всерьез, ни слишком буквально воспринимать то место, где говорится о сметливом докторе (сметливый доктор, я это знаю доподлинно, спутал однажды невралгию с церебральным неврозом). Мне от самого Шейда известно, что никто никаких спасательных рассечений не производил, сердца рукой не массировал, и если оно вообще останавливалось, заминка была очень краткой и, так сказать, поверхностной. Но, натурально, это не лишает описания в целом (строки 691–697) значительной эпической красоты.

97
Строка 695: к конечной цели

Градус приземлился в аэропорту Лазурного берега ранним вечером 15 июля 1959 года. При всей его озабоченности, он невольно подивился потоку величавых грузовиков, юрких мотоциклеток и всесветных частных автомобилей на Променаде. Отель «Лазули», в котором перед Второй Мировой войной он провел неделю с чахоточным боснийским бомбистом, был в те поры убогим, набитым молодыми немцами заведением с умывальниками прямо в номерах, ныне он стал убогим заведением с умывальниками прямо в номерах, набитым пожилыми французами. Отель стоял на улице, поперечной двум магистралям, идущим вдоль набережной, и непрестанный рев перекрестного движения, мешавшийся с лязгом и уханьем стройки, развернутой под присмотром подъемного крана насупротив отеля (который двадцать лет назад окружала застойная тишь), — оказался для Градуса нечаянной радостью: он любил, чтобы вблизи немного шумело, тогда не лезли в голову всякие мысли. («Ça distrait», — сказал он извиняющейся хозяйке и ее сестре.)

Тщательно вымыв руки, он снова вышел наружу, озноб возбуждения бежал, как в лихорадке, по его искривленной спине. Человек в бутылочном пиджаке, в обществе очевидной шлюхи сидевший за столиком в открытом загончике кафе на углу улицы Градуса и Променада, прижал обе ладони к лицу, приглушенно чихнул, но ладоней не отнял, как бы ожидая второго позыва. Градус пошел северной стороной набережной. Постояв с минуту у витрины сувенирной лавки, он зашел вовнутрь, приценился к фиолетовому стеклянному гиппопотамчику и приобрел карту Ниццы с окрестностями. Уже подходя к стоянке такси на улице Гамбетта, заметил он двух молодых туристов в крикливых рубашках с пятнами пота, лица и шеи их багровели от жары и опрометчивых солнечных ванн; они несли, перекинув через руки, аккуратно сложенные двубортные пиджаки на шелковой подкладке — парные к широким штанинам, — и прошли, не взглянув на нашего сыщика, в котором при исключительной его ненаблюдательности все-таки шелохнулось, когда они миновали его, робкое узнавание. Они ничего не знали о его пребывании за границей, ни о его интересном задании, собственно говоря, и начальник-то — их и его — лишь несколько минут тому узнал, что Градус не в Женеве, а в Ницце. Не был и Градус осведомлен, что

ему помогают в розысках двое советских спортсменов, Андронников и Ниагарин, которых он два раза мельком видал в Онгавском Дворце, когда стеклил выбитое окно и ревизовал по поручению новой власти драгоценные риппльсоновские витражи в одной из бывших королевских теплиц. Через минуту он упустил нить узнавания, усаживаясь с егозливой, как у всех коротконожек, обстоятельностью на заднее сиденье такси и прося, чтобы его свезли в ресторан, расположенный между Пеллосом и Турецким мысом. Трудно сказать, на что надеялся наш герой, и какие имел виды. Собирался ли он только подглядывать из-за олеандров и миртов за воображаемым плавательным бассейном? Ожидал ли услышать продолжение бравурной пьесы Гордона, – но в ином изложении, сыгранном руками покрепче и покрупней? Или он намеревался ползти с пистолетом в руке туда, где лежит облитый солнцем гигант, расправясь, как парящий орел, с косматым парящим орлом на груди? Мы того не знаем, а может статься, Градус не знал и сам: во всяком случае, его избавили от ненужной езды. Нынешние таксисты говорливы не менее прежних цирюльников, и еще не выкатился из города старенький «кадилляк», а неудачливый душегуб знал уже, что брат водителя работал на вилле «Диза» садовником, и что теперь там никто не живет, – королева уехала в Италию до конца июля.

В отеле улыбчивая владелица принесла ему телеграмму. Телеграмма выбранила его по-датски за отъезд из Женевы и велела впредь до новых распоряжений ничего не затевать. Еще содержала она совет забыть о работе и поразвлечься. Но что же (кроме кровавых мечтаний) могло бы его развлечь? Ни пейзажи, ни пляжи его не влекли. Пить он давным-давно бросил. В концерты не ходил. Не играл. Половые позывы когда-то немало его донимали, но и это прошло. После того, как жена, пронизчица на Радуговитре, сбежала от него (с цыганом-любовником), он сожительствовал с тещей, пока ту не свезли, ослепшую и отекшую, в приют для разложившихся вдов. С тех пор он несколько раз пытался себя оскопить, валялся с жестоким заражением в Стекольной гошпитали, и ныне, в сорок четыре года, вполне излечился от похоти, каковую Природа, великая плутовка, влагает в нас, дабы втравить в продолжение рода. Не удивительно, что совет поразвлечься сильно его прогневил. Думаю, на этом мне следует оборвать настоящее примечание.

98
Строки 703–705: Систему тел и т. д.

Очень искусно прилажено здесь троекратное «тел, спряженных в глубине», а перекличка «системы», «темы» и «темноты» сообщает читателю логическое удовлетворение.

99
Строки 726–728: Нет… мистер Шейд, и даже полутень

Еще один пример особого рода комбинационного волшебства, присущего нашему поэту. Тонкая игра слов происходит вокруг двух дополнительных (помимо очевидного синонима «нюанс») значений слова shade. Доктор как бы намекает, что обморочный Шейд не только сохранил половину своей подлинной личности, но что он еще и обратился наполовину в призрака, в тень. Хорошо зная врача, который в то время лечил моего друга, беру на себя смелость прибавить, что он был слишком большой тугодум, чтобы блеснуть подобной остротой.

100
Строки 735–736: оборвало… робот, обормот

Третий взрыв контрапуктической пиротехники. Замысел поэта состоит в том, чтобы в самой текстуре текста явить нам тонкости той «игры», в которой он ищет ключ и к жизни, и к смерти (смотри строки 808–829).

101
Строка 741: наружный блеск

Утром 16 июля (покамест Шейд трудился над строками 698–746) безрадостный Градус, устрашась еще одного дня вынужденного безделья в глумливо сверкающей, живительно шумной Ницце, уселся в кожаное кресло, украшавшее род вестибюля его пропитанной бурыми запахами замызганной гостинички, и решил не вылезать из него, покуда не

выгонит голод. Неторопливо копался он в кипе старых журналов на ближнем столе. Так он сидел, маленький монумент немоты, — вздыхал, надувал щеки, слюнил большой палец перед тем, как перевернуть страницу, разглядывал картинки и двигал губами, сползая по печатным столбцам. Сложив журналы опрятной стопкой, он отвалился в кресле, сплетая и расплетая пальцы в разнообразных узорах скуки, — тогда из соседнего кресла поднялся и скрылся в наружном блеске господин, оставив за собою газету. Градус перетянул ее себе на колени, расправил — и замер над странной заметкой в местных новостях: виллу «Диза» залезли взломщики и обобрали бюро, похитив из ларца с драгоценностями массу ценных старинных медалей.

Тут было над чем задуматься. Есть ли какая-то связь между этой невнятно неприятной историей и его розысками? И не обязан ли он что-либо предпринять? Дать в Управление каблограмму? Но сжатое изложение простого события почти неизбежно смахивает на шифровку. Отправить воздушной почтой вырезку из газеты? Вооружась безопасным лезвием, он корпел у себя в номере над газетным листом, когда кто-то бодро забарабанил в дверь. Градус впустил нежданного гостя — начальственную Тень, которую он почитал пребывающей onhava-onhava (далеко-далеко), в дикой, мглистой, почти баснословной Зембле! Поразительные все-таки штуки учиняет наш магический механический век со старичками пространством и временем!

То был веселый, и может быть слишком, молодчик в зеленом вельветовом пиджаке. Его никто не любил, но и в остром уме никто ему не отказывал. Фамилия его, Изумрудов, отзывалась чем-то русским, но означала на деле «из умрудов», т. е. из племени самоедов, чьи умиаки [шкуряные челны] бороздят порой смарагдовые воды у наших северных берегов. Ухмыляясь, он сообщил, что дружище Градус должен собрать разъездные бумаги, включая медицинскую справку, и вылететь первым же реактивным самолетом в Нью-Йорк. Отвесив поклон, он поздравил его с феноменальной прозорливостью, указавшей верный способ и верное место. Да, при основательном досмотре добычи, взятой Андроном и Ниагарушкой в розовом письменном столе королевы (все больше счета, памятные снимки да эти дурацкие медали), обнаружилось письмишко от короля, а в нем и адресочек, и где бы вы думали — Тут нашему умнику, который прервал глашатая побед заявленьем, что у него и в мыслях… — велено было поменьше скромничать. Явился клочок бумаги, и на нем Изумрудов, колыхаясь от хохота (смерть смешлива), выписал Градусу псевдоним их подопечного, название университета, в котором он преподает, и города, в котором университет расположен. Нет, хранить бумажку не следует. Хранить ее можно лишь пока он будет заучивать, что в ней написано. Бумага этого сорта (ее применяют в макаронной промышленности) не только легко усваивается, но и очень вкусна. Веселый зеленый призрак исчез — не иначе как снова отправился к шлюхам. Как ненавистны мне эти люди!

102
Строка 747: журнал: статья о миссис Z.

Всякий, кто вхож в хорошую библиотеку, без сомнения смог бы легко отыскать и печатный источник, содержащий эту статью, и настоящее имя дамы; впрочем, подлинная ученость выше пошлой возни подобного рода

103
Строка 768: адрес

Моему читателю, быть может, доставит удовольствие упоминание о Джоне Шейде в моем письме, которого второй экземпляр (под копирку), по счастью, у меня сохранился. Письмо было отправлено особе, проживающей на юге Франции, 2 апреля 1959 года:

Дорогая, Ваши подозрения нелепы. Я не даю Вам моего домашнего адреса — и не дам ни Вам, ни кому бы то ни было, — не для того, что боюсь Вашего приезда сюда, как Вы изволили заключить: а просто вся моя почта — вся — поступает на кафедру. Здесь в домах предместья открытые почтовые ящики, и стоят они прямо на улице, и кто угодно может насовать туда рекламных листков или, напротив, стибрить присланное мне письмо (не из обычного любопытства, заметьте, но из иных, более скверных побуждений). Я отсылаю это письмо по воздуху и вновь настоятельно повторяю тот адрес, который дала Вам Сильвия: Д-р Ч. Кинбот, КИНБОТ (но отнюдь не «Карл Кс. Кингбот, эсквайр», как написали Вы или Сильвия, очень прошу Вас,

будьте поосторожнее – и поумнее), университет Вордсмит, Нью-Вай, Аппалачие, США.

Я не сержусь на Вас, но у меня масса неприятностей и совсем, совсем расшатаны нервы. Я поверил – поверил глубоко и искренне – в привязанность человека, жившего здесь, под моею крышей, но узнал оскорбление и коварство, немыслимые во дни моих предков, – те могли подвергнуть обидчика пытке, но я, разумеется, не охотник пытать кого бы то ни было.

Здесь стояли ужасные холода, теперь, слава Богу, настоящая северная зима сменилась южной весной.

Не стоит пытаться объяснить мне, что говорит Ваш поверенный, – пусть объяснит все моему поверенному, а уж тот объяснит мне.

У меня славная работа в университете и совершенно очаровательный сосед, – не вздыхайте, дорогая, и не заводите бровей, – он господин очень старый – тот самый старый господин, благодаря которому в Вашем зеленом альбоме оказался тот пустячок о гинкго (смотри снова, – я разумею, читателю следует снова смотреть, – примечание к строке 49). Будет куда безопаснее, если Вы не станете писать ко мне слишком часто, дорогая.

104
Строка 782: ваш стих

Образ Монблана, «крепости синих теней и солнцем помазанных храмов», легко помаячил в тучах этого стихотворения. Я хотел бы его привести, но не имею сейчас под рукой. Здесь тематически возникает как бы смазанный гротескным произношением старухи «белый вулкан» ее сна, породненный опечаткой с «белым фонтаном» Шейда.

105
Строка 784: «Мон Блон»

Строки 783–809 записаны на шестьдесят четвертой и шестьдесят пятой карточках между закатом 18 и рассветом 19 июля. В то утро я помолился в двух разных церквах (обстоявших, так сказать, мое земблянское вероисповедание, не представленное в Нью-Вае) и возвращался домой не спеша, в возвышенном расположении духа. Ни облачка не белело в заждавшихся небесах и, казалось, сама земля тихонько вздыхает по Господу нашему Иисусу Христу. В такие утра, солнечные и печальные, я каждой жилочкой ощущаю, что и для меня еще не закрыто Царствие Небесное, что и я могу обрести спасение, несмотря на мерзлую грязь и ужас в моем сердце. Поникнув главой, я поднимался по гравистой тропе, как вдруг совсем ясно услышал голос Шейда, словно стоящего за моей спиной, разговаривая громко, как бы с тугим на ухо собеседником, и этот голос сказал: «Придите вечером, Чарли». Я огляделся с трепетом и изумлением: я был совершенно один. Я позвонил немедля. Шейдов нет, сообщила нахальная служаночка, несносная вертихвостка, стряпавшая у них по воскресениям и несомненно мечтавшая, что в какой-нибудь вдовый денек старый поэт притиснет ее к груди. Я перезвонил через два часа, попал, как всегда, на Сибил, настоял на разговоре с другом (моих «весточек» ему никогда не передавали), залучил его к телефону и как можно спокойней спросил, что он делал около полудня, когда я услышал его у себя в саду поющим, словно огромная птица. Он толком не помнил, попросил обождать минуту, да, он с Полем (кто таков, не знаю) играл в гольф или по крайности смотрел, как Поль играет с еще одним коллегой. Я закричал, что вечером должен видеть его, и сразу же беспричинно разрыдался, затопив телефон и задохнувшись, – такого припадка со мной не случалось с 30 марта, когда мой Боб покинул меня. После суматошных переговоров между Шейдами Джон сказал: «Чарльз, послушайте. Давайте мы с вами вечером прогуляемся от души. Встретимся в восемь». Это во второй раз мы с ним прогуливались от души, считая с 6 июля (тот, неинтересный, разговор о природе), третья прогулка пришлась на 21 июля и оказалась на редкость короткой.

О чем бишь я? Да, мы с Джоном снова, как в прежние дни, бродили по рощам Аркадии, под лососевыми небесами.

– Ну, Джон, – весело говорил я, – о чем это вы писали в прошлую ночь? Окно у вас в кабинете просто пламенело.

— О горах, — отвечал он.

Хребет Бера, нагроможденье прожилистых скал и косматых елей, вырос передо мной во всей его мощи и красе. От чудной вести сильнее забилось сердце, и я почувствовал, что могу теперь в свой черед позволить себе роскошь великодушия. Я попросил моего друга ничего мне более не открывать, если только он сам того не захочет. Он отвечал: да, ему не хотелось бы рассказывать ни о чем, и тут же стал сетовать на сложность задачи, которую сам перед собою поставил. Он высчитал, что за последние двадцать четыре часа его мозг работал, на круг, тысячу минут и произвел пятьдесят строк (скажем, 787–838), — это один слог за каждые две минуты. Он закончил третью, предпоследнюю, Песнь и начал Песнь четвертую и последнюю (смотри Предисловие, сразу же, сразу смотри Предисловие), и если я не очень против, может быть, мы повернем домой, хотя еще только около девяти, — чтобы ему снова зарыться в хаос и вытащить оттуда свой космос со всеми его мокрыми звездами?

Мог ли я ответить «нет»? Горный воздух ударил мне в голову: он заново творил мою Землю!

106
Строка 801: опечатка

Переводчикам Шейда придется-таки повозиться с преображением — да еще в одно касание — слова mountain [гора] в слово fountain [фонтан, ключ, источник]: такое не передашь ни по-французски, ни по-немецки, ни по-русски, ни по-земблянски, — переводчику остается прибегнуть к одной из тех сносок, что пополняют криминальный архив находящихся в розыске слов[1]. И все же! Сколько я знаю, существует все же один совершенно необычайный, замечательно изящный случай, в котором участвуют не два, а целых три слова. Сама история достаточно тривиальна (и всего скорее апокрифична). В газетном отчете о коронации русского царя вместо «корона» [crown] напечатали «ворона» [crow], а когда на другой день опечатку с извинениями «исправляли», вместо нее появилась иная — «корова» [cow]. Изысканность соответствия английского ряда «crown-crow-cow» русскому «корона-ворона-корова» могла бы, я в этом уверен, привести моего поэта в восторг. Больше ничего подобного мне на игрищах лексики не встречалось, а уж вероятность такого двойного совпадения и подсчитать невозможно.

107
Строка 810: паутина смысла

Одну из пяти хижин, образующих этот автодортуар, занимает его владелец, — слезоточивый семидесятилетний старик, хромающий с вывертом, напоминающим мне о Шейде. Он владеет еще маленькой заправочной станцией неподалеку, продает червей рыболовам и, как правило, не слишком мне досаждает, но вот на днях предложил «стянуть любую старую книгу» с полки в его спальне. Не желая его обидеть, я постоял у полки, задравши голову и склоняя ее то к одному плечу, то к другому, но там были все замызганные старые детективы в бумажных обложках, стоившие разве что вздоха или улыбки. Он сказал: «Погодите-ка, — и вытащил из ниши у кровати потрепанное сокровище в тканевом переплете. — Великая книга великого человека, — „Письма“ Фрэнклина Лейна. Я знавал его в Рейнер-парке, в молодости, когда был там объездчиком. Возьмите на пару дней, не пожалеете.»

Я и не пожалел. В книге есть одно место, которое странно отзывается интонацией, усвоенной Шейдом в конце Песни третьей. Это из записи, сделанной Лейном 17 мая 1921 года, накануне смерти после сложной операции: «И если я перейду в этот самый мир иной, кого я примусь там разыскивать?.. Аристотеля! Ах, вот человек, с которым стоит поговорить! Какое наслаждение видеть, как он, пропустив между пальцами, словно поводья, длинную ленту человеческой жизни, идет замысловатым лабиринтом этого дивного приключения… Кривое делается прямым. Чертеж Дедала при взгляде сверху оказывается простым, — как будто большой, испятнанный палец некоторого мастера проехался по нему, смазав, и разом придав всей путаной, пугающей канители прекрасную прямоту.»

108
Строка 819: В игре миров

Мой блестящий друг выказывал совершенно детское пристрастие ко всякой игре в слова и особенно к той, что зовется словесным гольфом. Он мог оборвать увлекательнейшую беседу, чтобы предаться этой забаве, и конечно, с моей стороны было бы грубостью отказаться с ним поиграть. Вот некоторые из лучших моих результатов: «брак-вред» в три хода, «пол-муж» – в четыре и «родить-зарыть» (с «добить» посередке) – в шесть ходов.

109
Строка 821: А кто убил балканского царя?

Страх как хочется сообщить, что в черновике читается:

А кто убил земблянского царя?

– но, увы, это не так: карточки с черновым вариантом Шейд не сохранил.

110
Строка 830: Сибил

Эта изысканная рифма возникает как апофеоз, как венец всей Песни, синтезирующий контрапунктические аспекты ее «возможностей и былей».

111
Строки 835–838: Теперь силки расставлю

Песнь, начатая 19 июля на шестьдесят восьмой карточке, открывается образцовым шейдизмом: лукавым ауканьем нескольких фраз в дебрях переносов. На деле, обещания, данные в этих четырех строках, так и остались невыполненными, – лишь эхо ритмических заклинаний уцелело в строках 915 и 923–924 (разрешившихся свирепым выпадом в строках 925–930). Поэт, будто вспыльчивый кочет, хлопочет крылами, изготовляясь к всплеску накатывающего вдохновения, но солнце так и не всходит. Взамен обещанной буйной поэзии мы получаем парочку шуток, толику сатиры и, в конце Песни, чудное сияние нежности и покоя.

112
Строки 840–872: два способа писанья

В сущности – три, если вспомнить о наиважнейшем способе: положиться на отблески и отголоски подсознательного мира, на его «немые команды» (строка 871).

113
Строка 873: лучший час

В то время, как мой дорогой друг начинал этой строкой исписанную 20 июля стопку карточек (с семьдесят первой по семьдесят восьмую, последняя строка – 948), Градус всходил в аэропорту Орли на борт реактивного самолета, пристегивал ремень, читал газету, возносился, парил, пачкал небеса.

114
Строки 887–888: Коль мой биограф будет слишком сух или несведущ

Слишком сух? Или несведущ? Знал бы мой бедный друг загодя, кто станет его биографом, он обошелся бы без этих оговорок. На самом деле, я даже имел удовольствие свидетельствовать (одним мартовским утром) обряд, описанный им в следующих строках. Я собрался в Вашингтон и перед самым отъездом вспомнил, что он просил меня что-то такое выяснить в Библиотеке Конгресса. В моем сознании и посейчас отчетливо звучат неприветливый голос Сибил: «Но Джон не может принять вас, он принимает ванну», – и хриплый рев Джона из ванной комнаты: «Да пусть войдет, Сибил, не изнасилует же он меня!». Однако ни я, ни он – не сумели припомнить, что именно мне надлежало узнать.

115
Строка 894: король

В первые месяцы Земблянской революции портреты короля частенько появлялись в Америке. Время от времени какой-нибудь университетский приставала, обладатель настырной памяти, или клубная дама из тех, что вечно привязывались к Шейду и к его чудаковатому другу, спрашивали меня с глуповатой многозначительностью, обыкновенной в подобных случаях, говорил ли мне кто-либо, до чего я похож на несчастного монарха. Я отвечал в том духе, что «все китайцы на одно лицо», и старался переменить разговор. Но вот однажды, в гостиной преподавательского клуба, где я посиживал в кругу коллег, мне довелось испытать особенно стеснительный натиск. Заезжий немецкий лектор из Оксфорда без устали твердил – то в голос, то шепотом, – об «абсолютно неслыханном» сходстве, а когда я небрежно заметил, что все зембляне, отпуская бороду, становятся похожи один на другого, – и что в сущности название «Зембла» происходит не от испорченного русского слова «земля», а от «Semberland» – страна отражений или подобий, – мой мучитель сказал: «О да, но король Карл не носил бороды, и все же вы с ним совсем на одно лицо! Я имел честь [добавил он] сидеть в нескольких ярдах от королевской ложи на Спортивном фестивале в Онгаве в 1956 году, мы там были с женой, она родом из Швеции. У нас есть дома его фотография, а ее сестра коротко знала мать одного из его пажей, очень интересная была женщина. Да неужели же вы не видите [чуть ли не дергая Шейда за лацкан] поразительного сходства их черт, – верхняя часть лица и глаза, о да, глаза и переносица?»

– Отнюдь, сэр, – сказал Шейд, переложив ногу на ногу и по обыкновению слегка откачнувшись в кресле перед тем, как что-то изречь, – ни малейшего сходства. Сходства – это лишь тени различий. Различные люди усматривают различные сходства и сходные различия.

Добрейший Неточка, во всю эту беседу хранивший на удивление несчастный вид, тихо заметил, как тягостна мысль, что такой «приятный правитель» скорее всего погиб в заключении.

Тут в разговор ввязался профессор физики. Он был из так называемых «розовых» и веровал во все, во что веруют так называемые «розовые» (в прогрессивное образование, в неподкупность всякого, кто шпионит для русских, в радиоактивные осадки, порождаемые исключительно взрывами, производимыми США, в существование в недавнем прошлом «эры Маккарти», в советские достижения, включая «Доктора Живаго», и в прочее в том же роде): «Ваши сожаления безосновательны, – сказал он. – Как известно, этот жалкий правитель сбежал, переодевшись монахиней, но какова бы ни была или ни есть его участь, народу Земблы она безразлична. История разоблачила его – вот и вся его эпитафия».

Шейд: «Истинная правда, сэр. В должное время история разоблачает всякого. Но мертв король или жив не менее вас и Кинбота, давайте все-таки с уважением относиться к фактам. Я знаю от него [указывая на меня], что широко распространенные бредни насчет монахини – это всего лишь пошлая проэкстремистская байка. Экстремисты и их друзья, чтобы скрыть свой конфуз, выдумывают разный вздор, а истина состоит в том, что король ушел из дворца, пересек горы и покинул страну не в черном облачении поблекшей старой девы, но, словно атлет, затянутым в алую шерсть.»

– Странно, странно, – пробормотал немецкий гость, благодаря наследственности (предки его обитали в ольховых лесах) один только и уловивший жутковатую нотку, звякнувшую и затихшую.

Шейд (улыбнувшись и потрепав меня по колену): «Короли не умирают, они просто исчезают, – а, Чарли?»

– Кто это сказал? – резко, будто спросонья, спросил невежественный и оттого всегда подозрительный декан английского факультета.

– Да вот, хоть меня возьмите, – продолжал мой бесценный друг, игнорируя мистера Х., – про меня говорили, что я похож по крайности на четверых: на Сэмюеля Джонсона, на прекрасно восстановленного прародителя человека из Экстонского музея и еще на двух местных жителей, в том числе – на ту немытую и нечесанную каргу, что разливает по плошкам картофельное пюре в кафетерии Левин-холла.

— Третья ведьма, — изящно уточнил я, и все рассмеялись.

— Я бы сказал, — заметил мистер Пардон (американская история), — что в ней больше сходства с судьей Гольдсвортом («Один из нас», — вставил Шейд, кивая), особенно, когда он злобится на весь свет после плотного обеда.

— Я слышал, — поспешно начал Неточка, — что Гольдсворты прекрасно проводят время…

— Какая жалость, я ничего не могу доказать, — бормотал настырный немецкий гость. — Вот если бы был портрет. Нет ли тут где-нибудь…

— Наверняка, — сказал молодой Эмеральд, вылезая из кресла.

Тут ко мне обратился профессор Пардон:

— А мне казалось, что вы родились в России, и что ваша фамилия — это анаграмма из Боткин или Бодкин?

Кинбот: «Вы меня путаете с каким-то беглецом с Новой Земблы» (саркастически выделив «Новую»).

— Не вы ли говорили, Чарльз, что kinbote означает на вашем языке «цареубийца»? — спросил мой дражайший Шейд.

— Да, погубитель королей, — ответил я (страстно желая пояснить, что король, утопивший свою подлинную личность в зеркале изгнания, в сущности, и есть цареубийца).

Шейд (обращаясь к немецкому гостю): «Профессор Кинбот — автор замечательной книги о фамилиях. Кажется [ко мне], есть и английский перевод?»

— Оксфорд, 1956, — ответил я.

— Но русский язык вы все-таки знаете? — спросил Пардон. — Я, помнится, слышал на днях, как вы разговаривали с этим… как же его… о Господи (старательно складывает губы).

Шейд: «Сэр, мы все испытываем страх, подступаясь к этому имени» (со смехом).

Профессор Харлей: «Держите в уме французское название шины — punoo».

Шейд: «Ну, сэр, боюсь, вы всего лишь проткнули препятствие» (с оглушительным смехом).

— Покрышкин, — скаламбурил я. — Да, продолжал я, обращаясь к Пардону, — разумеется, я говорю по-русски. Видите ли, этот язык был моден par excellence — и гораздо более французского, — во всяком случае, среди земблянской знати и при Дворе. Теперь, конечно, все изменилось. Теперь именно в низших сословиях силком насаждают русскую речь.

— Но ведь и мы пытаемся преподавать в школах русский язык, — сказал «розовый».

Пока мы беседовали, в дальнем конце комнаты возился с книжными полками молодой Эмеральд. Ныне он воротился с томом «T-Z» иллюстрированной энциклопедии.

— Ну-с, — сказал он, — вот вам ваш король. Правда, он тут молодой и красивый. («Нет, это не годится», — заныл немецкий гость.) Молодой, красивый и в сногсшибательном мундирчике, — продолжал Эмеральд. — Голубая мечта, да и только!

— А вы, — спокойно сказал я, — испорченный щенок в дешевой зеленой куртке.

— Да что я такого сказал? — воззвал к обществу молодой преподаватель, разводя руками совсем как ученик в «Тайной вечери» Леонардо.

— Ну будет, будет, — сказал Шейд. — Я уверен, Чарльз, что наш юный друг вовсе не желал оскорбить вашего государя и тезку.

— Да он и не смог бы, когда бы и пожелал, — безмятежно сказал я, все обращая в шутку.

Джеральд Эмеральд протянул мне руку, — и сейчас, когда я пишу эти строки, она все еще остается протянутой.

116
Строки 895–900: Чем больше вешу я… подбрюдок

Вместо этих гладких и несколько неприятных стихов в черновике значится:

895 Да, я люблю пародию — ведь тут
«Когда Натуру Дух одолевает,
Натура вянет, — Дух околевает.»
Да, мой читатель, Поп.

117
Строка 920: Так дыбом волоски

Альфред Хаусман (1859–1936), чей сборник «The Shropshire Lad» спорит с «In Memoriam» Альфреда Теннисона (1809–1892) за право зваться высшим, возможно (о нет, долой малодушное «возможно»), достижением английской поэзии за сотню лет, где-то (в предисловии?) говорит совершенно противное: в восторге вставшие волоски ему бриться только мешают. Впрочем, поскольку оба Альфреда наверняка пользовались опасным лезвием, а Джон Шейд — ветхим «жиллетом», противоречие вызвано, скорее всего, различием в инструментах.

118
Строка 922: Наш Крем

Небольшая неточность. В известном рекламном мультфильме, о котором идет здесь речь, усы подпирает пузырящаяся пена, ничем на крем не похожая.

За этой строкой мы находим в черновике вместо строк 923–930 следующий, слегка затертый вариант:

Любой художник мнит ничтожным век,
В котором он рожден, но мой ужасней всех:
Век, полагающий, что бомбу иль ракету
Лишь немец может сотворить, при всем при этом
Любой осел тачает эту дрянь,
Век, в коем может пригоршня жулья
Селенографа обвести, потешный век,
Где доктор Швейцер — умный человек.
Перечеркнув написанное, поэт опробовал иную тему, но отставил также и нижеследующие строки:

Британия, где ввысь поэт взлетал,
Желает ныне, чтоб Пегас пахал,
Поэт — ишачил. Нынешний пролаза,
Идейный сыч, прозаик пучеглазый,
«Романов социальных» подпевала
Пятнит страницы копотью и салом.

119
Строка 929: Фрейд

Мысленным взором я снова вижу поэта, буквально упавшего на газон, бьющего по траве кулаком, дергаясь и подвывая от хохота, — и себя, доктора Кинбота, — по бороде моей катятся слезы, но я все же пытаюсь внятно зачитывать разные лакомые кусочки из книги, которую я стянул в аудитории: это ученый труд по психоанализу, используемый в американских университетах, повторяю, используемый в американских университетах. Увы, в моей записной книжке сохранились лишь две цитаты:

«Заметив, что учащийся ковыряет в носу вопреки любым приказам противуположного

толка или просовывает палец в пуговичную петлю… осведомленный в анализе педагог понимает, что аппетиты, которые проявляет в своих фантазиях этот сластолюбивый молодой человек, не знают границ.»

(Цитируется проф. Ц. по книге д-ра Оскара Пфистера «Психоаналитический метод», 1917, Нью-Йорк, с.79)

«Шапка из красного бархата в немецком варианте „сказки о Красной Шапочке“ символизирует менструацию.»

(Цитируется проф. Ц. по книге Эрика Фромма «Забытый язык», 1951, Нью-Йорк, с.240)

Неужели эти шуты и впрямь верят во все, чему они учат?

120
Строка 932: грузовики

Я, должен признаться, не помню, чтобы мне часто случалось слышать «грузовики», проезжающие мимо наших домов. Шумные легковые машины – да, но не грузовики.

121
Строка 937: старинной Земблы

Сегодня я – комментатор очень усталый и грустный.

На левом краю этой карточки (семьдесят шестой) поэт перед самой смертью записал строку из Второй эпистолы «Опыта о человеке», которую он, вероятно, намеревался процитировать в сноске:

В Гренландии иль в Зембле – Бог весть где

Так это все, что смог сказать о Зембле – о моей Зембле! – вероломный старик Шейд? Сбривая щетину? Странно, странно…

122
Строки 939–940: Жизнь человека и т. д.

Коли я верно понял смысл этого брошенного вскользь замечания, наш поэт полагает, что жизнь человека есть лишь череда сносок к громоздкому, темному, неоконченному шедевру.

123
Строка 949: И всякий миг

Итак, в некоторый миг утра 21 июля – последнего дня его жизни – Джон Шейд начал последнюю свою стопку карточек (семьдесят седьмая – восьмидесятая). Две мертвых зоны времени уже слились, образовав поясное время одной человечьей судьбы, и не исключено, что поэт в Нью-Вае и бандит в Нью-Йорке пробудились тем утром от одного и того же глухого щелчка, с которым начал последний отсчет секундомер их общего Хронометриста.

124
Строка 949: и всякий миг

И всякий миг он близился.

Грозная гроза встретила Градуса в Нью-Йорке в ночь его прибытия из Парижа (понедельник 20 июля). Тропический ливень затопил тротуары и рельсы подземки. В реках улиц играли калейдоскопические отражения. Сроду не видывал Виноградус такого обилия молний, тоже и Жак д'Аргус – да и Джек Грей, уж коли на то пошло (не забывайте про Джека Грея!). Обосновался он в третьеразрядной гостинице на Бродвее, спал крепко, лежал кверху брюхом прямо на одеяле в полосатой пижамной

паре, – у земблян такая зовется rusker sirsusker (русский костюм в полоску), – и не стянув по обыкновению носков: с 11 июля, со дня помывки в финской бане в Швейцарии, не доводилось ему повидать своих босых ступней.

Настало июля 21-е. В восемь утра Нью-Йорк поднял Градуса стуком и ревом. Как обычно, мутная его дневная жизнь началась продуванием носа. Потом он извлек из ночной картонной коробочки и установил в пасть, в маску Комуса, набор крупных зверского вида зубов: единственный, в сущности говоря, изъян его во всех остальных отношениях безобидной наружности. Проделав это, он выкопал из портфеля пару бисквитиков, припрятанных про запас, и еще более давний, но по-прежнему довольно съедобный бутерброд из поддельной ветчины – обмяклый, смутно напоминающий о ночном субботнем поезде Ницца-Париж, – тут было не в бережливости дело (Тени снабдили его порядочной суммой), но в животной приверженности привычкам бедственной молодости. Позавтракав в постели всеми этими деликатесами, он начал готовиться к главному дню своей жизни. Он уже брился вчера, с этим, стало быть, кончено. Испытанную пижаму он уложил не в чемодан, а в портфель, оделся, отцепил снутри пиджака камейно-розовый гребешок с разной дрянью, навязшей в зубах, продрал им щетинистые волоса, старательно приладил мягкую шляпу, вымыл обе руки приятным, современным жидким мылом в приятной, современной, ничем почти не пахнущей уборной на другой стороне коридора, помочился, ополоснул руку и, чувствуя, какой он чистый и опрятный, отправился прогуляться.

Прежде он никогда в Нью-Йорке не бывал, но, как и многие полудурки, полагал себя выше любой новизны. Вчера ночью он уже сосчитал восходящие строки освещенных окон в нескольких небоскребах и теперь, прикинув высоту еще кое-каких сооружений, почувствовал, что узнал все, достойное узнавания. Он выпил чашку кофе, полную до краев, и полное до половины блюдце у толкливой и мокрой стойки и скоротал остаток дымчатого и синего утра, переползая со скамьи на скамью и от газеты к газете в западных аллеях Центрального парка.

Начал он с дневного выпуска «The New-York Times». Губы его извивались, словно драчливые черви, пока он вычитывал разные разности. Хрущев внезапно отсрочил визит в Скандинавию и взамен собирался прибыть в Землу (тут подпеваю я: «Вы себя называете земблерами, а я вас – земляками!». Смех и аплодисменты.) Соединенные Штаты вот-вот спустят на воду первое атомное торговое судно (этим только бы рускеров позлить. Дж. Г.). Прошлой ночью в Нью-Арке молния ударила в многоквартирный дом, № 555 по Южной улице, расколотила телевизор и покалечила двух человек, смотревших, как тает актриса в яростной студийной грозе (сколь ужасны мучения этих духов! К.К.К. по свидетельству Дж. Ш.). Компания «Драгоценности Рахиль» приглашала агатовым шрифтом шлифовщика драгоценных камней, который «должен иметь опыт работы с украшениями для платьев» (о, Дегре этот опыт имел!). Братья Хелман сообщали о своем участии в переговорах относительно предоставления значительного кредита (11 млн. долларов) производственной компании «Деккерово стекло» с погашением задолженности 1 июля 1979 года, и Градус, снова помолодев, перечитал это дважды не без задней мысли, возможно, что через 4 дня после этого ему исполнится 64 года (без комментариев). На другой скамье он нашел понедельничный выпуск той же самой газеты. При посещении музея в городе Белоконске (Градус лягнул подошедшего слишком близко голубя) королева Великобритании зашла в угол Зала животных-альбиносов, сняла с правой руки печатку и, повернувшись спиной к нескольким откровенным зевакам, потерла этой рукой лоб и один глаз. В Ираке вспыхнуло прокоммунистическое восстание. Отвечая на вопрос о советской выставке в нью-йоркском «Коллизеуме», поэт Карл Сэндберг сказал: «Они аппелируют на высшем интеллектуальном уровне». Присяжный обозреватель новых туристских изданий, обозревая собственное турне по Норвегии, сообщил, что фьорды слишком известны, чтобы стоило (ему) их описывать, и что все скандинавы очень любят цветы. А на пикнике для детишек всех стран, одна земблянская малютка вскричала, обращаясь к своей японской подружке: «Ufgut, ufgut, welkam ut Semberland!» (Прощай, прощай, до встречи в Зембле!). Признаюсь, восхитительная была игра – следить в БВК за суетою различных эфемерид, склоняясь над тенью подбитого ватой плеча.

Жак д'Аргус в двадцатый раз посмотрел на часы. Он выступал, похожий на голубя, сложив за спиною руки. Он навощил свои красноватые туфли и оценил щелчок, с которым натягивал тряпку чумазый, но миловидный мальчишка. В бродвейском ресторане он потребил большую порцию розоватой свинины с кислой капустой, двойной гарнир из жесткого, жаренного «по-французски» картофеля и половинку переспелой дыни. Из моего прокатного облачка я с тихим удивлением созерцаю его:

вот она, эта тварь, готовая совершить чудовищный акт – и грубо смакующая грубую пищу! Я полагаю, нам следует предположить, что все воображение, каким он располагал, забегая вперед, как раз на акте-то и вставало, – как раз на грани всех его возможных последствий, последствий призрачных, сравнимых разве с фантомной ступней ампутанта или с веером добавочных клеток, которые шахматный конь (сей пожиратель пространства), стоя на боковой вертикали, «ощущает» в виде призрачного простора за краем доски, ни на действительные его ходы, ни на действительный ход игры отнюдь не влияющего.

Он вернулся и уплатил сумму, равноценную трем тысячам земблянских крон за короткую, но приятную остановку в отеле «Беверленд». Плененный иллюзией практической предусмотрительности, он оттащил свой фибровый чемодан и – после минутного колебания – дождевой плащ тоже под анонимную охрану железной вокзальной ниши, там, полагаю, лежат они и сейчас так же укромно, как мой самоцветный скипетр, рубиновое ожерелье и усыпанная бриллиантами корона в… впрочем, не важно где. С собой, в зловещее путешествие, он прихватил лишь знакомый нам потасканный черный портфель, содержавший чистую нейлоновую рубашку, грязную пижаму, безопасную бритву, третий бисквитик, пустую картонку, пухлую иллюстрированную газету, с которой он не успел управиться в парке, стеклянный глаз, когда-то сделанный им для своей любовницы, и дюжину синдикалистских брошюр, по нескольку копий каждой, – многие годы тому он отпечатал их своею собственной рукой.

Явиться на регистрацию в аэропорт следовало в 2 часа пополудни. Заказывая накануне ночью билет, он не сумел попасть на более ранний рейс до Нью-Вая из-за какого-то происходившего там съезда. Он порылся в расписании поездов, но их, как видно, составлял изрядный затейник: единственный прямой поезд (наши замотанные и задерганные студенты прозвали его «квадратным колесом») отходил в 5.13 утра, томился на остановках по требованию и изводил одиннадцать часов на то, чтобы проехать четыреста миль до Экстона, – можно было попытаться обставить его, отправясь через Вашингтон, да только там пришлось бы самое малое три часа дожидаться заспанного местного состава. Об автобусах Градусу нечего было и думать, его в них всегда укачивало, если он только не оглушал себя таблетками фармамина, но они могли ему сбить прицел, а он, если вдуматься, и так-то не очень твердо стоял на ногах.

Сейчас Градус ближе к нам в пространстве и времени, чем был в предыдущих Песнях. У него короткий ежик черных волос. Мы в состоянии заполнить унылую продолговатость его лица большинством образующих оное элементов, как то: густые брови и бородавка на подбородке. Кожа у него румяная, но нездоровая. Мы довольно отчетливо видим устройство его отчасти гипнотических органов зрения. Мы видим понурый нос с кривоватым хребтиком и раздвоенным кончиком. Мы видим минеральную синеву челюсти и пуантиллистический песочек ущербных усов.

Нам знакомы уже его кой-какие ужимки, нам знакомо широкое тело, чуть наклоненное, словно у шимпанзе, и коротковатые задние ноги. Мы довольно наслышаны о его мятом костюме. Наконец, мы можем описать его галстук, пасхальный подарок онгавского шурина, стиляги-мясника: искусственный шелк, цвет шоколадно-бурый при красной полоске, кончик засунут в рубашку между второй и третьей пуговицами (по земблянской моде тридцатых годов) – суррогат, как уверяет наука, и отца, и слюнявчика вместе. Отвратительно черные волосы облекают тылы его честных и грубых ладоней, тщательно вычищенных ладоней члена множества профессиональных союзов с заметными искривлениями больших пальцев, столь частыми у мастеров-халявщиков. Мы различаем, как-то вдруг, его влажную плоть. Мы различаем также (когда головой вперед, но вполне безопасно пронизываем, словно призраки, его самого и мерцающий винт его самолета, и делегатов, что приветливо машут и улыбаются нам) его фуксиновое и багровое нутро и странное, недоброкачественное волнение, воздымающееся у него в кишках.

Теперь мы можем пойти дальше и описать – доктору или кому иному, кто согласится нас выслушать, – состояние души этого примата. Он умел читать, писать и считать, был наделен крохами самосознания (и не знал, что ему с ними делать), способностью частичного восприятия длительности и хорошей памятью на лица, имена, даты и тому подобное. В духовном отношении он попросту не существовал. В моральном – это был манекен, охотящийся за другим манекеном. То обстоятельство, что оружие было у него настоящее, а дичь его принадлежала к высокоразвитым человеческим существам, – это обстоятельство относится к нашему миру, в его мире оно никакого значения не имело. Я готов допустить, что мысль об убийстве

«короля» в определенном смысле доставляла ему удовольствие, и потому мы должны добавить к перечню его принадлежностей способность образовывать представления – преимущественно общего характера, о чем я уже говорил в ином примечании, которое мне теперь искать недосуг. Возможно (я многое готов допустить), имелось тут и легкое, очень легкое чувственное томление, не большее, я бы сказал, чем испытывает поверхностный гедонист, когда, затаив дыхание, встает он перед увеличительным зеркалом и с убийственной точностью ногтями больших пальцев сдавливает с двух сторон жирную точку, выплескивая без остатка полупрозрачную пробочку черного угря, – и выдыхая облегченное «ах». Градус не стал бы никого убивать, когда бы не находил удовольствия не только в воображаемом деянии (постольку поскольку он вообще обладал способностью вообразить правдоподобное будущее), но также и в том, что группа людей, разделяющих его представления о справедливости, дает ему важное, ответственное задание (требующее среди прочего, чтобы он стал убийцей), однако он и не взялся бы за эту работу, когда бы не находил в убийстве чего-то схожего с довольно противным упоеньицем угредава.

В прежних моих заметках (я припоминаю теперь, что это были комментарии к строке 171), я рассматривал личные антипатии, а стало быть и мотивы нашего «механического человека», – так выразился я в то время, когда он не был еще столь телесен и не оскорблял наши чувства в той мере, в какой оскорбляет сейчас, – словом, когда он пребывал в гораздой дали от нашей солнечной, зеленой, пахнущей травами Аркадии. Впрочем, Господь наш толико чудесно учинил человека, что сколько ни рыскай за мотивами, как ни сыпь разумными доводами, а все не объяснишь как следует, почему и откуда берется субъект, способный прикончить ближнего (такая аргументация подразумевает, конечно, и я это сознаю, временное наделение Градуса статусом человека), – разве что он защищает жизнь сына своего или собственную или плоды трудов всей его жизни, – и потому в окончательном решении по делу «Градус против Короны» я предложил бы суду признать, что ежели человеческой неполноценности не довольно для объяснения его идиотского путешествия через Атлантику с единственной целью – разрядить пистолет, следует заключить, доктор, что наш получеловек был к тому же и полупомешан.

В маленьком и неудобном самолете, летевшем прямо на солнце, он оказался затиснутым между делегатов Нью-Вайского лингвистического конгресса: каждый с именной табличкой на лацкане и все – знатоки одного и того же иноземного языка, на котором, впрочем, говорить ни один из них не умел, почему беседа велась (над головой сгорбленного убийцы и по сторонам его неподвижной физиономии) на простеньком англо-американском диалекте. Во все время этого тяжкого испытания Градус гадал о причине другого неудобства, на протяженьи полета то пронимавшего его, то отпускавшего, – оно было похуже гомона моноглотов. Градус никак не мог решить, к чему его отнести, – к свинине, к капусте, к жаренному картофелю или к дыне, – ибо заново перепробовав их одно за одним в спазматических воспоминаниях, он обнаружил, что особенно выбирать между их разными, но равно тошнотворными букетами особенно не приходится. По моему мнению, и я бы хотел, чтобы доктор его подтвердил, всему виной оказался французский бутерброд, затеявший внутриутробную междуусобицу с поджаренным «по-французски» картофелем.

Высадившись в шестом часу в аэропорту Нью-Вая, он выпил два бумажных стаканчика приятно прохладного молока из автомата и купил в справочной карту. Постукивая толстым туповатым пальцем по очертаниям кампуса, напоминающим вывороченный желудок, он поинтересовался у клерка, какая гостиница ближе всего к колледжу. Клерк ответил, что на машине можно доехать до отеля «Кампус», оттуда до Главного холла (ныне Шейд-холл) ходу несколько минут. Во время поездки он вдруг ощутил столь настоятельные позывы, что пришлось мчаться в уборную, едва достигнув изрядно заполненного отеля. Там его муки разрешились в жгучих струях поноса. Только успел он застегнуть штаны и ощупать припухлость на ягодице, как тычки и взвизги возобновились, требуя вновь оголить чресла, он это и сделал и с такой неловкой поспешностью, что маленький браунинг едва не упорхнул в глубины унитаза.

Градус еще стонал и скрежетал зубными протезами, когда он и его портфель вновь осквернили собою солнце. Солнце сияло, рассыпаясь крапом в кронах деревьев, университетский городок пестрел толпой летних студентов и заезжих языковедов, и Градус среди них легко мог сойти за разъездного торговца букварями «бейсик-инглиша» для американских школьников или теми дивными машинками-переводчицами, что справляются с этим делом гораздо проворнее человека или животного.

В Главном холле его ждало большое разочарование: холл оказался закрыт до конца дня. Троица валявшихся на травке студентов присоветовала сунуться в библиотеку, и все трое указали на нее через лужайку. Туда и поплелся наш душегуб.

— Я не знаю, где он живет, — сказала девушка-регистратор, — зато знаю, где он сейчас. Вы наверняка его встретите в северо-западном зале, в третьем номере, у нас там исландская коллекция. Значит, ступайте на юг (взмахивая карандашом), потом свернете на запад и еще на запад, там будет что-то вроде… (карандаш описал вихлявую окружность, — круглый стол? Или круглая книжная полка?) — Нет постойте, лучше держите все время на запад, пока не уткнетесь в зал Флоренс Хаутон, а там перейдите в северное крыло. Тут уж не промахнетесь (и карандаш возвратился за ухо).

Не будучи ни моряком, ни беглым королем, он немедленно заблудился и после тщетных скитаний по лабиринту стеллажей спросил об исландской коллекции у суровой на вид библиотекарши, перебиравшей карточки в стальном шкапу на лестничной площадке. Ее неспешные и дотошные указания быстро привели его обратно в регистратуру.

— Пожалуйста, я никак не найду, — сказал он, тяжело мотая головой.

— А вы разве… — начала девушка и вдруг ткнула вверх. — Да вот же он!

По открытой галерее над залом, вдоль короткой ее стороны быстрым солдатским шагом перемещался справа налево высокий бородатый мужчина. Он скрылся за книжным шкапом, но Градус уже узнал огромное сильное тело, прямую осанку, высокую переносицу и энергическую отмашку Карла-Ксаверия Излюбленного.

Наш преследователь рванул по ближайшей лестнице — и тут же попал в заколдованную тишь хранилища редких книг. Прекрасная комната — и без дверей, — несколько минут прошло, пока он нашел задрапированный вход, которым только что воспользовался. Замороченный этой ужасной помехой и новой нестерпимой коликой в животе, Градус метнулся назад, пробежал три ступеньки вниз, девять вверх и влетел в круглую залу, где сидел за круглым столом и с иронической миной читал русскую книгу загорелый лысый профессор в гавайской рубашке. Он не обратил на Градуса никакого внимания, а тот проскочил комнату, перепрыгнул, не разбудив, жирную белую собачонку и оказался в хранилище «Р». Тут залитый светом и белизной коридор с множеством труб по стенам привел его в неожиданный рай ватерклозета для водопроводчиков и заблудших ученых, и Градус, скверно ругаясь, переместил второпях пистолет из ненадежного привесного кармана штанов в карман пиджака и опростал нутро от новой порции жидкого ада. Опять он вскарабкался вверх и в храмовом свете стеллажей увидел здешнего служку, хрупкого юношу-индуса с бланком запроса в руке. Я никогда с этим юношей не заговаривал, но не раз ощущал на себе его иссиня-карий взор, и разумеется, мой академический псевдоним ему был известен, но какая-то чувствительная клеточка в нем, некая хорда интуиции отозвалась на резкость заданного убийцей вопроса и, словно бы защищая меня от неясной опасности, он улыбнулся и сказал:

Я такого не знаю, сударь.

Градус вернулся в регистратуру.

— Ну надо же, — сказала девушка, — я только что видела, как он уходил.

— Боже мой, Боже мой, — выдавил Градус, в горестные минуты испускавший иногда русские восклицания.

— Да вы посмотрите в справочнике, — сказала она, подпихнув к нему книгу и сразу забыв о существовании горемыки ради нужд мистера Джеральда Эмеральда, бравшего пухлый бестселлер в целлофановой суперобложке.

Стеная и перебирая ногами, Градус листал университетский справочник, однако, когда он выискал адрес, возникла новая загвоздка — как по нему попасть?

— Далвич-роуд, — крикнул он девушке. — Близко? Далеко? Наверное, очень далеко?

— Вы, случаем, не новый ассистент профессора Пнина? — спросил Эмеральд.

— Нет, — сказала девушка. — Он, по-моему, ищет доктора Кинбота. Вы ведь доктора Кинбота ищете, верно?

— Да, и больше не могу, — сказал Градус.

— Я так и думала, — сказала девушка. — Он не около мистера Шейда живет, а, Джерри?

— Именно, именно, — ответил Джерри и повернулся к убийце. — Я вас могу подвезти, если хотите. Мне по пути.

Говорили ль они дорогой, эти два персонажа, человек в зеленом и человек в коричневом? Кто может сказать? Они не сказали. В конце концов, поездка заняла лишь несколько минут (я за рулем моего мощного «Кремлера», укладывался в четыре с половиной).

— Вот тут я вас, пожалуй, и высажу, — сказал мистер Эмеральд. — Вон тот дом наверху.

Трудно решить, чего в эту минуту Градусу, он же Грей, хотелось сильнее: расстрелять всю обойму или избавиться от неисчерпаемой лавы в кишках. Когда он закопошился в запоре, небрезгливый Эмеральд потянулся, близко к нему, поперек, почти прижимаясь, чтобы помочь отворить дверцу, — а затем, захлопнув ее, со свистом умчался на какое-то свидание в долине. Читатель, надеюсь, оценит мельчайшие частности, мною представленные, ради них мне пришлось вести с убийцей долгие разговоры. Он оценит их даже сильнее, если я сообщу ему, что согласно легенде, впоследствии распространенной полицией, Джека Грея привез сюда чуть ли не из Руанока или еще откуда некий истомленный одиночеством водитель грузовика! Остается только надеяться, что непредвзятые розыски позволят найти фетровую шляпу, забытую им в библиотеке — или в машине мистера Эмеральда!

125
Строка 957: «Ночной прибой»

Я вспоминаю одно небольшое стихотворение из «Ночного прибоя» («Night Rote» означает, собственно, «звуки ночного моря»), которое познакомило меня с американским поэтом по имени Джон Шейд. Молодой преподаватель американской литературы, блестящий и очаровательный юноша из Бостона, показал мне этот прелестный тоненький томик в Онгаве, в пору моего студенчества. Это стихотворение, «Искусство», открывают приведенные ниже строки, оно порадовало меня западающим в память ритмом, но огорчило несоответствием религиозным чувствам, внушенным мне нашей весьма «высокой» земблянской церковью.

От мамонтов и Одиссеев,
От ворожбы и тьмы
К веселым итальянским феям
С фламандскими детьми.

126
Строка 962: Ну, Вилли! «Бледный пламень»

В расшифрованном виде это, надо полагать, означает: А поищу-ка я у Шекспира что-либо годное для заглавия. И отыскивается «бледное пламя». Но в каком же творении Барда подобрал наш поэт эти слова? В этом читателю придется разбираться самому. Все, чем я ныне располагаю, — это крохотное карманное (карман жилетный) издание «Тимона Афинского», да к тому же в земблянском переводе! Оно положительно не содержит ничего похожего на «бледное пламя» (иначе моя удача была бы статистическим монстром).

До эпохи мистера Кэмпбелла английский язык в Зембле не преподавался. Конмаль овладел им совершенно самостоятельно (в основном — заучивая словарь наизусть) совсем еще молодым человеком, в 1880 году, когда перед ним, казалось, открывалась не преисподняя словесности, но мирная военная карьера. Первый свой труд (перевод шекспировых «Сонетов») он предпринял на пари с однополчанином. Затем он сменил аксельбанты на ученую мантию и принялся за «Бурю». Работал он медленно, полстолетия ушло на перевод всех сочинений того, кого он называл «дзе Барт». Вслед за тем, в 1930 году, он перешел к Мильтону и прочим поэтам,

церемонно маршируя сквозь века, и только успел завершить перевод киплинговых «Виршей трех зверобоев» («Таков уж закон Московитов, что сталью стоит и свинцом»), как сделался болен и вскоре угас под великолепной росписью спальных плафонов, воспроизводящей животных Альтамиры, — последние слова его последнего бреда были такими: «Comment dit-on „mouri“ en anglais?» — прекрасный и трогательный конец.

Легко глумиться над огрехами Конмаля. Это наивные промахи великого первооткрывателя. Слишком много времени проводил он в библиотеке и слишком мало средь отроков и юношей. Писателям следует видеть мир, срывать его фиги и персики, а не сидеть, размышляя, в башне из желтой слоновой кости, — что, к слову, было также и ошибкой Джона Шейда.

Не следует забывать, что Конмаль приступил к выполнению своей ошеломительной задачи в ту пору, когда земблянам не был доступен ни единый английский автор за вычетом Джейн де Фоун, десятитомной романистки, чьи творения, как ни странно, в Англии неизвестны, да Байрона в нескольких отрывках, переведенных с французского.

Мужчина крупный, неповоротливый и напрочь лишенный страстей, помимо страсти к поэзии, он редко покидал свой хорошо протопленный замок с пятьюдесятью тысячами коронованных книг, — известно, что однажды он два года провалялся в постели: читал, писал, а после, хорошо отдохнувший, навестил Лондон в первый и единственный раз, но погода там стояла туманная, языка он понять не сумел и потому еще на год вернулся в постель.

Английский язык так и оставался исключительной привилегией Конмаля, а его «Шакспер» пребывал неуязвимым в большую часть его долгой жизни. Маститый Дюк славился благородством своих творений, и мало кто набирался духу осведомиться об их точности. Я сам так и не осмелился их проверить. Один бессердечный член Академии, решившийся на это, в итоге лишился места, да еще получил от Конмаля жестокий нагоняй в виде удивительного сонета, написанного прямо на красочном, пусть и не совсем верном английском; этот сонет начинался так:

Нет, критик, я не раб! Пусть сам ты раб.
А мне нельзя. Шекспир не разрешает.
Пусть копиист аканты малевает, —
Мы с Мастером распишем архитрав.

127
Строка 991: Подковы

Ни Шейд, ни я так и не сумели установить, откуда именно долетали к нам эти звенящие звуки, — какое из пяти семейств, обитавших за дорогой на нижних уступах нашего лесистого холма, через вечер на другой развлекалось метанием подков, — но томительный лязг и бряцание вносили приятно меланхолическую ноту в вечернее звучание Далвичского холма — в переголосицу ребятишек, в зазывные клики родителей, в упоенный лай приветствующего хозяина боксера, которого соседи в большинстве недолюбливали (он переворачивал мусорные бачки).

Именно это месиво металлических мелодий и окружило меня в тот роковой, чересчур лучезарный вечер 21 июля, когда, с ревом примчавшись в моей мощной машине из библиотеки, я сразу пошел взглянуть, что поделывает мой милый сосед. Я только что встретил Сибил, катившую в город, и оттого питал кое-какие надежды на вечер. Право же, я очень напоминал запостившегося, опасливого любовника, пользующегося тем, что молодой муж остался дома один!

Сквозь деревья я различил белую рубаху и седую гриву Джона: он сидел у себя в «гнезде» (как сам его называл), на обвитом зеленью крыльце, или веранде, описанной мной в примечаниях к строкам 47–48. Я не удержался и подобрался поближе, — о, легонько, почти на цыпочках, но тут разглядел, что он не пишет, а отдыхает, пожалуй, и уже не таясь, взошел на крыльцо. Локоть Джона упирался в стол, кулак подпирал висок, морщины разъехались вкривь и вкось, глаза туманные, влажные, — на вид совершенная ведьма в подпитии. В знак приветствия он приподнял свободную руку, не переменяя позы, которая хоть и не была для меня непривычна, на этот раз поразила особенной сиротливостью и печалью.

— Ну-с, — сказал я, — благосклонна ль к вам нынче муза?

— Весьма благосклонна, — ответил он, слабо кивая поникшей на руку головой. — Замечательно благосклонна и ласкова. В сущности, вот здесь у меня (указывая на большой брюхатый конверт, лежавший рядышком на клеенке) почти готовый продукт. Осталось уладить кое-какие мелочи и (внезапно ахнув кулаком по столу), видит Бог, я это сделал.

Конверт, незапертый с одного конца, топорщился от натисканных карточек.

— А где же миссус? — спросил я (высохшими губами).

— Помогите мне, Чарли, вылезти отсюда, — попросил он, — нога совсем онемела. Сибил обедает в клубе.

— Имею предложение, — сказал я, затрепетав. — У меня есть дома полгаллона токайского. Готов разделить любимое вино с любимым поэтом. Давайте отобедаем горсткой грецких орехов, гроздью бананов и парой крупных томатов. А если вы согласитесь показать мне ваш «готовый продукт», я вас попотчую чем-то еще: я вам открою, для чего я вам подсказал или, вернее, кто подсказал вам тему вашей поэмы.

— Какую тему? — рассеянно спросил Шейд, припадая к моей руке и постепенно обретая подвижность онемелого члена.

— Я говорю о нашей синей, вечнотуманной Зембле, о красной шапочке Стейнманна, о моторной лодке в приморской пещере и…

— А, — сказал Шейд. — По-моему, я довольно давно уже разгадал ваш секрет. Что не помешает мне с наслаждением пить ваше вино. Ну хорошо, теперь я управлюсь и сам.

Я отлично знал, что ему нипочем не устоять перед золотистой каплей того-этого, особливо с тех пор, как в доме Шейдов установились суровые ограничения. Внутренне подскакивая от восторга, я перенял конверт, мешавший ему спускаться со ступенек крыльца, — боком, как боязливый ребенок. Мы перешли лужок, мы перешли проулок. Трень-брень, играли подковы в Тайной Обители. Я нес крупный конверт и ощупывал жесткие уголки стянутых круглой резинкой карточных стопочек. Сколь несуразно привычно для нас волшебство, в силу которого несколько писанных знаков вмещают бессмертные вымыслы, замысловатые похожденья ума, новые миры, населенные живыми людьми, беседующими, плачущими, смеющимися. Мы с таким простодушием принимаем это диво за должное, что в каком-то смысле самый акт животно привычного восприятия отменяет вековые труды, историю постепенного совершенствования поэтического описания и построения, идущую от древесного человека к Браунингу, от пещерного — к Китсу. Что как в один прекрасный день мы, мы все, проснемся и обнаружим, что вовсе не умеем читать? Мне бы хотелось, чтобы у вас захватывало дух не только от того, что вы читаете, но и от самого чуда чтения (так обыкновенно говорил я студентам). Сам я, немало поплававший в синей магии, хоть и способен изобразить какую угодно прозу (но не поэзию, как ни странно, — рифмач из меня убогий), не отношу себя к истинным художникам, впрочем, с одной оговоркой: я обладаю способностью, присущей одним только истинным художникам: случайно наткнувшись на забытую бабочку откровения, вдруг воспарить над обыденным и увидеть ткань этого мира, ее уток и основу. Набожно взвесил я на ладони то, что нес слева под мышкой, минутами ощущая немалое изумление, как если б услышал, что светляки передают сигналы от имени потерпевших крушение призраков, и эти сигналы можно расшифровать, или что летучая мышь пишет разборчивым почерком в обожженном и ободранном небе повесть об ужасных мучениях.

Я держал, прижимая к сердцу, всю мою Земблу.

128
Строки 992–995: темная ванесса и т. д.

За минуту до смерти поэта, когда мы переходили из его владений в мои, продираясь сквозь бересклет и декоративные заросли, словно цветное пламя взвился и головокружительно понесся вкруг нас «красный адмирал» (смотри примечание к строке 270). Мы уже видели прежде раз или два этот же экземпляр в то же время, на том же месте, — там низкое солнце открыло в листве проход и заливало

последним светом бурый песок, когда вечерние тени уже покрывали всю остальную дорожку. Глаз не поспевал за стремительной бабочкой, она вспыхивала, исчезала и вспыхивала опять в солнечных лучах, почти пугая нас видимостью разумной игры, наконец разрешившейся тем, что она опустилась на рукав моего довольного друга. Затем она снялась, и через миг мы увидели, как она резвится в зарослях лавра, в упоеньи легкомысленной спешки, там и сям опадая на лоснящийся лист и съезжая его ложбинкой, будто мальчишка по перилам дня своего рождения. Вскоре прилив теней добрался до лавров, и чудесное, бархатисто-пламенное создание растаяло в нем.

129
Строка 998: садовник (тут он где-то рядом работает)

Где-то рядом! Множество раз поэт встречал моего садовника, и эту уклончивость я могу отнести лишь к желанию (вообще заметному повсеместно в его обхождении с именами и проч.) придать некую поэтическую патину, налет удаленности, знакомым предметам и лицам, – хоть и может статься, что в неровном свете он принял садовника за чужака, работающего на чужака. Этого дельного садовода я отыскал случайно в один пустой весенний день, когда тащился домой после сумбурного и неуютного приключения в крытом университетском бассейне. Он стоял наверху зеленой лестницы, прислоненной к больной ветви благодарного дерева в одной из славнейших аллей Аппалачия. Красная фланелевая рубаха лежала в траве. Мы разговорились, немного смущаясь, он наверху, я внизу. Меня приятно удивило, что он способен сказать, откуда взялся каждый из его пациентов. Стояла весна, мы были одни в прелестной колоннаде деревьев, из конца в конец профотографированной английскими посетителями. Я могу перечислить здесь лишь некоторые из деревьев: гордый дуб Юпитера и еще два – британский, как грозовая туча, и узловатый средиземноморский; заслон ненастья (липа, line, а ныне – lime); трон феникса (а ныне – финиковая пальма); сосна и кедр (Cedrus), оба островные; венецианский белый клен (Acer); две ивы – зеленая, тоже из Венеции, и седолистая из Дании; вяз летний, чьи корявые персты плющ кольцами обвил; и летняя смоква, чья тень зовет помедлить; и грустный кипарис шута из Иллирии.

Два года он проработал санитаром в больнице для негров в Мэриленде. Нуждался. Хотел бы изучать садоводство, ботанику и французский язык («чтобы в подлинниках читать Бодлера и Дюма»). Я пообещал ему денежную поддержку. На следующий день он начал работать у меня. Он оказался ужасно милым и трогательным и все такое, но немножко слишком болтливым и совершеннейшим импотентом, а это меня всегда расхолаживало. Вообще же малый он был крепкий и рослый, и я испытывал большое эстетическое наслаждение, наблюдая как он весело управляется с почвой и с дерном или нежно обхаживает луковицы тюльпанов, или выкладывает плиткой дорожки, которые, быть может, – а быть может и нет, – приятно удивят моего домохозяина, когда тот вернется из Англии (где за ним, надеюсь, не гоняются кровожадные маниаки!). Как я томился желанием уговорить его, – садовника, а не домохозяина, – носить громадный тюрбан и шальвары, и браслет на лодыжке. Уж верно, я бы заставил его нарядиться в согласьи с давними романтическими представлениями о мавританском принце, будь я северным королем – или, правильнее, будь я по-прежнему северным королем (изгнание переходит в дурную привычку). Ты укоришь меня, мой скромник, за то, что я так много пишу о тебе в этой заметке, но я почитаю себя обязанным уплатить тебе эту дань. В конце концов, ты спас мне жизнь. Ты да я, мы были последними, кто видел Джона Шейда живым, и ты признался потом в странном предчувствии, заставившем тебя прервать работу, когда из кустов ты увидел, как мы идем к крыльцу, на котором стоял – (Из суеверия я не могу записать странное, нечистое слово, к которому ты прибегнул.)

130
Строка 1000 [= Строке 1: Я тень, я свиристель, убитый влет]

Сквозь тонкую ткань бумажной рубашки Джона различались сзади розоватые пятна там, где она прилегала к коже над и вокруг ошейка смешной одежки, которую он надевал под рубашку, как всякий порядочный американец. С какой мучительной ясностью я вижу, как перекатывается одно тучное плечо, как приподымается другое, вижу седую копну волос, складчатый затылок, красный в горошек платок, вяло свисающий из одного кармана, припухлость бумажника в другом, широкий бесформенный зад, травяное пятно на седалище старых защитного цвета штанов, истертые задники мокасин, слышу приятный рокоток, когда он оглядывается и, не останавливаясь, произносит что-нибудь вроде: «Вы смотрите там, ничего не

рассыпьте, – не фантики все-таки» или (наморщась): «Придется опять писать Бобу Уэллсу [наш мэр] про эти чертовы ночные грузовики по вторникам».

Мы уже добрались до гольдсвортовой части проулка и до мощеной плиточной дорожки, что ползла вдоль бокового газона к гравийному подъездному пути, поднимавшемуся от Далвичского тракта к парадной двери Гольдсвортов, как вдруг Шейд заметил: «А у вас гость».

На крыльце боком к нам стоял приземистый, плотный, темно-волосатый мужчина в коричневом костюме, придерживая за глупую хватку мятый и тертый портфель и еще указуя скрюченным пальцем на только что отпущенную кнопку звонка.

– Убью, – пробормотал я. Недавно какая-то девица в чепце всучила мне кипу религиозных брошюр, пообещав, что ее брат, которого я невесть почему вообразил себе хрупким и нервным юношей, заглянет, чтобы обсудить со мной Промысел Божий и разъяснить все, чего я не пойму из брошюр. Ничего себе, юноша!

– Ну я же его убью, – шепотом повторил я, так несносна была мне мысль, что упоенье поэмой может отсрочиться. В бешенстве, поспешая избыть докучного гостя, я обогнул Шейда, шагавшего до того впереди меня, и возглавил шествие к двойному наслаждению столом и стилем.

Видел ли я когда-либо Градуса? Дайте подумать. Видел? Память мотает головой. И все же убийца уверял меня после, что однажды я, озирая из башни дворцовый сад, помахал ему, когда он с одним из бывших моих пажей, юношей, чьи волосы походили на мягкую стружку, тащил из теплицы к телеге стекленную раму; да и теперь, едва визитер поворотился к нам и оцепенил нас близко сидящими глазами печальной змеи, я ощутил такой трепет узнавания, что, спи я в ту минуту, – непременно бы пробудился со стоном.

Первая пуля отхватила пуговицу с рукава моего черного блайзера, вторая пропела над ухом. Уверения, что целил он не в меня (только что виденного в библиотеке, – будем последовательны, господа, как-никак мы живем в рациональном мире), не в меня, а в седого лохматого господина у меня за спиной, – это попросту злобный вздор. Ну конечно же он целил в меня, да только все время промахивался, неисправимый мазила, я же непроизвольно отшатнулся, взревел и растопырил большие сильные руки (левая еще сжимала поэму, «еще прильнув к неуязвимой тени», если процитировать Мэтью Арнольда, 1822–1883), силясь остановить безумца и заслонить Джона, в которого, как я опасался, он может совершенно случайно попасть, а Джон, милый, неловкий, старый Джон, цеплялся за меня и тянул назад, под защиту своих лавров, с озабоченной суетливостью горемычного мальчика-хромоножки, что пытается вытащить припадочного братика из-под града камней, коими осыпают их школьники, – зрелище, некогда обыкновенное во всякой стране. Я ощутил – и сейчас еще ощущаю, как рука Джона закопошилась в моей, нашаривая кончики пальцев, и отыскала их лишь для того, чтобы сразу же выпустить, как будто в возвышенной эстафете вручила мне палочку жизни.

Одна из пуль, миновавших меня, ударила Джона в бок и прошла через сердце. Внезапно лишась его присутствия сзади, я потерял равновесие, одновременно, для завершения фарса фортуны из-за живой изгороди ужасным ударом рухнула на макушку Джека-стрелка лопата садовника, и Джек повалился, а оружие его отлетело в сторону. Наш спаситель подобрал пистолет и помог мне подняться. Жутко болел копчик и правая рука, но поэма была спасена. Вот только Джон лежал ничком на земле с красным пятном на белой рубашке. Я еще надеялся, что он не убит. Умалишенный сидел на крыльце, обморочно облапив кровоточащую голову окровавленными руками. Оставив садовника приглядеть за ним, я помчался в дом и спрятал бесценный конверт под грудой девичьих калошек, ботиков на меху и резиновых белых сапог, сваленных на пол стенного шкапа, – я вышел из шкапа, как если бы в нем кончался подземный ход, по которому я проделал весь путь из моего заколдованного замка, из Земблы в Аркадию. Потом я набрал 11111 и со стаканом воды вернулся на место кровавой бойни. Бедный поэт лежал уже на спине, уставя мертвые очи в вечернюю солнечную лазурь. Вооруженный садовник и увечный убивец рядком покуривали на крылечке. Последний, то ли оттого, что страдал от боли, то ли решившись играть новую роль, не обращал на меня никакого внимания, словно бы я был не я, а гранитный король на гранитном коне с Тессерской площади в Онгаве; но поэма была цела.

Садовник поднял стакан, поставленный мною сбоку от крыльца, рядом с цветочным

горшком, и поделился водой с душегубом, и проводил его до уборной в подвале, и появилась полиция и карета, и бандюга сказал, что зовут его Джеком Греем, без определенного места жительства, не считая Клиники для убийц и сумасшедших извергов, «куси», хорошая собачка, в которой его давно уже следовало прописать постоянно и из которой, по мнению полиции, он только что удрал.

— Ну пошли, Джек, надо тебе залепить чем-нибудь голову, — сказал спокойный, но решительный полицейский, перешагивая через тело, и тут наступила жуткая минута, потому что подъехала дочь доктора Саттона, а с нею Сибил Шейд.

В ту суматошную ночь я, улучив минуту, перетащил поэму из-под ботиков четверки Гольдсвортовых нимфеток под простую охрану моего черного чемодана, но лишь когда забрезжил день, я счел осмотр моего сокровища достаточно безопасным.

Мы знаем, как глубоко, как глупо я веровал, что Шейд сочиняет не просто поэму, но своего рода романсеро о Землянском Короле. Мы приготовлены к ожидающему меня разочарованию. О нет, я не думал, что он посвятит себя полностью этой теме. Разумеется, он мог сочетать ее с какими-то сведениями из собственной жизни, с разрозненной американой, — но я был уверен, что в поэму войдут удивительные события, которые я ему описал, оживленные мной персонажи и вся неповторимая атмосфера моего королевства. Я и название ему предложил хорошее — название скрытой во мне книги, которой страницы ему предстояло разрезать: «Solus Rex», — а вместо него увидел «Бледное пламя», ни о чем мне не говорящее. Я начал читать. Я читал все быстрей и быстрей. Я с рычанием пронесся через поэму, как пробегает разъяренный наследник завещание старого плута. Куда подевались зубчатые стены моего закатного замка? Где Прекрасная Зембла? Где хребты ее гор? Где долгая дрожь в тумане? А мои миловидные мальчики в цвету, а радуга витражей, а Паладины Черной Розы и вся моя дивная повесть? Ничего этого не было! Вся многосложная лепта, которую я приносил ему с упорством гипнотизера и неутомимостью любовника, просто исчезла. О, как выразить мне мою муку! Взамен чудесной, буйной романтики — что получил я? Автобиографическое, отчетливо аппалаческое, довольно старомодное повествование в ново-поповском просодическом стиле, — написанное, конечно, прекрасно, Шейд и не мог написать иначе, — но лишенное всей моей магии, той особенной складки волшебного безумия, которое, как верилось мне, пронижет поэму, позволив ей пережить свое время.

Постепенно всегдашнее самообладание возвращалось ко мне. Я с большим тщанием перечел «Бледное пламя». Я ожидал теперь меньшего, и поэма мне понравилась больше. И что это? Откуда взялась эта далекая, смутная музыка, это роение красок в воздухе? Там и сям находил я в поэме и особенно, особенно в бесценных вариантах, блестки и отголоски моего духа, длинную струйную зыбь, — след моей славы. Теперь я испытывал к поэме новую, щемящую нежность, словно к юному и ветреному созданию, что было похищено черным гигантом ради животного наслаждения, но ныне вернулось под защиту нашего крова и парка и пересвистывается с конюшенными юношами, и плавает с прирученным тюленем. Еще болит уязвленное место, ему и должно болеть, но со странной признательностью мы целуем эти тяжкие влажные вежды и нежим оскверненную плоть.

Мой комментарий к поэме, пребывающий ныне в руках читателя, представляет собой попытку отделить эти отзвуки, эти отблески пламени, эти фосфоресцирующие улики, все обилие подсознательных заимствований Шейда. Некоторые мои заметки, возможно, отзываются горечью, — но я приложил все старания, чтобы не выставить напоказ никаких обид. И в этой последней схолии я не намерен пенять на пошлые и жестокие домыслы, кои позволили себе обнародовать профессиональные репортеры и шейдовы «друзья», извратившие в состряпанных ими некрологах обстоятельства его гибели. Их отзывы обо мне я расцениваю как смесь журналистской заскорузлости и гадючьего яда. Не сомневаюсь, что многие утверждения, сделанные в этом труде, виновная сторона отвергнет при самом его выходе в свет. Миссис Шейд не упомнит, чтобы муж, который «все ей показывал», знакомил ее с тем или иным драгоценным вариантом. Трое студентов, так и валяющихся в траве, впадут в совершенную амнезию. Библиотечная девушка не вспомнит (да ей и прикажут не вспомнить), чтобы в день убийства кто-либо спрашивал доктора Кинбота. И я более чем уверен, что мистер Эмеральд ненадолго прервет изучение упругих прелестей некоторой грудастой студентки, дабы с пылом вожделеющей плоти отрицать, что он вообще кого-либо подвозил в тот вечер к моему дому. Иными словами, будет сделано все, чтобы напрочь устранить меня из жизни моего доброго друга.

И тем не менее, я хотя бы отчасти сквитался с ними: замешательство публики

косвенным образом помогло мне получить права на издание «Бледного пламени». Мой достойный садовник, с увлечением рассказывая кому ни попадя о том, чему был свидетелем, определенно кое в чем ошибался, – не столько, быть может, в преувеличенном описании проявленного мной «героизма», сколько в предположении, что так называемый «Джек Грей» умышленно целился в Джона Шейда; однако мысль обо мне, «бросившемся» между стрелком и мишенью, так растрогала вдову Шейда, что в минуту, которой я никогда не забуду, она, лаская мне руки, вскричала: «Существуют поступки, которым не может быть достаточного воздаяния ни в этом мире, ни в следующем». «Следующий мир» вечно тут как тут, когда несчастье выпадает на долю безбожника, но я, натурально, пропустил его мимо ушей, я вообще решил ничего не оспаривать, а вместо того сказал: «Ах, Сибил, дорогая, но именно в этом случае воздаянье возможно. Быть может, просьба моя представится вам черезмерно скромной, но – дозвольте мне, Сибил, отредактировать и издать последнюю поэму Джона». Дозволение я получил сразу, с новыми вскриками и объятьями, и уже назавтра ее подпись стояла под соглашением, составленным для меня мелким, но шустрым законоведом. Вы, моя милая, скоро забыли ту минуту горькой признательности. Но уверяю вас, я не имел в виду ничего дурного, и может быть, Джона Шейда не так уж и покоробили бы эти мои заметки, вопреки всяким козням и грязи.

Вследствие этих козней я столкнулся с кошмарными трудностями в моих попытках заставить публику беспристрастно увидеть – без того, чтобы она сразу же завопила и ошикала меня, – истинную трагедию: трагедию, которой я был не случайным «свидетелем», но протагонистом и главной, пусть и несбывшейся жертвой. В конце концов, поднявшийся гвалт принудил меня изменить ход моей новой жизни и перебраться в эту скромную горную хижину, но я еще успел добиться, сразу после ареста, одного, а там и двух свиданий с острожником. Теперь он был куда более внятен, чем в тот раз, что сидел, скрючась и капая кровью на ступеньки моего крыльца. Убедив его, что смогу помочь во время суда, я добился от него признания в омерзительном преступлении – в том, что он обманывал нацию и полицию, выдавая себя за Джека Грея, сбежавшего из сумасшедшего дома и принявшего Шейда за человека, который его в этот дом упрятал. Несколько дней спустя, он, увы, воспрепятствовал отправлению правосудия, рассадив себе горло безопасным бритвенным лезвием, которое выкрал из плохо охраняемого мусорного ведра. Он умер по большей части не от того, что, сыграв свою роль в нашей истории, не видел проку в дальнейшем существовании, но от того, что не смог пережить своей последней, коронной промашки – убийства вовсе не нужного ему человека, в то время как нужный стоял прямо перед ним. Иными словами, его жизнь завершилась не хлипким лопотанием заводной машинки, но человекоподобным жестом отчаянья. И довольно о нем. Джек Грей уходит.

Я не могу без содрагания вспоминать о скорбной неделе, проведенной мною в Нью-Вае перед тем, как оставить его, – надеюсь, навсегда. Я жил в постоянном страхе грабителей, которые придут отнять у меня мою хрупкую драгоценность. Иной читатель посмеется, узнав, что я, суетясь, перенес ее из черного чемодана в пустой стальной сейф в кабинете хозяина, а немного часов погодя, опять достал манускрипт и несколько дней, так сказать, надевал его на себя, распределив девяносто две справочные карточки по своей особе, – двадцать в правый карман пиджака, столько же в левый, стопку из сорока пристроив у правого соска, а двенадцать бесценных, с вариантами, опустив в сокровеннейший левый грудной карман. Вот когда благословил я мою царственную звезду, обучившую меня дамскому рукоделию, ибо теперь я зашил все четыре кармана. Так и кружил я опасливой поступью между обманутых врагов, в поэтической облицовке, в доспехах рифм, потучневший от песен, пропетых другим, весь тугой от картона, наконец-то неуязвимый для пуль.

Многие годы тому, – сколь многие, я открывать не намерен, – моя земблянская нянюшка, помню, сказала мне, шестилетнему человечку, изнуренному взрослой бессонницей: «Minammin, Gut mag alkan, Pern distran» (Душка моя, Бог сотворил голодных, а Дьявол жаждущих). Ну так вот, парни, я думаю, тут, в этом нарядном зале, хватает таких же голодных, как я, да и во рту у нас уже у всех пересохло, так что я, парни, на этом, пожалуй, и закруглюсь.

Да, лучше закруглиться на этом. Мои заметки, да и сам я, иссякли. Господа, я очень много страдал, гораздо больше, чем любой из вас в состояньи представить. Я молюсь о ниспослании благословения Божия несчастным моим соотечественникам. Мой труд завершен. Поэт мой умер.

— А вы, как же вы распорядитесь собою, несчастный король, несчастный Кинбот? — быть может, спросит юный участливый голос. Господь, я верю, поможет мне избавиться от соблазна последовать примеру двух других персонажей этого труда. Я еще поживу. Я, может статься, приму иные образы и обличья, но я еще поживу. Я могу еще объявиться в каком-нибудь кампусе в виде пожилого, счастливого, крепкого, гетеросексуального русского писателя в изгнании — без славы, без будущего, без читателей, без ничего вообще, кроме его искусства. Я могу соединиться с Одоном и отснять новую фильму: «Бегство из Земблы» (бал во дворце, бомба на дворцовой площади). Я могу подслужиться к незатейливым вкусам театральных критиков и состряпать пиесу, старомодную мелодраму с тремя принципалами: умалишенным, вознамерившимся убить воображаемого короля, вторым умалишенным, вообразившим себя этим королем, и прославленным старым поэтом, случайно забредшим на линию огня и погибшим при сшибке двух мороков. О, я способен на многое! С соизволенья истории, я могу приплыть назад в мое возрожденное королевство и могучим рыданьем приветствовать серенький берег и мерцание крыш под дождем. Я могу свернуться в клубок и скулить в приюте для душевнобольных. Но что бы ни сталось со мной, где бы ни разъехался занавес, кто-то, где-то тихо снарядится в дорогу, — кто-то уже снарядился, — кто-то еще далекий, уже покупает билет и лезет в автобус, на корабль, в самолет, уже он сходит на землю и идет навстречу миллиону фотографов, и вот он сейчас прозвонит у моих дверей: куда более крупный, представительный и гораздый Градус.

Примечания
1 Что делать! Я не нашел ничего лучшего, как заменить «гору» на «вулкан», сохранив хотя бы аллитерацию и обретя вместо сходства слов внешнее сходство прообразов, но утратив возможность похвалиться «одним касанием». (Переводчик)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://nabokovvladimir.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!